This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

In tribute to

Dilys Potter

from a gift by

Rutherford and Margaret Rogers

STANFORD UNIVERSITY MEMORIAL FUND

* * *

This is an authorized facsimile of the original book, and was produced in 1968 by microfilm-xerography by University Microfilms, A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

* * *

Chernyshev, K

К. ЧЕРНЫШЕВЪ.

ЛИШНІЕ ЛЮДИ

и

ЖЕНСКІЕ ТИПЫ

op. 08081
X 250935

ВЪ РОМАНАХЪ И ПОВѢСТЯХЪ

И. С. Тургенева.

Опытъ разбора литературнаго типа русскихъ лишнихъ людей, какъ матеріалъ для характеристики развитія общества.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Исидора Гольдберга, Екатерин. кан., 91.
1896.

PG3444
S6C47
1896a

PGR 2493
.C5

04837
07

ПАМЯТИ

МОЕГО ОТЦА.

„Лишніе люди“ далеко еще не перевелись у насъ на Руси. Они несомнѣнно измѣнили въ особенности свой внѣшній обликъ; но мы все-таки узнаемъ ихъ во многихъ дѣятеляхъ даже на самыхъ новѣйшихъ поприщахъ нашей общественной дѣятельности. Вотъ почему оглянуться на предковъ этихъ „лишнихъ людей“ не безполезно даже и въ наши дни.

Именно подобнаго рода попытку представляетъ собою предлагаемая вниманію читателя книжка.

Она составилась изъ только что прочитанныхъ въ эту зиму публичныхъ лекцій и сохраняетъ ихъ характеръ, такъ какъ эта форма бесѣды съ читателемъ заключаетъ въ себѣ очень много удобствъ.

Апрѣль 1896 года.

ЛИШНІЕ ЛЮДИ.

ПЕРВОЕ ЧТЕНІЕ.

Задача чтеній. Наша литература до Тургенева со стороны ея общественно-историческаго значенія.

Когда мы прочитываемъ тѣ изъ по-истинѣ безсмертныхъ страницъ Анны Карениной, на которыхъ великій художникъ рисуетъ удивительную по своей прелести картину материнской любви, горячаго материнскаго чувства,— когда мы именно любуемся, какъ эта „великая грѣшница“ Анна, вся охваченная глубокимъ чувствомъ къ своему Кутику, Сережѣ, положительно не въ состояніи выговорить связно двухъ словъ, упивается ласками ребенка, о свиданіи съ которымъ она такъ долго и мучительно мечтала, и вотъ теперь, дождавшись этой минуты, какъ бы не въ силахъ вынести этой радости,—когда мы любуемся этой высоко-художественной по своей правдивости картиной свиданія матери съ сыномъ, насъ невольно охватываетъ самое живое, самое горячее сочувствіе къ этой несчастной матери; намъ не менѣе больно, чѣмъ ей самой, слышать приближающіеся къ двери мѣрные шаги Алексѣя Александровича, мы, пожалуй, готовы вмѣстѣ

съ доброй няней заплакать надъ бѣднымъ Кутикомъ, который съ рыданіемъ упалъ на свою подушку, чуть не насильно вырванный изъ объятій его любимой мамы. Намъ больно, мы до извѣстной степени страдаемъ: передъ нами какъ бы живые мать и сынъ, разлучаемые силою обстоятельствъ испорченной жизни,—передъ нами сама жизнь, мы чувствуемъ ее, мы ее переживаемъ...

То же самое чувство жизненной правды возбуждаютъ въ насъ не менѣе безсмертныя страницы „Скупого рыцаря",—напр. послѣдняя сцена во дворцѣ у герцога, въ особенности ея вторая половина,—тѣ трагическіе моменты, когда въ скупцѣ-баронѣ происходитъ послѣдняя борьба между остававшимися еще въ немъ проблесками сознанія своего отцовскаго и рыцарскаго долга и властно, окончательно овладѣвшею имъ страстью: у насъ какъ бы начинаетъ холодѣть сердце, когда мы слышимъ изъ устъ несчастнаго отца страшное обвиненіе противъ сына въ томъ, будто бы онъ, его сынъ, этотъ добрый, сердечный Альберъ, почти только что на нашихъ глазахъ пришедшій въ бѣшенство отъ одного гнуснаго намека ростовщика-еврея, — этотъ самый Альберъ, который свою послѣднюю бутылку вина послалъ умирающему бѣдняку и покорно, почти безропотно годами выноситъ ужасное отношеніе къ себѣ скряги-отца,—будто бы этотъ самый Альберъ замышлялъ поднять руку на своего отца,—у насъ именно холодѣетъ сердце, мы какъ бы готовы повторить за Альберомъ его вызовъ отцу, мы какъ бы замираемъ при видѣ задыхающагося старика-барона, у насъ отдаются въ сердцѣ его послѣднія, предсмертныя слова,— передъ нами живые люди, передъ нами сама жизнь, мы опять ее чувствуемъ, мы опять ее переживаемъ...

Таково свойство, и въ этомъ именно назначеніе истинно-художественныхъ произведеній литературы: въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, отражается человѣкъ во всемъ много-

образіи чертъ своего характера, его жизнь въ семьѣ, въ обществѣ,—да и не только жизнь отдѣльной личности, а цѣлаго общества, цѣлаго народа.

Развернемте Тургеневскія „Записки охотника",—и передъ нами откроется цѣлая картина жизни русской помѣщичьей среды въ эпоху крѣпостного права; перечитаемте комедіи Островскаго,—и передъ нами, какъ живое, возстанетъ Темное царство съ его душной атмосферой грубаго произвола и суроваго деспотизма, подъ гнетомъ котораго погибла не одна Катерина. Даже въ одной нашей литературѣ можно было бы указать еще цѣлый рядъ такихъ произведеній, по которымъ мы можемъ изучать жизнь цѣлаго общества въ различныя эпохи, на различныхъ ступеняхъ развитія. Подобныя произведенія по справедливости могутъ быть названы поэтическою лѣтописью, въ которую волшебною рукою художниковъ слова занесены событія и типы, характеризующіе собою извѣстное время.

Такое именно по-преимуществу значеніе имѣютъ всѣ большіе романы Тургенева: Рудинъ, Дворянское гнѣздо, Отцы и дѣти, Новь—дѣйствительно заключаютъ въ себѣ художественное изображеніе послѣдовательныхъ моментовъ въ развитіи и направленіи нашей общественной мысли, образованной части нашего молодого поколѣнія, нашего общества.

Прослѣдить по наиболѣе выдающимся произведеніямъ И. С. Тургенева и его важнѣйшихъ предшественниковъ эти послѣдовательные моменты въ развитіи русскаго общества, на сколько это отражается въ изображаемыхъ художниками общественныхъ типахъ, и составляетъ задачу нашихъ чтеній.

Предшественниковъ Тургенева мы коснемся лишь въ общихъ чертахъ,—по крайней мѣрѣ, нѣсколько подробнѣе остановимся лишь на Евгеніи Онѣгинѣ, Горѣ отъ

ума и Героѣ нашего времени; главнымъ же матеріаломъ для насъ послужатъ слѣдующія произведенія И. С. Тургенева: Записки охотника, Рудинъ, Дворянское гнѣздо, Наканунѣ, Отцы и дѣти, Дымъ, Вешнія воды и Новь.

Еще нашъ великій критикъ Бѣлинскій уже прочно установилъ мнѣніе, что литература наша начинается собственно съ Пушкина, а до него были только первые опыты усвоить у передового Запада литературныя формы, наполняя ихъ нѣкоторымъ содержаніемъ изъ русской жизни, но содержаніемъ поверхностнаго, отрывочнаго характера.

И въ самомъ дѣлѣ, не говоря уже о временахъ Кантемира, Сумарокова и Хераскова,—даже блестящая по своей внѣшности и дѣйствительно замѣчательная по своему обилію и живому возникновенію литература Екатерининскаго времени отличалась именно такимъ отрывочнымъ, поверхностнымъ характеромъ. Имѣя въ виду нашу цѣль, намъ, конечно, придется совершенно вычеркнуть почти всю поэтическую лѣтопись славнаго Екатерининскаго вѣка, какъ обыкновенно называются произведенія Державина, потому, что многошумящій „пѣвецъ Екатерины" почти исключительно занимался или изображеніемъ личности самой Государыни и стихотворнымъ внѣшнимъ описаніемъ событій ея царствованія, или такимъ же стихотворнымъ рѣшеніемъ различныхъ поучительныхъ вопросовъ нравственности, естественно касаясь вмѣстѣ съ этимъ общественныхъ слабостей. Для нашей цѣли имѣютъ значеніе лишь сатирическіе журналы 70-хъ годовъ, въ связи съ комедіями самой Императрицы, и комедіи Фонвизина.

Но что же представляетъ собою сатирическая журна-

листика Екатерининскаго времени? что мы находимъ въ „Трутнѣ," „Живописцѣ" и ихъ литературныхъ собратьяхъ? что находимъ въ „Бригадирѣ" и „Недорослѣ?" что они даютъ намъ для интересующаго насъ вопроса о поступательномъ движеніи въ развитіи нашего общества? Подражаніе французскому въ ущербъ своему хорошему, плохое воспитаніе, невѣжество, взяточничество, суевѣріе, тягостное положеніе крѣпостныхъ крестьянъ — вотъ излюбленныя темы сатирическихъ журналовъ, а также и комедій самой Императрицы и Фонвизина. Передъ нами только вѣками укоренившееся невѣжество и происходящіе отъ него пороки и слабости; передъ нами проходитъ цѣлая галлерея невѣждъ, ханжей, суевѣровъ, такъ называемыхъ „нетиметровъ", исковерканныхъ глупымъ подражаніемъ всему иностранному, крѣпостниковъ, взяточниковъ;—но все это отдѣльные, такъ сказать, оторванные отъ общей картины полутины; при томъ, мы невидимъ какого-нибудь новаго, нарождающагося общественнаго направленія, мы совсѣмъ не чувствуемъ поступательнаго движенія общественной жизни и общественной мысли.

Правда, Екатерининскіе Фирлюфюнковы и Фонвизинскіе Иванушки одѣты по послѣдней французской модѣ, пересыпаютъ свою рѣчь французскими словами, вздыхаютъ по Парижу,—но, вѣдь, они тѣ же, если еще не худшіе невѣжды, въ которыхъ неправильное воспитаніе вытравило и послѣднія черты настоящаго, человѣческаго облика; это родные дѣды, если даже не отцы Грибоѣдовскихъ Репетиловыхъ, которые, конечно, не могутъ быть названы представителями общественнаго прогресса. Нельзя же Добролюбова въ „Бригадирѣ" и Милона въ „Недорослѣ" назвать литературнымъ выраженіемъ людей новыхъ, знаменующихъ собою послѣдовательный шагъ впередъ въ развитіи общества: вѣдь, это же не живыя лица;

они, такъ сказать, не отъ міра сего, — искусственныя порожденія авторскаго преднамѣреннаго замысла,—ходячія морали съ пришпиленными на лбу ярлычками, на которыхъ обозначено, за кого слѣдуетъ принимать сихъ „невинныхъ младенцевъ“.

Однимъ словомъ, ни въ журналахъ, ни въ комедіяхъ Екатерининскаго времени мы не находимъ изображенія тѣхъ новыхъ людей, которые сознали недостатки установившихся вѣками общественныхъ нравовъ, обличаютъ ихъ, стремятся къ новому, лучшему, начинаютъ собою „новую породу людей“, какъ тогда выражались. Эти новые люди какъ бы остаются за кулисами, мы ихъ не видимъ; мы только слышимъ ихъ обличительный голосъ, но мы не видимъ ихъ самихъ, — и эти новые, лучшіе люди прежде всего, конечно, сами авторы и издатели журналовъ и комедій,—тотъ незначительный кружекъ людей, которымъ дѣйствительно были дороги „просвѣтительныя идеи“, которые искренно скорбѣли объ общественномъ невѣжествѣ и посильно стремились путемъ литературы поднять общество до сознанія необходимости нравственнаго обновленія, умственнаго развитія и образованія.

Вотъ почему мы можемъ дѣлать только, такъ сказать, косвенные выводы изъ литературы Екатерининскаго времени о томъ новомъ направленіи, которое приняла въ то время русская общественная жизнь. Вотъ эти выводы.

Не только народная масса, но и значительная часть такъ называемаго общества коснѣетъ въ невѣжествѣ, благодаря которому, погрязаетъ во всевозможныхъ слабостяхъ и порокахъ. Изъ этой мрачной въ культурномъ смыслѣ массы какъ будто выдѣляются представители молодого поколѣнія, изъ которыхъ нѣкоторые даже съ гордостью заявляютъ о своемъ европейскомъ образованіи, о томъ, что они даже были въ Парижѣ, гдѣ и продолжаютъ пребывать своимъ сердцемъ. Но то, чѣмъ такъ

наивно гордятся эти жалкіе «петиметры», какъ называетъ ихъ Новиковъ, — вовсе не было европейскимъ образованіемъ: это былъ только внѣшній, такъ называемый свѣтскій лоскъ, да и то неумѣло воспринятый на Западѣ; это было каррикатурное подражаніе внѣшнимъ пріемамъ з.-европейской жизни, тѣмъ болѣе грустное потому, что именно вытравляло въ Иванушкахъ и его собратіи и послѣдніе проблески настоящей, человѣческой души и сердца, оставляя въ полной неприкосновенности прадѣдовское невѣжество и грубость. Единственнымъ отраднымъ фактомъ является то, что русское общество начинаетъ приходить въ болѣе широкое, по крайней мѣрѣ въ количественномъ отношеніи, общеніе съ образованнымъ Западомъ. Проводимыя же въ литературѣ такъ называемыя просвѣтительныя идеи, — напр. о необходимости правильнаго воспитанія и образованія, — объ истинныхъ достоинствахъ и обязанностяхъ человѣка (припомнимъ хотя Стародума въ «Недорослѣ»), та искренняя, глубокая скорбь о «плодахъ злонравія», которая слышится во всѣхъ назиданіяхъ поучающихъ читателя и зрителя резонеровъ, — все это намъ показываетъ, что з.-европейская образованность, въ ея истинномъ, настоящемъ значеніи, все-таки успѣла своимъ благотворнымъ вліяніемъ создать въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ кружекъ людей, для которыхъ понятны и дороги задачи истиннаго просвѣщенія, которые глубоко сознаютъ важность и необходимость его для своей родины. Мы не видимъ этихъ лучшихъ русскихъ людей въ литературномъ изображеніи; мы только слышимъ ихъ въ рѣчахъ резонеровъ, мы чувствуемъ ихъ присутствіе въ томъ рѣзкомъ обличеніи, которому подвергаются общественные слабости и пороки. Мы не находимъ въ литературѣ полной картины общественныхъ нравовъ и жизни; она ограничивается, такъ сказать, эпизодическимъ изображеніемъ

и то только отрицательныхъ и при томъ главнымъ образомъ унаслѣдованныхъ отъ прошлаго, приближающихся къ отживанію характерныхъ чертъ общества. Мы не видимъ въ ней типовъ, которые показывали бы намъ новыхъ людей, новое направленіе общественной мысли и жизни; мы только косвеннымъ образомъ дѣлаемъ изъ нея заключеніе о томъ, что эти новые и при томъ лучшіе люди несомнѣнно есть, и въ нихъ-то полагается начало болѣе глубокаго благотворнаго вліянія з.-европейской образованности на русское общество.

Съ этими выводами мы переходимъ въ XIX вѣкъ, гдѣ насъ ожидаетъ болѣе богатый литературный матеріалъ въ произведеніяхъ Пушкина, Грибоѣдова и Лермонтова. Евгеній Онѣгинъ, Чацкій и Печоринъ несомнѣнно знаменуютъ собою послѣдовательныя ступени въ поступательномъ движеніи нашего общественнаго развитія.

Изъ всѣхъ произведеній нашего перваго геніальнаго поэта, съ точки зрѣнія нашей задачи, важнѣйшее значеніе имѣютъ поэмы «Кавказскій плѣнникъ» и «Цыганы» и романъ «Евгеній Онѣгинъ». Кавказскій плѣнникъ, Алеко и Евгеній представляютъ собою разновидности одного и того же типа будущихъ такъ называемыхъ «лишнихъ людей», блестящее художественное изображеніе которыхъ далъ намъ Тургеневъ въ своемъ поистинѣ безсмертномъ «Рудинѣ». Въ Кавказскомъ плѣнникѣ мы видимъ первые, почти неясные зародыши рудинства; въ Алеко эти зародыши становятся нѣсколько яснѣе; въ Онѣгинѣ мы наблюдаемъ уже болѣе или менѣе опредѣленный прототипъ будущаго «лишняго человѣка».

Въ «Кавказскомъ плѣнникѣ» мы имѣемъ лишь первый набросокъ «скучающаго россіянина»; образъ плѣнника такъ же неясенъ, какъ не вполнѣ ясенъ былъ и

для самого поэта самый только что нарождавшійся въ русскомъ обществѣ типъ будущихъ **Рудиныхъ**, и поэтъ лишь намѣчаетъ въ своей поэмѣ общими, но все-таки довольно характерными штрихами этого новаго человѣка, въ которомъ въ извѣстномъ смыслѣ сказывается поступательное движеніе самаго общества. Про своего героя-плѣнника поэтъ говоритъ, что «пламенную младость онъ гордо началъ безъ заботъ, онъ много милаго любилъ, онъ обнялъ грозное страданье и бурной жизнью погубилъ надежду, радость и желанье, и лучшихъ дней воспоминанье въ увядшемъ сердце заключилъ. Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ и зналъ невѣрной жизни цѣну. Въ сердцахъ друзей нашелъ измѣну, въ мечтахъ любви — безумный сонъ. Наскучивъ жертвой быть привычной давно презрѣнной суеты и непріязни двуязычной, и простодушной клеветы, отступникъ свѣта, другъ природы, покинулъ онъ родной предѣлъ и въ край далекій полетѣлъ съ веселымъ призракомъ свободы». Въ отвѣтъ на страстныя, горячія признанія черкешенки плѣнникъ между прочимъ говоритъ: «... безъ упованья, безъ желанья, я вяну жертвою страстей... я гонимъ судьбою и муки сердца испыталъ... я не зналъ любви взаимной, — любилъ одинъ, страдалъ одинъ и гасну я».

Прошлое и самую личность героя «Цыганъ» — Алеко поэтъ очерчиваетъ нѣсколько опредѣленнѣе. На вопросъ Земфиры: жалѣетъ ли Алеко о томъ, что бросилъ навсегда, — Алеко отвѣчаетъ: «О чемъ жалѣть? когда-бъ ты знала, когда бы ты воображала неволю душныхъ городовъ! Тамъ люди въ кучахъ, за оградой, не дышатъ утренней прохладой, ни вешнимъ запахомъ луговъ; любви стыдятся, мысли гонятъ, торгуютъ волею своей, главы предъ идолами клонятъ и просятъ денегъ да цѣпей. Что бросилъ я? измѣнъ волненье, предразсужденій приговоръ, толпы безумное гоненье или блистательный позоръ».

Оба героя, какъ видимъ, по своему происхожденію, принадлежатъ къ такъ называемому „свѣту"; соотвѣтствующимъ воспитаніемъ, довольно полную картину котораго мы находимъ въ «Евгеніи Онѣгинѣ», — оба они приготовлены только къ жизни въ этомъ самомъ „свѣтѣ". А жить въ „свѣтѣ", — какъ они оба намъ повѣствуютъ, — это значитъ: много любить, много веселиться, быть постоянной жертвой суеты, извѣриться въ измѣнчивой привязанности друзей бокала, бурной жизнью заглушить въ себѣ всякую способность радоваться чему-нибудь, ожидать чего-нибудь впереди, желать, стремиться къ чему-нибудь. И они оба много любили, много веселились, ничего не дѣлали, потому что, по словамъ Алеко, изъ свѣта мысли гонятъ, — во всемъ, что испытали, извѣрились, ко всему охладѣли, но въ то же время многимъ изъ окружающаго возмутились. Алеко не можетъ простить свѣту, что онъ торгуетъ своей волей, склоняетъ голову передъ идолами и проситъ денегъ да цѣпей; ему опротивѣли люди, живущіе изо дня въ день суетой и клеветой; ему стало душно въ этомъ безсмысленномъ однообразномъ по своей ограниченности и пустотѣ круговоротѣ свѣтской жизни; онъ страстно пожелалъ освободиться отъ цѣпей этого иссушившаго его сердце свѣта; онъ почувствовалъ потребность въ чемъ-то высшемъ, лучшемъ, что онъ и Плѣнникъ называютъ неяснымъ именемъ свободы. И Алеко и Плѣнникъ несомнѣнно баричи, воспитанные на готовыхъ хлѣбахъ, пріученные къ тому, чтобы не только за ними стояли безотвѣтные Захарки и Ваньки, но и дѣлали бы за нихъ все и доставляли бы имъ своимъ собственнымъ хребтомъ средства для удовлетворенія ихъ безчисленныхъ прихотей и суетныхъ желаній. И Алеко и Плѣнникъ, пожалуй, такіе же паразиты и почти такъ же „вывихнуты", какъ выражается Лаврецкій въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», безобразнымъ воспитаніемъ,

какъ и Бригадирскій Иванушка, — тѣмъ не менѣе, мы уже видимъ въ нихъ проблески нѣкотораго сознанія; для насъ важно то, что они, хотя смутно, а все-таки уже чувствуютъ потребность въ чемъ-то другомъ, болѣе высокомъ, нежели пустая, свѣтская жизнь, — они полусознательно, а все-таки порываются къ чему-то лучшему, — они въ извѣстной степени критически относятся къ окружающему ихъ обществу и жизни. Правда, какъ люди «вывихнутые», т. е. нравственно искалѣченные воспитаніемъ, они не въ состояніи итти правильнымъ, прямымъ путемъ къ смутно ощущаемой ими цѣли жизни: въ нихъ слишкомъ въѣлись привычки, привитыя имъ воспитаніемъ и тою жизнью, которую они вели въ пресловутомъ „свѣтѣ"; они ограничиваются только одними благородными порывами, которые въ концѣ концовъ заглушаются слабостями, унаслѣдованными отъ отцовъ и дѣдовъ. Алеко находитъ, вѣдь, удовлетвореніе въ томъ, что «безъ заботъ и сожалѣнья ведетъ кочующіе дни... къ бытью цыганскому привыкъ; онъ любитъ ихъ ночлеговъ сѣни и уноснье вѣчной лѣни... Медвѣдь, бѣглецъ родной берлоги, косматый гость его шатра... Въ селеньяхъ, вдоль степной дороги, Алеко съ пѣньемъ звѣря водитъ; Земфира поселянъ обходитъ и дань ихъ вольную беретъ». А когда Земфира, охладѣвъ къ нему, полюбила другого, — Алеко, такъ горячо говорившій той же Земфирѣ о свободѣ, безжалостно убиваетъ ее, вызывая этимъ со стороны старика-цыгана мѣткую и справедливую оцѣнку своего поступка: «Оставь насъ, гордый человѣкъ», — говоритъ ему цыганъ, — «ты для себя лишь хочешь воли». — Алеко — несомнѣнно искалѣченный воспитаніемъ и избалованный жизнью баричъ-эгоистъ; но въ этомъ баричѣ все-таки чувствуется поворотъ къ чему-то новому, для него самого еще неясному и для насъ въ этомъ типѣ далеко еще не опредѣлившемуся,

но безспорно къ чему-то такому, что возвышаетъ Алеко надъ остальной массой его сверстниковъ и указываетъ намъ, правда, на очень незначительный, но все-таки шагъ впередъ въ развитіи того круга людей, которые составляютъ собою такъ называемое общество.

Въ «Евгеніи Онѣгинѣ» это новое общественное теченіе представляется намъ уже нѣсколько болѣе опредѣленнымъ. Слишкомъ извѣстна всѣмъ намъ еще со школьной скамьи та обстановка, среди которой воспитался Евгеній, чтобы подробно говорить здѣсь о ней. Напомнимъ только себѣ, что это была обычная свѣтская, барская обстановка съ французами гувернерами и гувернантками, съ неизбѣжнымъ салоннымъ французскимъ языкомъ, съ чисто салоннымъ взглядомъ на задачи воспитанія и образованія: для Евгенія совершенно достаточно было быть остриженнымъ по послѣдней модѣ, какъ дэнди лондонскій одѣтымъ, по-французски совершенно изъясняться и писать, легко мазурку танцовать и кланяться непринужденно,—для того, чтобы „свѣтъ" рѣшилъ, что онъ уменъ и очень милъ. Учился онъ всему шутя, чему-нибудь и какъ-нибудь; тѣмъ не менѣе, хотя и «по верхамъ», а все же онъ былъ знакомъ и съ болѣе серьезными вещами, нежели знаменитые «анекдоты отъ Ромула до нашихъ дней», — и это для насъ важно отмѣтить. Получивъ окончательно свѣтскую полировку, Евгеній вступаетъ въ жизнь. Мы всѣ, конечно, прекрасно помнимъ, какъ начинался и чѣмъ кончался день Онѣгина: онъ переходилъ изъ одного салона въ другой, отъ одного свѣтскаго развлеченія къ другому, постепенно почерпывая до конца все, что только давала праздная фантазія человѣку, не знающему рѣшительно никакихъ заботъ, кромѣ тѣхъ, которыя связаны съ общественнымъ положеніемъ великосвѣтскаго дэнди. Это та же атмосфера душныхъ городовъ, въ которой много любятъ, много

веселятся, изощряются въ пересудахъ и клеветѣ, поклоняются золотымъ тельцамъ, торгуютъ своею волею и испиваютъ чашу свѣтскихъ наслажденій до дна, до пресыщенія, до полной потери способности чего-нибудь еще желать, къ чему-нибудь по-прежнему стремиться. Это, какъ мы видѣли, случилось съ Алеко; это же случилось и съ Онѣгинымъ, и, подобно Алеко, онъ съ радостью покинулъ изсушившій его сердце петербургскій свѣтъ, воспользовавшись случаемъ необходимости принять послѣ дяди наслѣдство въ деревнѣ; подобно Алеко, Евгеній также искалъ свободы отъ надоѣвшихъ ему цѣпей свѣтской, условной жизни; онъ радъ былъ, по крайней мѣрѣ въ первое время, деревенскому уединенію такъ же, какъ Алеко — приволью полей. Но на этомъ и заканчивается сходство между ними.

Мы видѣли, чѣмъ удовлетворился Алеко, и мы помнимъ также, чѣмъ пытался по-временамъ наполнить свой досугъ Евгеній. Поэтъ нашъ говоритъ объ этомъ такъ: «Сперва задумалъ нашъ Евгеній порядокъ новый учредить: яремъ онъ барщины старинной оброкомъ легкимъ замѣнилъ, — и рабъ судьбу благословилъ». Въ другомъ мѣстѣ, по поводу свиданій Евгенія съ Ленскимъ, мы читаемъ: «Межъ ними все рождало споры и къ размышленію влекло: племенъ минувшихъ договоры, плоды наукъ, добро и зло, и предразсудки вѣковые, и гроба тайны роковыя, судьба и жизнь, въ свою чреду, все подвергалось ихъ суду». Находясь еще въ Петербургѣ, «томясь душевной пустотой, усѣлся Евгеній съ похвальной цѣлью себѣ присвоить умъ чужой; отрядомъ книгъ уставилъ полку, читалъ, читалъ, а все безъ толку: тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ; въ томъ совѣсти, въ томъ смысла нѣтъ; на всѣхъ различныя вериги; и устарѣла старина, и старымъ бредитъ новизна». Правда, изъ всѣхъ этихъ попытокъ ничего путнаго не вышло, и даже самъ поэтъ

подсмѣивается надъ своимъ героемъ, замѣчая, что, «какъ женщинъ, Евгеній оставилъ книги и полку съ пыльной ихъ семьей задернулъ траурной тафтой»; хозяйственныя же преобразованія въ деревнѣ затѣялъ для того, «чтобы только время проводить», и чаще «занимали его страсти», а не «плоды наукъ, добро и зло», — время же свое нерѣдко убивалъ въ томъ, что «дома цѣлый день, одинъ, въ разсчеты погруженный, тупымъ кіемъ вооруженный, онъ на билліардѣ въ два шара играетъ съ самаго утра». Все это такъ, и, собственно, нисколько насъ не удивляетъ: мы хорошо знаемъ ту среду, которая воспитала и подготовила Онѣгина къ жизни. Но, во всякомъ случаѣ, для насъ остаются безспорными слѣдующіе факты:

Онѣгинъ заскучалъ и покинулъ свѣтъ не потому только, что вконецъ пресытился его приманками и сдѣлался неспособнымъ къ повторенію прежнихъ свѣтскихъ похожденій, — нѣтъ, не поэтому только: онъ несомнѣнно переживалъ такія минуты, когда этотъ блестящій мишурою свѣтъ дѣйствительно обнажался передъ его мысленнымъ взоромъ во всей своей безвыходной пустотѣ и не только переставалъ удовлетворять его, но прямо-таки возбуждалъ вопросъ объ истинномъ смыслѣ и цѣляхъ жизни. Это же происходило оттого, что Онѣгинъ, — поскольку только позволяли ему привитые воспитаніемъ привычки и взгляды, — все-таки несомнѣнно испыталъ на себѣ вліяніе серьезныхъ идей, которыя онъ въ возможной для него, какъ для великосвѣтскаго барича, мѣрѣ воспринялъ изъ книгъ и, вѣроятно, также отъ серьезныхъ людей, съ которыми ему приходилось, какъ можно думать, не безслѣдно для себя сталкиваться. Именно только этимъ вліяніемъ мы можемъ объяснить себѣ то обстоятельство, что, не удовлетворяемый болѣе наскучившими ему свѣтскими развлеченіями, Онѣгинъ дѣлаетъ

рядъ попытокъ наполнить свой досугъ какимъ-нибудь серьезнымъ и полезнымъ даже для другихъ дѣломъ: онъ, — опять-таки въ возможной для себя степени, — останавливается на вопросѣ объ улучшеніи быта крестьянъ, пробуетъ даже примѣнить къ дѣлу нѣкоторыя мѣры въ этомъ направленіи, пробуетъ серьезно читать, самому что-нибудь написать, всѣмъ этимъ обнаруживая способность придавать этимъ занятіямъ и интересамъ гораздо большее значеніе, нежели той привычной для него свѣтской сутолокѣ, къ которой его тщательно приготавливали съ самой колыбели.

Мы, конечно, не забываемъ далеко не говорящаго въ пользу Онѣгина его отношенія къ Татьянѣ Лариной: отвѣтивъ холоднымъ, сухимъ назиданіемъ на горячій, страстный призывъ Тани, которая взывала къ нему: «... я здѣсь одна, никто меня не понимаетъ, разсудокъ мой изнемогаетъ, и молча гибнуть я должна», — Онѣгинъ вдругъ воспылалъ любовью къ той же Татьянѣ, но уже княгинѣ, когда увидѣлъ ее въ большомъ свѣтѣ, царицею бала, окруженною цѣлымъ сонмомъ блестящихъ великосвѣтскихъ поклонниковъ. Мы хорошо помнимъ еще менѣе говорящую въ пользу Онѣгина его дуэль съ Ленскимъ: изъ-за пустого каприза, непозволительно для своего возраста и знанія жизни и людей, раздразивши влюбленнаго въ свою невѣсту юнаго романтика Ленскаго, — безусловно самъ кругомъ виноватый, Онѣгинъ принимаетъ вызовъ юноши и укладываетъ на мѣстѣ ни въ чемъ неповиннаго, искренно привязаннаго къ нему человѣка только потому, что въ это дѣло вмѣшался «нѣкогда буянъ, картежной шайки атаманъ, глава повѣсъ, трибунъ трактирный, сплетникъ, старый дуэлистъ, за спиной котораго слышится шопотъ, хохотня глупцовъ». Да, Онѣгинъ — покорный рабъ того самаго свѣта, который онъ презираетъ; онъ по-прежнему опутанъ оковами услов-

выхъ свѣтскихъ приличій; онъ трепещетъ передъ тѣмъ, что «станетъ говорить княгиня Марья Алексѣевна»; въ немъ крѣпко сидитъ тотъ самый Женя, про котораго, при его вступленіи въ самостоятельную жизнь, „свѣтъ" рѣшилъ, что онъ уменъ и очень милъ; онъ скучаетъ въ значительной степени отъ пресыщенія жизненными благами, отъ бездѣлья, отъ неспособности приняться за что-нибудь серьезное; онъ, пожалуй, даже въ извѣстной мѣрѣ рисуется своимъ разочарованіемъ, — онъ москвичъ въ байроновскомъ Гарольдовомъ плащѣ, который, конечно, къ нему вовсе нейдетъ, — однимъ словомъ, онъ — отрицательное явленіе русской общественной жизни, — и тѣмъ не менѣе мы видимъ въ немъ новаго русскаго человѣка, — и видимъ уже гораздо полнѣе и опредѣленнѣе, нежели въ Адеко.

«Евгеній Онѣгинъ» несомнѣнно свидѣтельствуетъ намъ о томъ, что доселѣ однообразная по своей пустотѣ, отсутствію какой бы то ни было серьезной мысли, вся потонувшая въ слабостяхъ и порокахъ барства наша общественная среда уже замѣтно выдѣляетъ изъ себя кругъ людей, которые, правда, слабо, полусознательно, ощупью, лишь съ трудомъ, и то на отдѣльные моменты отрѣшаясь отъ укоренившихся въ нихъ барскихъ привычекъ, а все-таки пытаются выступить на новый, болѣе разумный жизненный путь, уже замѣтно подчинившись вліянію новыхъ, благотворныхъ идей и взглядовъ на жизнь и достоинства человѣка. И не вина этихъ новыхъ «вывихнутыхъ» барскимъ воспитаніемъ русскихъ людей, что они еще безсильны для борьбы со своими барскими привычками, — что они только на отдѣльные моменты отрезвляются отъ своего угара и дѣлаютъ лишь слабыя попытки призвать въ себѣ къ жизни настоящаго человѣка. Намъ жалко ихъ, какъ жертву окружающей среды, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы привѣтствуемъ въ нихъ первые,

правда слабые, а все-таки уже замѣтные шаги на пути развитія общественнаго сознанія.

Но какого же рода эти новыя, благотворныя идеи? когда и какъ онѣ начали проникать въ русское общество? Отвѣтъ на эти вопросы, особенно на первый изъ нихъ, мы находимъ въ устахъ нашего общаго любимца— Александра Андреевича Чацкаго.

Припомнимъ, какъ характеризуютъ Чацкаго Фамусовъ, его домашніе и друзья. Чацкій—Андрея Ильича покойнаго сынокъ, малый съ головой и славно пишетъ, переводитъ; не служитъ, т. е. въ томъ онъ пользы не находитъ; онъ чувствителенъ и веселъ, и остеръ; умѣетъ краснорѣчивъ: говоритъ, какъ пишетъ; три года странствовалъ въ чужихъ краяхъ, набрался тамъ „завиральныхъ" идей; все споритъ вкривь и вкось; опасный человѣкъ: вольность хочетъ проповѣдать, властей не признаетъ. Къ этому прибавимъ мы еще отъ себя, что Чацкій воспитался подъ иными, лучшими условіями, нежели люди Фамусовскаго кружка. Онъ много читалъ, и читалъ съ толкомъ; онъ думалъ много, учился серьезно и не безъ пользы провелъ три года въ чужихъ краяхъ. Но Чацкій — не сухой умникъ, не кабинетный ученый: онъ человѣкъ жизни, которая бьетъ въ немъ горячимъ ключемъ. Толковое чтеніе и серьезное ученіе, внимательное размышленіе надъ тѣмъ, что приходилось видѣть, слышать, читать, — наконецъ, личное, непосредственное знакомство съ лучшими сторонами з.-европейской жизни, все это дало ему возможность создать лучшій, высшій идеалъ жизни, вдохнуло въ него иныя, высшія стремленія и цѣли. Подъ вліяніемъ этого новаго идеала Чацкій сталъ критически относиться къ своей прежней жизни и окружающему его обществу,—и слѣдствіемъ этого явился полный разладъ между дѣйствительностью и его идеальнымъ міромъ. Будучи крѣпко убѣжденъ въ превосход-

ствѣ и святости того, что переполняло его сердце и душу, Чацкій не могъ смолчать, когда видѣлъ или слышалъ что-либо такое, что противорѣчило его взглядамъ. Съ увлеченіемъ пылкаго и отважнаго бойца развертываетъ Чацкій свое знамя, на которомъ яркими буквами начертаны лучшія стремленія честной, прямой, просвѣтленной истиннымъ образованіемъ и при томъ чисто русской души; горячо отстаиваетъ онъ права своихъ лучшихъ убѣжденій, горячо требуетъ мѣста своему вѣку; безпощадно обличаетъ онъ все, что отжило свой вѣкъ; называетъ своими именами, клеймитъ злой, ядовитой насмѣшкой все, что уже не годится для жизни и только заглушаетъ собою новую, лучшую, расцвѣтающую, свободную жизнь.

На первый упрекъ Фамусова въ томъ, что онъ не служитъ, Чацкій довольно сдержанно отвѣчаетъ: „Служить бы радъ,—прислуживаться тошно". Но, когда Фамусовъ на это съ раздраженіемъ замѣчаетъ: „Вотъ то-то всѣ вы гордецы! спросили бы, какъ дѣлали отцы... учились бы, на старшихъ глядя",—и при этомъ указываетъ, какъ на идеалъ, на своего знаменитаго дядю Максима Петровича,—Чацкій не вытерпѣлъ и съ безпощадностью срываетъ маски съ этихъ хваленыхъ образцовъ. „Не у тѣхъ ли,"—говоритъ онъ,—„учиться, чья чаще гнулась шея, кто не въ войнѣ, а въ мирѣ бралъ все лбомъ, стуча имъ объ полъ не жалѣя,—кто торопился вписаться въ полкъ шутовъ, у покровителей зѣвать на потолокъ, явиться помолчать, понаркать, пообѣдать, подставить стулъ, поднять платокъ, служить не дѣлу, только лицамъ... Не тѣхъ ли мнѣньемъ дорожить, которые, за древностію лѣтъ, сужденья черпаютъ изъ забытыхъ газетъ временъ Очаковскихъ и покоренія Крыма,—грабительствомъ богаты, защиту отъ суда въ друзьяхъ нашли, въ родствѣ,—великолѣпныя соорудя палаты, тамъ разливаются въ пирахъ и мотовствѣ, тѣмъ укрѣпляя прошедшаго житья подлѣй-

нія черты,—стараясь зажимать, кому имъ нужно, рты при помощи баловъ, обѣдовъ, ужиновъ и танцевъ, и своимъ мундиромъ, расшитымъ и краснымъ, прикрывая свое слабоуміе, разсудка нищету"... Горячимъ, неудержимымъ потокомъ льется изъ молодого, благороднаго сердца эта обличительная рѣчь; съ благороднымъ негодованіемъ клеймитъ Чацкій позоромъ низкопоклонство, угодничанье, выслуживанье и шутовство ради наградъ, чиновъ и тепленькихъ мѣстечекъ; съ благородной гордостью возвышаетъ онъ свой голосъ за попираемое невѣжествомъ, надутой барской спесью человѣческое достоинство; съ оскорбленнымъ чувствомъ національнаго достоинства возмущается онъ пустымъ, рабскимъ, слѣпымъ подражаніемъ всему иностранному, „жалкой тошнотой по сторонѣ чужой", и смѣло объявляетъ себя непримиримымъ врагомъ всего, что было такъ дорого, за что такъ крѣпко стояли, въ чемъ такъ твердо были убѣждены всѣ эти Фамусовы, Максимы Петровичи, Тугоуховскіе и Хрюмины. Таковъ Чацкій, и таковы тѣ идеи, выразителемъ которыхъ онъ является въ безсмертной комедіи „Горе отъ ума".

Въ значительной степени справедливо, конечно, мнѣніе, что Чацкій не представляетъ собою живого, художественнаго типа. Не смотря на вѣсскія, повидимому, доказательства Гончарова,—въ его извѣстномъ этюдѣ „Милліонъ терзаній",—въ пользу того, что существуетъ тѣсная психологическая связь между неудавшеюся любовью Чацкаго къ Софьѣ и его желчнымъ отношеніемъ къ кружку Фамусова, мы все-таки склоняемся къ тому мнѣнію, что личность Чацкаго двоится: Чацкій—недогадливый влюбленный и Чацкій—горячій поборникъ и провозвѣстникъ высокихъ идей,—не составляютъ собою одного художественно-цѣльнаго типа. И это потому, что, разъ мы; слѣдуя Гончарову, допустимъ, что раздраженіе, съ

которымъ произноситъ Чацкій свои грозныя обличительныя рѣчи противъ Фамусовцевъ, вытекаетъ изъ его сердечныхъ неудачъ,—то въ нашихъ глазахъ самая личность Чацкаго болѣе, чѣмъ на половину, поблѣднѣетъ: мы, вѣдь, сочувствуемъ его горячности и даже рѣзкости обличенія постольку, поскольку она выражаетъ собою негодованіе честнаго, благороднаго, воодушевленнаго высокими идеями человѣка противъ слабостей и пороковъ „вѣка минувшаго". Нѣтъ, Чацкій не можетъ быть названъ живымъ художественнымъ цѣльнымъ типомъ; мало этого,— мы даже скажемъ, что онъ почти на половину резонеръ, онъ очень мало дѣйствуетъ, а все только говоритъ, да и не самъ, не отъ себя, а за автора, такъ что невольно припоминаются извѣстныя слова Пушкина: онъ самъ ставитъ вопросъ: „Въ комедіи „Горе отъ ума" кто умное дѣйствующее лицо",— и самъ же отвѣчаетъ: „Грибоѣдовъ"— а Чацкій только „пылкій, благородный и добрый малый, проведшій нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ,—т. е. съ Грибоѣдовымъ,—и напитавшійся его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями".

Да, Чацкій гораздо скорѣе резонеръ, а не живое художественное лицо, и въ этомъ отношеніи Онѣгинъ стоитъ гораздо выше его. Но недостатки художественнаго творчества еще не даютъ права утверждать, что вся личность Чацкаго не имѣла для себя ничего соотвѣтствующаго въ современной себѣ дѣйствительности. Поэту не удалось достигнуть художественной цѣльности въ изображеніи общественнаго типа; но, во всякомъ случаѣ, въ Чацкомъ, какъ представителѣ „вѣка нынѣшняго", онъ несомнѣнно соединилъ многія характерныя черты, отличающія собою именно этотъ „нынѣшній вѣкъ", новое, лучшее теченіе въ русской общественной жизни, новыхъ русскихъ людей, готовящихся прійти на смѣну отживающему свой вѣкъ общественному большинству. Чацкій—

отнюдь не единичное явленіе въ русской общественной жизни и тѣмъ болѣе—не плодъ авторскихъ измышленій: появленіе такихъ новыхъ людей въ русскомъ обществѣ вызвано было тѣми политическими и общественными условіями, въ которыя пытается стать русская жизнь съ первыхъ же дней царствованія Императора Александра I-го. Вотъ важнѣйшія изъ этихъ условій.

Воспитанный своею Бабкою на просвѣтительныхъ идеяхъ XVIII вѣка, молодой государь вступилъ на престолъ съ твердой рѣшимостью щедрой рукой внести гуманность и справедливость въ сферу жизни государственной,—разлить свѣтъ знанія и высокихъ идей о долгѣ, о чести, объ истинныхъ обязанностяхъ гражданина и семьянина въ сферѣ жизни общественной,—вызвать къ жизни тѣ лучшія общественныя силы, которыя были подавлены невѣжествомъ и проистекающимъ изъ него произволомъ и полнымъ забвеніемъ интересовъ общественныхъ. Справедливо видя въ крѣпостномъ правѣ одно изъ коренныхъ золъ, обусловливающихъ собою общественное „нестроеніе", Государь устремилъ на эту сторону русской жизни свои первыя, главныя заботы,—и на призывъ царя живо откликается и общество, и литература. Вотъ нѣкоторые факты.

Открывая дворянское собраніе въ Полтавѣ и Черниговѣ, князь Репнинъ, напомнивъ представителямъ дворянства о волѣ Государя, чтобы сами помѣщики позаботились о судьбѣ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, сказалъ между прочимъ: „Корыстолюбіе изгнано будетъ изъ сердецъ вашихъ; вы изыщете способы увеличить благоденствіе вашихъ крѣпостныхъ; вы пожертвуете для сего изъ доходовъ вашихъ; вы устроите училища для малолѣтнихъ, больницы для недугующихъ; вы займетесь нравственностью подвластныхъ вамъ, отвлечете ихъ отъ порока (т. е. пьянства) и не будете на немъ основывать дохода своего".

Появляются отдѣльныя сочиненія, въ которыхъ доказывается, что „въ тѣхъ странахъ, гдѣ крестьяне получили личную свободу и собственность, образованіе преуспѣваетъ, земледѣліе улучшается, изобиліе и богатство возрастаетъ". Тѣ же самыя мысли проводились и въ лучшихъ изъ тогдашнихъ журналовъ, каковы: „С.-Петербургскій журналъ", „Сѣверный наблюдатель" и „Духъ журналовъ". Чтобы возбудить въ обществѣ интересъ къ тѣмъ знаніямъ, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ совершавшимся въ то время преобразованіямъ, былъ предпринятъ цѣлый рядъ переводовъ сочиненій выдающихся европейскихъ ученыхъ: въ русское общество проводятся идеи Беккаріи „о преступленіи и наказаніяхъ", Монтескье—„о существѣ законовъ", Ад. Смита—„о свойствѣ и причинахъ богатства народовъ", Бентама — „о пользѣ просвѣщенія" и мног. друг.

Наряду съ общимъ улучшеніемъ низшаго и средняго образованія,—даны были большія служебныя преимущества лицамъ, кончившимъ курсъ въ университетѣ, сравнительно съ тѣми, которыя не были въ университетѣ: этой мѣрой имѣлось въ виду привлечь къ высшему образованію общество, привыкшее къ всевозможнымъ привиллегіямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, повышался отъ этого и общій уровень общественнаго развитія.

Нашествіе Наполеона, вызвавшее на защиту родины всѣхъ русскихъ людей, какъ лучшихъ по уму и образованію, такъ и необразованныхъ,—и, какъ слѣдствіе этой борьбы, шествіе нашихъ войскъ черезъ з.-европейскія государства въ Парижъ и пребываніе ихъ во Франціи—естественно привело къ непосредственному знакомству нашему съ З.-Европой, къ еще болѣе сильному и уже непосредственному вліянію тѣхъ новыхъ идей, которыя представители нашего общества могли видѣть на Западѣ въ практическомъ приложеніи къ самой жизни, осуще-

ствленными въ многочисленныхъ и важныхъ по своему значенію общественныхъ учрежденіяхъ

Возникшее подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ причинъ умственное движеніе глубоко охватываетъ призванныя къ жизни лучшія силы нашего общества; среди него все болѣе крѣпнетъ, развивается и возвышаетъ свой голосъ въ защиту высокихъ нравственныхъ идеаловъ кружекъ людей съ новыми, возвышенными взглядами, съ горячими благородными убѣжденіями. По своей осмысленной жизни, по своему просвѣщенію, справедливости, честности и благородству они возвышались надъ массой; сознаніе нравственнаго превосходства и умственной самостоятельности сообщало ихъ характеру независимость; они понимали, что въ средѣ ихъ образуется разумное общественное мнѣніе, которое должно руководить большинствомъ. И разница между этимъ отживающимъ свой вѣкъ общественнымъ большинствомъ и этимъ пока еще незначительнымъ кружкомъ новыхъ русскихъ людей такъ велика, что „какъ посравнить да посмотрѣть вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій,—свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ".

Таковы факты, засвидѣтельствованные исторіей; они же несомнѣнно отразились и въ произведеніи поэта: съ этими именно фактами находится въ тѣсной связи личность Чацкаго. Отмѣтимъ же, въ чемъ заключаются тѣ характерныя черты, которыя указываютъ намъ въ личности Чацкаго на новое теченіе въ нашей общественной жизни.

Прежде всего, обращаетъ на себя вниманіе тотъ фактъ, что смутное, полусознательное недовольство окружающей дѣйствительностью, которое мы видѣли въ Онѣгинѣ, теперь пріобрѣтаетъ уже значительно большую опредѣленность: Чацкій, какъ мы видѣли, точно указываетъ всѣ тѣ слабости и пороки „вѣка минувшаго", которые возмущаютъ его, какъ представителя „вѣка нынѣшняго"; Чацкій знаетъ, чего онъ хочетъ; у него ясные, опредѣ-

ленные взгляды на жизнь, обязанности и достоинства настоящаго человѣка. А этотъ фактъ указываетъ намъ на то, что тѣ идеи, которыя, такъ сказать, скользили по отягченнымъ барскими привычками Онѣгинымъ, уже успѣли пустить корни въ сознаніи ихъ младшихъ сверстниковъ—Чацкихъ. Далѣе,—хотя Чацкій росъ и воспитывался въ той же барской средѣ, изъ которой вышелъ и Онѣгинъ, тѣмъ не менѣе, его, видимо, окружала болѣе благопріятная воспитательная обстановка, и это сказывается между прочимъ въ томъ, что въ Чацкомъ мы уже не чувствуемъ неотразимости привычекъ къ барской, великосвѣтской, фамусовской жизни, съ которыми, какъ мы видѣли, почти совсѣмъ не подъ силу было справляться Онѣгину. Чацкій тоже путешествовалъ за границу, какъ и Новиковскіе и Фонвизинскіе „петиметры",—но какая громадная разница въ цѣляхъ и слѣдствіяхъ ихъ путешествій: чужіе края окончательно выработали изъ Чацкаго горячаго, вдохновленнаго выразителя лучшихъ, высшихъ благородныхъ стремленій, и до сихъ поръ еще заставляющаго насъ своими рѣчами пріятно, благодѣтельно для насъ самихъ заволноваться всѣмъ высокимъ, благороднымъ; а Новиковскіе „петиметры" возвращались въ отечество вконецъ изуродованными, ни на что негодными куклами, возбуждая своимъ поведеніемъ справедливое негодованіе и порицаніе со стороны лучшихъ представителей отживающей старины.

Намъ остается разобрать еще одинъ литературный типъ, который, какъ впослѣдствіи въ этомъ убѣдимся, является ближайшей переходной ступенью къ Тургеневскимъ „лишнимъ людямъ": это близко всѣмъ намъ знакомый Лермонтовскій Печоринъ.

Для болѣе правильной оцѣнки общественно-историческаго значенія Печорина, мы должны въ немъ отбросить, или, по крайней мѣрѣ, низвести на степень болѣе

обыкновеннаго человѣческаго раздраженія тотъ демонизмъ байроновскихъ героевъ, который такъ старательно подчеркиваетъ въ немъ самъ авторъ. Этимъ мы не только не исказимъ литературнаго типа, но, наоборотъ, правильнѣе освѣтимъ его, какъ портретъ цѣлаго общественнаго поколѣнія,—именно такъ опредѣляетъ самъ Лермонтовъ значеніе своего героя.

Сближая Печорина съ Чацкимъ и въ особенности съ Онѣгинымъ, мы сейчасъ же чувствуемъ слѣдующую ступень въ развитіи общественнаго типа новыхъ русскихъ людей. Что же новаго вноситъ собою Печоринъ въ наше представленіе объ этомъ типѣ?

Печоринъ—человѣкъ умный, натура сильная, гордая, сознающая свое духовное превосходство надъ пустой, мелкой окружающей его средой, и это горделивое сознаніе является результатомъ того, что Печоринъ, подобно Чацкому, глубоко чувствуетъ пустоту, безцѣльность и во многихъ отношеніяхъ даже возмутительную низменность той жизни, которую ведетъ большинство такъ-называемыхъ образованныхъ людей. Обладая извѣстнымъ запасомъ идей и знаній, чувствуя въ себѣ нравственныя силы, которыя подъ вліяніемъ этихъ идей и знаній требуютъ выхода, Печоринъ жаждетъ дѣятельности, но не находитъ ея для себя,—отчасти потому, что жизнь непосредственно окружающаго его общества не предъявляла никакихъ запросовъ на серьезную, осмысленную дѣятельность,—отчасти также потому, что самъ Печоринъ не былъ, такъ сказать, практически знакомъ съ истинными потребностями и нуждами современнаго общества,—и, кромѣ того, преобладавшій въ то время отвлеченно-философскій характеръ образовательныхъ знаній лишалъ ихъ практическаго значенія для жизни;—наконецъ,—и это, пожалуй, самое главное,—Печоринъ, подъ вліяніемъ своего великосвѣтскаго воспитанія и той свѣтской жизни, которую

заключается въ томъ, что онъ постоянно тщательно анализируетъ собственную жизнь и поступки, — онъ живетъ больше головой, а не сердцемъ,—и это самоуглубленіе, этотъ постоянный самоанализъ, эта склонность именно жить больше головой, а не сердцемъ, больше думать, разсуждать, а не дѣлать, — приближаетъ Печорина къ тѣмъ тургеневскимъ типамъ, о которыхъ дальше мы прежде всего будемъ говорить.

Подведемъ итоги.

Въ началѣ нашего литературнаго обзора мы имѣли передъ собою довольно грустную картину культурнаго состоянія нашего общества. Наиболѣе значительная его часть коснѣла въ невѣжествѣ: въ большинствѣ случаевъ даже и не сознавая въ себѣ тѣхъ слабостей и пороковъ, которые возбуждали грусть и справедливое порицаніе со стороны лучшихъ людей того времени. А этихъ лучшихъ людей была лишь незначительная горсть; ихъ голосъ въ защиту образованія и нравственнаго обновленія звучалъ робко и одиноко въ нарождавшейся общественной литературѣ,—и сама литература не заключала еще въ себѣ типовъ, которые указывали бы на то, что въ обществѣ возникаетъ хотя смутное сознаніе пустоты и даже порочности той жизни, которую оно ведетъ. Правда, изъ этой темной массы выдѣлялся кругъ такъ-называемаго образованнаго, великосвѣтскаго общества; но, вѣдь, подъ французскими париками и чиновными мундирами, парижскими платьями и модными манерами скрывалось то же самое закоренѣлое невѣжество: на него наведенъ былъ только лоскъ, который лишь стоило, какъ накладное серебро, чѣмъ-нибудь задѣть, и тотчасъ же подъ нимъ обнаруживалась самаго низшаго качества мѣдь въ видѣ суевѣрія, лихоимства, страсти къ сплетнямъ, грубаго произвола и многихъ другихъ украшеній, которыми блистаютъ герои сатирической журналистики прошлаго вѣка. Но

вотъ именно въ этой отполированной на французскій ладъ общественной средѣ, все-таки нѣсколько ближе стоявшей къ настоящему европейскому образованію, постепенно возникаетъ броженіе. Успѣвшія въ извѣстной мѣрѣ въ нее проникнуть благотворныя идеи о долгѣ, о чести, объ истинныхъ обязанностяхъ и достоинствахъ человѣка, — наконецъ, нѣкоторыя знанія—пробуждаютъ сознаніе въ извѣстной части молодого поколѣнія, заставляя хотя въ отдѣльные моменты оглянуться на себя, на окружающихъ людей и самую жизнь, и хотя смутно почувствовать потребность чего-нибудь лучшаго, болѣе осмысленнаго, болѣе высокаго. Это явленіе въ русской общественной жизни становится настолько замѣтнымъ, что находитъ себѣ отраженіе въ литературѣ: Кавказскій плѣнникъ и въ особенности Алеко указываютъ намъ на это. Возникшее въ началѣ царствованія Императора Александра I умственное движеніе и непосредственное общеніе болѣе образованной части нашего общества съ З.-Европой въ эпоху Отечественной войны послужили еще болѣе сильнымъ толчкомъ къ пробужденію нашего общественнаго сознанія: расширился кругъ идей и знаній; пріобрѣла большую силу и глубину потребность въ болѣе осмысленной жизни; самое недовольство окружающей средой сдѣлалось, такъ сказать, болѣе сознательнымъ. Въ свое время мы отмѣтили эти черты въ характерѣ и въ положеніи Пушкинскаго Онѣгина. Разъ возникшее общественное движеніе уже не остановилось, не смотря на наступившія въ 20-хъ годахъ неблагопріятныя историческія условія: общественное сознаніе росло, усиливалось въ своей глубинѣ, уже возбуждало серьезное безпокойство въ представителяхъ „вѣка минувшаго". Чацкій, какъ мы видѣли, является блестящимъ выраженіемъ этого момента въ поступательномъ движеніи нашего общества. Разсматривая, далѣе, отличительныя черты въ характерѣ Печорина, мы имѣли

ему приходилось вести, не былъ способенъ серьезно, какъ слѣдуетъ, приняться за что-нибудь: онъ не зналъ, что такое настоящій трудъ, и совершенно не привыкъ къ нему. Самъ Печоринъ, въ значительной степени, конечно, справедливо считавшій себя по своимъ знаніямъ, развитію и способностямъ выше окружающей его среды и вмѣстѣ съ тѣмъ избалованный общимъ поклоненіемъ, не сознавалъ главной изъ этихъ причинъ, лишавшихъ его возможности найти себѣ мѣсто и дѣло: онъ самъ смотрѣлъ на себя, какъ на человѣка, обладающаго выдающимися,—по его выраженію,—необъятными силами, котораго не понимаютъ, неспособны оцѣнить, и для котораго нѣтъ въ окружающей жизни дѣла, достойнаго его силъ и нравственныхъ достоинствъ. Какъ бы то ни было, но во всякомъ случаѣ Печоринъ—человѣкъ несомнѣнно способный, сравнительно съ окружающими гораздо болѣе развитой; онъ чувствуетъ въ себѣ силы и способности отдаться какой-нибудь дѣятельности и не находитъ себѣ дѣла, чувствуетъ себя одинокимъ, раздражается на жизнь, которая его не удовлетворяетъ, и на людей, которыхъ онъ презираетъ,—тоскуетъ и, какъ бы желая забыться и вмѣстѣ съ тѣмъ дать хоть какое-нибудь удовлетвореніе своей жаждѣ дѣятельности, наполняетъ свой досугъ, по укоренившейся въ немъ привычкѣ, развлеченіями и похожденіями обыкновенной свѣтской жизни, стараясь при каждомъ удобномъ случаѣ какъ бы вымстить на окружающихъ людяхъ тѣ внутреннія мученія неудовлетворенности, которыя онъ испытываетъ. Прибавимъ къ этому еще одну черту, очень характерную для Печоринскаго типа,—это постоянное самобичеваніе, постоянное самоуглубленіе, постоянный какъ бы гамлетовскій анализъ не только своихъ поступковъ, но и каждаго отдѣльнаго желанія, даже чуть ли не каждой отдѣльной мысли, что еще болѣе усиливаетъ раз-

драженіе, недовольство и самимъ собой, и людьми, и жизнью.

Таковъ Печоринъ, и таково его положеніе среди окружающаго его общества.

Едва-ли мы будемъ справедливы, если, сравнивая Печорина съ Онѣгинымъ, скажемъ, что Печоринъ—тотъ же заѣденный скукой и тоской Онѣгинъ, идущій той же обыкновенной, торной дорогой людей, „вывихнутыхъ" дурнымъ или поверхностнымъ воспитаніемъ, не имѣющихъ ни малѣйшей привычки къ труду, такъ какъ свобода и матеріальная обезпеченность давали полную возможность бѣшено гоняться за удовольствіями, удовлетворять мелкимъ страстишкамъ, безпечно жуировать и изощряться въ преуспѣяніяхъ въ „наукѣ страсти нѣжной". Да, очень многое изъ этого, конечно, приложимо и къ Печорину, но онъ все-таки уже не Онѣгинъ. Рѣзко отличаютъ его отъ Онѣгина слѣдующія двѣ черты.

У Онѣгина, какъ мы видѣли, тоска, скука, охватывающая его вслѣдствіе неудовлетворенности жизнью, во-первыхъ, не соединяется съ такимъ глубокимъ раздраженіемъ, какъ у Печорина, а во-вторыхъ,—она переходитъ въ лѣнь, апатію,—и мы не чувствуемъ въ Онѣгинѣ той именно жажды дѣятельности, которая у Печорина является результатомъ, конечно, того, что онъ глубже чувствуетъ недостатки окружающей его жизни, глубже проникнутъ тѣми идеями, которыя возвышаютъ его надъ окружающей средой. То, что въ Онѣгинѣ,—какъ мы въ своемъ мѣстѣ отмѣтили, — такъ сказать, скользитъ по поверхности, слегка затрагивая его внутреннее „я", — въ Печоринѣ является уже болѣе серьезнымъ достояніемъ ума, глубже захватываетъ душу и сердце, возбуждая настоятельную потребность приложить и силы, и идеи, и взгляды къ жизни, къ какому-нибудь дѣлу. Другая, не менѣе характерная черта, рѣзко отличающая Печорина отъ Онѣгина,

заключается въ томъ, что онъ постоянно тщательно анализируетъ собственную жизнь и поступки, — онъ живетъ больше головой, а не сердцемъ,—и это самоуглубленіе, этотъ постоянный самоанализъ, эта склонность именно жить больше головой, а не сердцемъ, больше думать, разсуждать, а не дѣлать, — приближаетъ Печорина къ тѣмъ тургеневскимъ типамъ, о которыхъ дальше мы прежде всего будемъ говорить.

Подведемъ итоги.

Въ началѣ нашего литературнаго обзора мы имѣли передъ собою довольно грустную картину культурнаго состоянія нашего общества. Наиболѣе значительная его часть коснѣла въ невѣжествѣ: въ большинствѣ случаевъ даже и не сознавая въ себѣ тѣхъ слабостей и пороковъ, которые возбуждали грусть и справедливое порицаніе со стороны лучшихъ людей того времени. А этихъ лучшихъ людей была лишь незначительная горсть; ихъ голосъ въ защиту образованія и нравственнаго обновленія звучалъ робко и одиноко въ нарождавшейся общественной литературѣ,—и сама литература не заключала еще въ себѣ типовъ, которые указывали бы на то, что въ обществѣ возникаетъ хотя смутное сознаніе пустоты и даже порочности той жизни, которую оно ведетъ. Правда, изъ этой темной массы выдѣлялся кругъ такъ-называемаго образованнаго, великосвѣтскаго общества; но, вѣдь, подъ французскими париками и чиновными мундирами, парижскими платьями и модными манерами скрывалось то же самое закоренѣлое невѣжество: на него наведенъ былъ только лоскъ, который лишь стоило, какъ накладное серебро, чѣмъ-нибудь задѣть, и тотчасъ же подъ нимъ обнаруживалась самаго низшаго качества мѣдь въ видѣ суевѣрія, лицемѣрства, страсти къ сплетнямъ, грубаго произвола и многихъ другихъ украшеній, которыми блистаютъ герои сатирической журналистики прошлаго вѣка. Но

вотъ именно въ этой отполированной на французскій ладъ общественной средѣ, все-таки нѣсколько ближе стоявшей къ настоящему европейскому образованію, постепенно возникаетъ броженіе. Успѣвшія въ извѣстной мѣрѣ въ нее проникнуть благотворныя идеи о долгѣ, о чести, объ истинныхъ обязанностяхъ и достоинствахъ человѣка, — наконецъ, нѣкоторыя знанія—пробуждаютъ сознаніе въ извѣстной части молодого поколѣнія, заставляя хотя въ отдѣльные моменты оглянуться на себя, на окружающихъ людей и самую жизнь, и хотя смутно почувствовать потребность чего-нибудь лучшаго, болѣе осмысленнаго, болѣе высокаго. Это явленіе въ русской общественной жизни становится настолько замѣтнымъ, что находитъ себѣ отраженіе въ литературѣ: Кавказскій плѣнникъ и въ особенности Алеко указываютъ намъ на это. Возникшее въ началѣ царствованія Императора Александра I умственное движеніе и непосредственное общеніе болѣе образованной части нашего общества съ З.-Европой въ эпоху Отечественной войны послужили еще болѣе сильнымъ толчкомъ къ пробужденію нашего общественнаго сознанія: расширился кругъ идей и знаній; пріобрѣла большую силу и глубину потребность въ болѣе осмысленной жизни; самое недовольство окружающей средой сдѣлалось, такъ сказать, болѣе сознательнымъ. Въ свое время мы отмѣтили эти черты въ характерѣ и въ положеніи Пушкинскаго Онѣгина. Разъ возникшее общественное движеніе уже не остановилось, не смотря на наступившія въ 20-хъ годахъ неблагопріятныя историческія условія: общественное сознаніе росло, усиливалось въ своей глубинѣ, уже возбуждало серьезное безпокойство въ представителяхъ „вѣка минувшаго". Чацкій, какъ мы видѣли, является блестящимъ выраженіемъ этого момента въ поступательномъ движеніи нашего общества. Разсматривая, далѣе, отличительныя черты въ характерѣ Печорина, мы имѣли

возможность отмѣтить слѣдующій шагъ въ развитіи нашего общественнаго сознанія: вліяніе новыхъ, лучшихъ идей и взглядовъ на жизнь и на человѣка несомнѣнно еще болѣе усилилось: эти идеи не только вызываютъ болѣе сознательное отношеніе къ окружающей жизни, но и возбуждаютъ потребность дѣятельности, желаніе примѣнить свои силы и знаніе къ какому-нибудь дѣлу; кромѣ этого, прибавляется или, — правильнѣе,—усиливается и окончательно укрѣпляется еще новая черта въ характерѣ этихъ новыхъ русскихъ людей: склонность къ самоанализу, къ самоуглубленію, склонность—скорѣе философски разсуждать и обсуждать, нежели практически дѣйствовать.

Этимъ мы заканчиваемъ нашъ краткій обзоръ до-тургеневской литературы и при этомъ невольно чувствуемъ обязанность отвѣтить на слѣдующіе два вопроса.

Первый вопросъ заключается въ слѣдующемъ: мы говорили о Пушкинѣ, Грибоѣдовѣ, Лермонтовѣ,—даже вспомнили „матушку Екатерину",—и ни однимъ словомъ не обмолвились о поэтѣ, котораго всѣ мы ставимъ наравнѣ съ Пушкинымъ: мы даже не упомянули имени Гоголя. Предоставимъ самому поэту объяснить наше забвеніе. Сравнивая себя съ Пушкинымъ, Гоголь говоритъ: „Не таковъ удѣлъ писателя, дерзнувшаго вызвать наружу всю потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь... Ему не собрать народныхъ рукоплесканій... И долго еще опредѣлено мнѣ чудной властью итти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы". Эти послѣднія слова недавно начертаны на памятникѣ поэту, и въ этихъ именно словахъ наше оправданіе: „потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь", житейскую пошлость и нравственную низменность—вотъ что Гоголь возводитъ въ „перлъ созданія" и выставляетъ на „всенародныя очи".

Не въ этомъ, конечно, мірѣ житейскихъ пошлостей и мелочей искать намъ просвѣта, нравственнаго обновленія общества, развитія общественнаго сознанія, общественной мысли. Великій художникъ только еще болѣе дастъ намъ почувствовать необходимость просвѣта; но въ его художественныхъ картинахъ,—этихъ по-истинѣ перлахъ созданія, каковъ, напримѣръ, „Ревизоръ",—мы не находимъ самаго просвѣта.

Второй вопросъ заключается вотъ въ чемъ: мы говорили о Плѣнникѣ, объ Алеко, объ Онѣгинѣ, Чацкомъ, Печоринѣ,—по этимъ литературнымъ типамъ слѣдили за постепеннымъ развитіемъ общественнаго характера;—а гдѣ же Татьяна и Ольга Ларины, Софья Фамусова, княжна Мери? почему же о нихъ ни слова? развѣ это не русскія женщины? развѣ въ нихъ не сказался общественный характеръ съ другой, можетъ быть, лучшей его стороны? развѣ онѣ не принимали никакого участія въ процессѣ развитія нашего общественнаго сознанія? Изъ всѣхъ этихъ женскихъ типовъ, въ защиту которыхъ мы только что возвысили голосъ, приходится остановиться только на двухъ: на Татьянѣ Лариной и на княжнѣ Мери.

Для характеристики Татьяны вспомнимъ наиболѣе важныя мѣста знаменитой рѣчи Ѳ. М. Достоевскаго. Вотъ что, между прочимъ, онъ говорилъ: „Татьяна — положительный типъ, а не отрицательный; это типъ положительной красоты; это апоѳеозъ русской женщины. Можно даже сказать, что такой красоты положительный типъ русской женщины почти уже и не повторяется въ нашей художественной литературѣ, — кромѣ развѣ образа Лизы въ „Дворянскомъ гнѣздѣ" Тургенева. Онѣгинъ не сумѣлъ отличить въ бѣдной дѣвочкѣ законченности и совершенства, и Татьяна прошла въ его жизни неузнанною и неоцѣненною. А она разгадала Онѣгина, что и сказалось въ ея послѣднемъ свиданіи съ нимъ: отнюдь не испор-

ченная придворной жизнью, а наоборотъ,—удрученная пышностью петербургской жизни, ненавидящая свой санъ свѣтской дамы, надломленная и страдающая, она твердо произнесла эти незабвенныя слова: „Но я другому отдана и буду вѣкъ ему вѣрна". Высказала она это, какъ русская женщина,—въ этомъ ея апоѳеозъ. Отказалась она итти за Онѣгинымъ, хотя и любила его, вовсе не потому, что, какъ русская женщина (а не южная, не французская какая-нибудь), неспособна на смѣлый шагъ, не въ силахъ порвать свои путы, не въ силахъ пожертвовать обаяніемъ почестей, богатства, свѣтскаго своего значенія, условіями добродѣтели. Нѣтъ, русская женщина смѣла. Русская женщина смѣло пойдетъ за тѣмъ, во что повѣритъ, и она доказала это. Но она „другому отдана и будетъ вѣкъ ему вѣрна". Кому же, чему же вѣрна? какимъ это обязанностямъ? Этому-то старику генералу, котораго она не можетъ же любить, потому что любитъ Онѣгина, и за котораго вышла потому только, что ее „со слезами заклинаній молила мать", а въ обиженной, израненной душѣ ея было тогда лишь отчаяніе и никакой надежды, никакого просвѣта? Да, вѣрна этому генералу, ея мужу, честному человѣку, который ее любитъ, уважаетъ и гордится ею. Пусть ее „молила мать"; но, вѣдь, она, не кто другая, дала согласіе; она, вѣдь, она сама поклялась ему быть честной женой его. Пусть она вышла за него съ отчаянія, но теперь онъ ея мужъ, и измѣна ея покроетъ его позоромъ, стыдомъ и убьетъ его. А развѣ можетъ человѣкъ основать свое счастье на несчастьѣ другого? Счастье не въ однихъ только наслажденіяхъ любви, а и въ высшей гармоніи духа. Чѣмъ успокоить духъ, если назади стоитъ нечестный, безжалостный, безчеловѣчный поступокъ? Ей бѣжать изъ-за того только, что тутъ мое счастье? Но какое же можетъ быть счастье, если оно основано на чужомъ несчастіи? Позвольте, представьте, что вы сами возводите зданіе судьбы чело-

вѣческой съ цѣлью въ концѣ концовъ осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой. И вотъ, представьте себѣ тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человѣческое существо,—мало того,—пусть даже не столь достойное, смѣшное даже на иной взглядъ существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честнаго старика, мужа молодой жены, въ любовь которой онъ вѣритъ слѣпо, хотя сердца ея не знаетъ вовсе, уважаетъ ее, гордится ею, счастливъ ею и покоенъ. И вотъ только его надо опозорить, обезчестить и замучить, и на слезахъ этого обезчещеннаго старика возвести ваше зданіе! Согласитесь-ли вы быть архитекторомъ такого зданія на этомъ условіи? Вотъ вопросъ. И можете-ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которыхъ вы строили это зданіе, согласились бы сами принять отъ васъ такое счастье, если въ фундаментѣ его заложено страданіе, положимъ хоть и ничтожнаго существа, но безжалостно и несправедливо замученнаго и, принявъ это счастье, остаться навѣки счастливыми? Скажите, могла-ли рѣшить иначе Татьяна, съ ея высокой душой, съ ея сердцемъ, столько выстрадавшимъ? Нѣтъ, чистая русская душа рѣшаетъ вотъ такъ: „Пусть, пусть я одна лишусь счастья; пусть мое несчастье безмѣрно сильнѣе, чѣмъ несчастье этого старика; пусть, наконецъ, никто и никогда, а этотъ старикъ тоже, не узнаютъ моей жертвы и не оцѣнятъ ея, — но не хочу быть счастливою, загубивъ другого". Именно такъ, а не иначе должна была разсуждать Татьяна, во-первыхъ, потому, что она разгадала Онѣгина и понимала, что теперь его ослѣпляетъ въ ней поклоненіе того самаго свѣта, который для Онѣгина-то, вѣдь, страшный авторитетъ, не смотря на всѣ его міровыя стремленія, — а во-вторыхъ, и это самое главное,—потому, что у ней и въ отчаяніи, и въ страдальческомъ сознаніи, что погибла ея жизнь, все-

таки есть нѣчто твердое и незыблемое, на что опирается ея душа". Таковъ характеръ и нравственный обликъ Татьяны, какимъ онъ представляется глубокому знатоку человѣческой души, автору „Преступленія и наказанія". Для полноты характеристики припомнимъ всѣмъ намъ хорошо извѣстную обстановку, среди которой выросла и воспиталась Татьяна;—припомнимъ, какъ и въ чемъ проходила ея жизнь въ родной деревнѣ,—тѣ вліянія, подъ которыми складывался ея характеръ. А теперь отвѣтимъ на вопросъ: что мы имѣемъ въ Татьянѣ, какъ въ литературномъ типѣ,—съ точки зрѣнія нашей задачи? Отвѣчаемъ: по справедливому опредѣленію Ѳ. М. Достоевскаго, въ Татьянѣ мы имѣемъ положительный типъ русской женщины; геніальный поэтъ воплотилъ въ этомъ художественномъ образѣ всѣ тѣ привлекательныя, даже можно сказать,—высокія черты, которыя выработала въ женщинѣ прежняя русская патріархальная старина: только, вѣдь, благотворному вліянію лучшихъ сторонъ этой патріархальной старины обязана Татьяна тѣми нравственными устоями, на которые „опирается ея душа"; не французскіе же романы воспитали въ ней высокое благородство души; не романтическіе же и сентиментальные герои и героини легкой французской поэзіи послужили для нея воспитывающими образцами. Въ Татьянѣ, такъ сказать, художественно отлилось послѣднее слово лучшихъ сторонъ нашего прежняго общественнаго быта, какъ онъ сложился подъ вліяніемъ вѣковыхъ традицій; но мы не видимъ еще въ Татьянѣ,—ни по ея развитію, ни по ея стремленіямъ, ни по ея образу жизни, ни по окружающей ее обстановкѣ,—ничего такого, что бы указывало собою наступленіе новой эпохи въ развитіи русской женщины,—ея положенія, характера, образа жизни, дѣятельности.

Княжна Мери, конечно, въ несравненно меньшей степени, нежели Пушкинская Татьяна, даетъ намъ возмож-

ность предположить въ ней что-нибудь подобное: это типъ отрицательный. Вмѣстѣ съ матерью онѣ представляютъ собою образецъ свѣтской пустоты, барскаго ничегонедѣланія и мелкаго тщеславія, — люди, умственно малоразвитые и съ нехитрыми нравственными понятіями, сводящимися къ умѣнью одѣваться по строгимъ правиламъ свѣтскаго вкуса, соблюдать свѣтскій тонъ, быстро принимать чинный и важный видъ. Мери „читала Байрона по-англійски и знаетъ алгебру", за что ея мать „питаетъ уваженіе къ уму и знаніямъ своей дочки"; но видно, что все это происходило скорѣе по побужденію тщеславія, изъ желанія блеснуть своими знаніями, чѣмъ по стремленію къ умственному развитію, почему эти занятія и не оставили въ ея душѣ видимаго слѣда. Существенное, важное вліяніе оказало на нее только тогдашнее свѣтское воспитаніе, сосредоточивавшееся на развитіи изящныхъ манеръ, соблюденіи свѣтскихъ приличій и вообще тона,—и слишкомъ мало затрогивавшее умственныя и нравственныя силы человѣка. По словамъ своей матери,—Мери „невинна, какъ голубь"; но эта „голубиная" невинность выражается въ институтской пугливости, въ незнаніи жизни и людей, въ ожиданіи чего-то особеннаго, таинственнаго. Она смотритъ на молодыхъ людей съ „нѣкоторымъ презрѣніемъ", но это только до тѣхъ поръ, пока не увидитъ въ нихъ чего-нибудь особеннаго. Когда же вообразила, напримѣръ, что юнкеръ Грушницкій — разжалованный за какую-нибудь исторію въ солдаты офицеръ,—тотчасъ наградила его своимъ благосклоннымъ вниманіемъ. Но Печоринъ еще интереснѣе: объ его исторіяхъ и похожденіяхъ ходитъ много самыхъ громкихъ и разнообразныхъ толковъ; самъ онъ ведетъ себя такъ, что сумѣетъ раздразнить женское самолюбіе своими разсказами, возбудить къ себѣ сожалѣніе,—и въ воображеніи княжны онъ дѣлается „героемъ романа въ новомъ

вкусѣ", почему она сочла долгомъ влюбиться въ него и стала смѣяться надъ Грушницкимъ. Хотя Мери и испорчена свѣтскимъ воспитаніемъ, хотя она неспособна ни къ какой серьезной дѣятельности, вся отдалась пустымъ мечтамъ, пустой, свѣтской жизни, — тѣмъ не менѣе, въ ея душѣ сохранилась свойственная ей правдивость: она честно и прямо относится къ людямъ. Обманутая и оскорбленная Печоринымъ въ лучшихъ своихъ чувствахъ и надеждахъ, она живо и глубоко почувствовала оскорбленіе женскаго и человѣческаго своего достоинства; безъ моленій, безъ униженій, гордо и съ достоинствомъ сознала въ своей ошибкѣ и рѣшилась навсегда разстаться со своимъ оскорбителемъ. Ея послѣднія слова, обращенныя къ Печорину: „Я васъ ненавижу!" — дышатъ глубиною и искренностью. Такова Мери—подобно Онѣгину, жертва неправильнаго воспитанія, жертва тлетворнаго вліянія окружающей среды,—и, какъ одна изъ многочисленныхъ и болѣе или менѣе обыкновенныхъ жертвъ такъ-называемаго свѣта, она, конечно еще менѣе, нежели Татьяна Ларина, можетъ свидѣтельствовать о поступательномъ движеніи въ развитіи характера русской женщины.

Итакъ, стало быть, нѣтъ ни одного женскаго типа, указывая на который, можно было бы сказать: „Вотъ художественный образъ женщины, въ характерѣ, стремленіяхъ и образѣ жизни которой занимается заря новой, лучшей жизни, дающей женщинѣ право называться человѣкомъ въ томъ истинномъ, высокомъ смыслѣ, въ какомъ мы его теперь понимаемъ? Да,—такого женскаго типа дотургеневская литература не даетъ,—и не даетъ, конечно, потому, что сама жизнь ихъ не давала. Но они будутъ, мы увидимъ ихъ позднѣе. Въ прекрасныхъ, художественныхъ образахъ предстанутъ онѣ намъ, изваянныя рукою великаго мастера и тонкаго знатока женской души: мы говоримъ о тургеневскихъ Лизѣ, Наташѣ и Еленѣ.

ВТОРОЕ ЧТЕНІЕ.

Записки охотника и Рудинъ — Тургенева.

Когда знаменитый римскій цензоръ Катонъ произносилъ въ сенатѣ какую-нибудь рѣчь, онъ обыкновенно заканчивалъ ее слѣдующими словами: «Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam», т. е.: „Кромѣ того, я полагаю, что Кароагенъ долженъ быть разрушенъ». Этими словами великій патріотъ напоминалъ своимъ согражданамъ, какое важное дѣло они должны совершить, чтобы обезпечить развитіе и процвѣтаніе римской республики.

Въ исторической жизни нашей родины былъ тоже свой Кароагенъ, который несравненно больше, нежели африканскій Кароагенъ Риму, мѣшалъ правильному и свободному развитію нашего общества; этимъ русскимъ Кароагеномъ было такъ-называемое «крѣпостное право». Его Катономъ былъ И. С. Тургеневъ. Припомнимъ хотя въ общихъ чертахъ его повѣсти и романы, содержаніе которыхъ относится къ «дорефоргменной» эпохѣ русской жизни: во всѣхъ нихъ, — или въ началѣ, въ видѣ эпиграфа, или въ концѣ, въ видѣ заключительнаго вывода, — мы невольно какъ бы слышимъ слѣдующія слова ихъ автора: «Я полагаю, что крѣпостное право должно быть уничтожено».

Самъ писатель говорилъ, что борьбу съ этой страш-

ной общественной язвой онъ ставилъ цѣлью всей своей жизни, рѣшился бороться всѣми силами своей души. И поэтъ дѣйствительно воспользовался всѣми силами своего таланта, чтобы на живыхъ, художественныхъ образахъ и картинахъ показать растлѣвающее вліяніе на русское общество этой странной, вѣками развивавшейся язвы; Тургеневъ дѣйствительно боролся всѣми силами своей души съ этимъ крупнымъ общественнымъ зломъ, — и «Записки охотника» являются какъ бы интродукціей къ этой литературно-художественной борьбѣ. Въ своихъ разсказахъ охотникъ-поэтъ какъ бы намѣчаетъ всѣ тѣ основные мотивы, которые затѣмъ онъ разрабатываетъ въ цѣломъ рядѣ художественныхъ произведеній.

По общему мнѣнію критиковъ, — «Записки охотника», по своему общественному и художественному значенію, представляютъ собою такое произведеніе, что если бы И. С. Тургеневъ не написалъ ничего еще другого послѣ нихъ, все-таки его имя навсегда осталось бы незабвеннымъ въ исторіи нашей литературы. Достоинства этихъ охотничьихъ записокъ значительны и разнообразны.

Въ общественно-историческомъ отношеніи онѣ замѣчательны прежде всего потому, что заключаютъ въ себѣ полную, яркую и въ высшей степени художественную картину нашего народнаго и помѣщичьяго быта въ эпоху крѣпостного права, — и затѣмъ, какъ первый горячій художественный протестъ въ нашей литературѣ противъ растлѣвающаго вліянія народнаго рабства на развитіе общества. Пушкинъ, вѣдь, почти совсѣмъ не касался этой стороны народнаго быта; что же касается Гоголя, то народные типы у него изображаются лишь съ внѣшней и при томъ только комической стороны, — а помѣщичій бытъ отразился въ его поэмахъ лишь своей по-истинѣ нечеловѣческой пошлостью, и прямого обличенія самой язвы крѣпостного права мы не находимъ.

Въ литературномъ отношеніи «Записки охотника» замѣчательны по яркой художественности изображенныхъ въ нихъ типовъ, — по той глубокой правдивости, съ которою отразились въ этихъ «Запискахъ» характеръ и бытъ простого русскаго человѣка, а также помѣщичья среда въ извѣстную эпоху, — наконецъ, по той цѣльности идеи и взглядовъ поэта, которые лежатъ въ основѣ на первый взглядъ какъ будто бы и не связанныхъ между собою его разсказовъ. Эта общая идея, эта общая задача разсказовъ можетъ быть опредѣлена такъ: раскрыть грустныя, мрачныя стороны положенія нашего простого народа подъ тяжестью крѣпостной зависимости и вмѣстѣ съ тѣмъ показать свѣтлыя, привлекательныя стороны въ характерѣ и нравахъ простого русскаго человѣка, который сохранялъ въ себѣ человѣка и при самомъ нечеловѣческомъ положеніи.

И поэтъ дѣйствительно даетъ намъ это почувствовать. Припомните Касьяна съ Красивой Мечи. Его оторвали отъ родного гнѣзда, внезапно переселили на новое, чужое мѣсто; бездомный, безсемейный, онъ совсѣмъ растерялся въ непривычной обстановкѣ, перебивается кое-чѣмъ, — больше добрые люди жалѣютъ. Крѣпостное иго какъ бы придавило его своей тяготой. А посмотрите, какимъ именно божественнымъ огнемъ согрѣта душа Касьяна. Какъ сжимается его сердце при одной мысли о томъ, что любимыя имъ бѣдныя птайки вотъ-вотъ сдѣлаются жертвою забавы охотника! съ какимъ глубокимъ, искреннимъ чувствомъ онъ произноситъ при этомъ слѣдующія слова: «Кровь — святое дѣло кровь! Кровь солнышка Божія не видитъ, кровь отъ свѣту прячется... великій грѣхъ показать свѣту кровь — охъ, великій!» Какою широкой, всеобъемлющей любовью переполняется его сердце, когда онъ вспоминаетъ о другихъ такихъ же горемыкахъ, какъ онъ самъ, и говоритъ:

«Много другихъ крестьянъ въ лаптяхъ ходитъ, по міру бродятъ, правды ищутъ... да! А то что дома то, а? Справедливости въ человѣкѣ нѣтъ, — вотъ оно что..." А какъ Касьянъ знаетъ и любитъ природу: среди пташекъ, травъ и цвѣтовъ, подъ сѣнью зеленаго лѣса находитъ онъ себѣ успокоеніе, и ему, такъ сказать, открыта книга природы: Касьянъ знаетъ свойства нѣкоторыхъ травъ и лѣчитъ ими. Съ какимъ именно поэтическимъ восторгомъ вспоминаетъ онъ свою Красивую Мечь: «Тамъ», говоритъ Касьянъ, — «у насъ, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холмъ... и Господи Боже мой, а? И рѣка-то, и луга-то, и лѣсъ!... А тамъ церковь... а тамъ опять пошли луга. Далече видно, далече!... вотъ какъ далеко видно... Смотришь, смотришь! Ахъ, ты, право!...» И тяжело Касьяну на новомъ мѣстѣ, въ «тѣснотѣ да въ сухменѣ»; такъ и рвется его поэтическая душа на широкій и вольный просторъ: — «и туда, и сюда, вплоть до теплыхъ морей съ сладкогласными птицами, съ золотыми яблоками на серебряныхъ вѣткахъ, гдѣ солнце привѣтливѣе свѣтитъ, и Богу человѣкъ виднѣй, и поется-то ладнѣй; гдѣ раздоліе и Божья благодать; гдѣ живетъ всякъ человѣкъ въ довольствѣ и справедливости».

Совершенную противоположность романтику-идеалисту Касьяну представляетъ собою Хорь: это натура чисто практическая и показываетъ намъ, какъ, благодаря своему ясному уму и практическому смыслу, нашъ простой русскій человѣкъ, даже и при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, при совершенной зависимости отъ произвола своего барина, все-таки сумѣлъ устроить себѣ совершенно независимое положеніе. Недаромъ баринъ говоритъ про него: «Онъ у меня мужикъ умный». Дѣйствительно, Хорь—умный и дальновидный человѣкъ. Онъ понялъ, что, чѣмъ дальше отъ барина, тѣмъ лучше, —

и выпросилъ себѣ позволеніе поселиться въ лѣсу, на болотѣ. За то его и прозвали Хоремъ. Онъ знаетъ, что барину важнѣе всего получить съ него побольше оброку, и Хорь взноситъ исправно по сту рублей въ годъ. Откупиться на свободу Хорь не хочетъ: жить ему «за бариномъ» выгоднѣе, потому что «попадешь совсѣмъ въ вольные люди, — тогда, кто безъ бороды живетъ (т. е. чиновникъ, всякое начальство), тотъ и будетъ Хорю наóбольшій». Это «человѣкъ себѣ на умѣ». Напримѣръ, еще: сыновей своихъ онъ выростилъ богатырями, а грамотѣ не учитъ, хотя и знаетъ ея пользу; но онъ также и то знаетъ, что грамотныхъ возьмутъ на барскій дворъ, — и тогда разстроится его крѣпкая, дружная семья. Любопытенъ, наконецъ, разговоръ Хоря съ бариномъ. „Что же ты, батюшка, живешь въ своей вотчинѣ?“ — спрашиваетъ онъ помѣщика. „Живу“, — отвѣчаетъ тотъ. „А больше, чай, ружьемъ пробавляешься?“ — продолжаетъ спрашивать Хорь. „Признаться, — да“, отвѣчаетъ баринъ. „И хорошо, батюшка, дѣлаешь“, — иронично замѣчаетъ Хорь: „стрѣляй себѣ на здоровье тетеревовъ да старосту мѣняй почаще“. Таковъ Хорь-практикъ.

А что вышло бы изъ Хоря и Касьяна, если бы на нихъ не тяготѣло крѣпостное иго? А это иго было очень нелегко. Вотъ нѣсколько картинокъ.

Однодворецъ Овсянниковъ разсказываетъ, что родной дѣдъ охотника-автора „Записокъ“, мало того, что присвоилъ себѣ ни за что ни про что землю отца Овсянникова, — онъ вдобавокъ еще и высѣкъ его у себя подъ окошками, да еще поглядывалъ при этомъ съ балкона вмѣстѣ съ женой.

Особенно возмутителенъ эпизодъ, изображаемый охотникомъ въ разсказѣ „Ермолай и мельничиха“. Дворовая дѣвушка Арина, бывшая всегда при барынѣ и привык-

шая потрафлять всѣмъ причудамъ барыни, полюбила двороваго человѣка и явилась къ своему барину просить разрѣшеніе выйти замужъ за любимаго человѣка. Баринъ съ убѣжденіемъ отвѣчаетъ ей между прочимъ: „У барыни другой горничной нѣтъ, а замужнихъ она не держитъ"; мало этого, онъ даже возмущается яко бы „черной неблагодарностью" Арины: она осмѣливается нарушить покой барыни, которая,—вѣдь, легко сказать,—пожаловала ее къ себѣ въ горничныя, еще съ дѣтства, конечно, вырвавъ ее изъ родной семьи. И Арина должна была безпрекословно оставаться при барынѣ и выбросить изъ головы своего рода „завиральныя" идеи. Когда же обнаружились естественныя послѣдствія барскаго эгоизма и самодурства, то ту же бѣдную Арину сослали чуть не въ каторгу. И г. Звѣрковъ, съ тономъ какъ бы оскорбленнаго барскаго достоинства, разсказываетъ обо всемъ этомъ событіи, пренаивно вставивъ между словъ, что онъ не позволялъ просившей о пощадѣ Аринѣ валяться у него въ ногахъ, потому что „человѣкъ никогда не долженъ забывать свое достоинство". Рядомъ съ этой несчастной Ариной невольно вспоминаешь нѣмого Герасима изъ повѣсти „Муму" — съ его глубокой любовью къ единственному привязавшемуся къ нему существу—собакѣ, и съ его величавымъ уходомъ отъ своей безсердечно-нервозной барыни.

Мы сдѣлали бы непростительную ошибку, если бы, на основаніи только-что приведенныхъ дѣйствительно возмутительныхъ картинъ крѣпостного права, стали утверждать, что авторъ „Записокъ", такъ сказать, подтасовываетъ факты, какъ бы преднамѣренно подбираетъ ужасъ къ ужасу. „Записки охотника" тѣмъ именно и цѣнны, что онѣ, отличаясь художественной правдой, вмѣстѣ съ тѣмъ отличаются безусловной безпристрастностью отношенія автора къ избраннымъ имъ лицамъ и событіямъ:

рядомъ съ Звѣрковыми, Полутыкиными и Стегуновыми, этими истыми представителями крѣпостничества, мы видимъ въ „Запискахъ", напримѣръ, Чертопханова—сына. Охотникъ говоритъ про него: „Несправедливости, притѣсненія онъ вчужѣ не выносилъ; за мужиковъ своихъ стоялъ горою... „Какъ! моихъ трогать?! Да не будь я Чертопхановъ!..." Такъ же горячо этотъ въ высшей степени взбалмошный человѣкъ, но самъ по себѣ добрый, вступился и за скромнаго, приниженнаго судьбою Недопюскина, когда надъ нимъ стали было издѣваться по поводу наслѣдства.

Это правдивое, безпристрастное отношеніе нашего писателя къ помѣщичьимъ типамъ указываетъ намъ на то, что въ глазахъ автора важно не звѣрская грубость и безчеловѣчность, можетъ быть, очень многихъ нашихъ помѣщиковъ тогдашней эпохи, не недостатокъ среди нихъ тѣхъ добродушныхъ личностей, которыя могутъ являться и независимо отъ образованія съ его смягчающимъ вліяніемъ,—а онъ скорбитъ о неестественности самыхъ отношеній между помѣщиками и крестьянами, о неестественности этой неразрывной связи между людьми съ неограниченными правами и людьми безправными, — главная причина зла не въ отдѣльныхъ лицахъ, не въ ихъ качествахъ, а въ самомъ крѣпостничествѣ, въ народномъ рабствѣ, которое порождаетъ Звѣрковыхъ и Стегуновыхъ, предоставляя полный просторъ ихъ грубымъ инстинктамъ.

Съ такимъ же безпристрастіемъ рисуетъ поэтъ и народные типы. Изображая, напримѣръ, въ „Бѣжиномъ лугу" нашихъ крестьянскихъ дѣтей, онъ съ видимымъ сочувствіемъ отмѣчаетъ въ нихъ дѣловитость, знаніе жизни, трезвое, смѣлое отношеніе къ природѣ и къ окружающимъ ихъ явленіямъ, — чѣмъ они, конечно, стоятъ неизмѣримо выше и прежнихъ и теперешнихъ Ильюшъ Обломовыхъ; но вмѣстѣ съ этимъ поэтъ даетъ намъ также

почувствовать бѣдность и убожество ихъ воспитательной обстановки, ту непроглядную тьму суевѣрій, которая окутываетъ ихъ съ самой колыбели. Или еще: разсказывая намъ, какъ ловко сумѣлъ устроиться Хорь на своемъ болотѣ, охотникъ не скрываетъ и его недостатковъ: Хорь за чистотой и опрятностью въ избѣ далеко не гонится, разсуждая, что „надо избѣ жильемъ пахнуть"; на женщинъ онъ смотритъ съ искреннимъ, глубокимъ презрѣніемъ: „Баба — работница",—говоритъ онъ: „баба — мужику слуга... Бабы — народъ глупый. Что ихъ трогать? Такими пустяками заниматься. Не стоитъ рукъ марать".

Нѣсколько отдѣльную группу среди настоящихъ представителей помѣщичьяго крѣпостного права составляютъ собою въ „Запискахъ охотника" молодые,—по народному выраженію,— ,ученые, въ заграницѣ бывшіе" помѣщики— г.г. Королевы и Пустозвоновы, о которыхъ разсказываетъ умный, наблюдательный, степенный однодворецъ Овсянниковъ. Про Королева онъ говоритъ: „Въ университетахъ обучался, кажись и заграницей побывалъ, говоритъ плавно, скромно, всѣмъ намъ руки жметъ... Какъ дошло дѣло до размежеванія, заговорилъ, что отъ этого крестьянину будетъ легче, что помѣщику грѣшно не заботиться о благосостояніи крестьянъ... Дворяне-то всѣ носы повѣсили; я самъ, ей-ей, чуть не прослезился... А чѣмъ кончилось? Самъ четырехъ десятинъ мохового болота не уступилъ и продать не захотѣлъ". Еще комичнѣе Пустозвоновъ: „Смотрятъ мужики: что за диво! ходитъ баринъ въ плисовой поддевкѣ, словно кучеръ... Я-де русскій, и вы русскіе... Я русское все люблю... Ну, дѣтки, спойте-ка русскую, народственную пѣсню... А самъ, словно красныя дѣвушки, все книги читаетъ, али пишетъ... Прежній-то приказчикъ на первыхъ порахъ вовсе перетрусился... А вмѣсто того вышло... самъ Господь не разберетъ, что такое вышло. Позвалъ его, приказчика-то, къ себѣ Вас. Никол. (Пу-

стозвоновъ), и говоритъ, а самъ краснѣетъ: „Будь справедливъ у меня—не притѣсняй никого". Да съ тѣхъ поръ къ своей особѣ его и не требовалъ... Такъ посмотрѣть—сердце радуется: обходительны, вѣжливы, говорятъ такъ складно, что душа умиляется, а дѣла-то настоящаго не смыслятъ, даже собственной пользы не чувствуютъ: ихъ же крѣпостной человѣкъ, приказчикъ, гнетъ ихъ, куда хочетъ, какъ дугу".

Да, однѣми плисовыми поддевками да „народственными" пѣснями, конечно, ничего не сдѣлаешь; никакія книжки не помогутъ, если стоишь совершенно въ сторонѣ отъ самой жизни, отъ ея запросовъ. Эта послѣдняя мысль, лишь слегка проведенная въ характерѣ Пустозвонова, разрабатывается нашимъ писателемъ позднѣе въ цѣломъ рядѣ художественныхъ типовъ.

Прежде чѣмъ перейти къ этимъ типамъ, спросимъ себя: что хочетъ сказать намъ поэтъ своими „Записками охотника"? Какіе мы можемъ сдѣлать выводы изъ этой увертюры, какою являются „Записки охотника" по отношенію къ слѣдовавшимъ за ними произведеніямъ? Выводъ можно сдѣлать только одинъ; онъ ясенъ и глубоко правдивъ. Вотъ этотъ выводъ: „Читатель! ты видѣлъ, сколько сердечной теплоты и правды скрывается въ изсушенной рабствомъ груди простого русскаго человѣка, — ты чувствовалъ, какъ рвется онъ къ свѣту, къ свободѣ,— ты видѣлъ также, какъ это рабство пригнетаетъ въ нашемъ народѣ всякое истинно-человѣческое стремленіе, какъ оно держитъ его въ непроглядной тьмѣ невѣжества, суевѣрія. Не менѣе ясно для тебя, какъ пагубно вліяетъ эта власть рабовладѣльца на нашего дворянина—помѣщика, какъ она заглушаетъ въ немъ все доброе и, наоборотъ, даетъ полный просторъ его страстямъ и грубымъ, животнымъ инстинктамъ. Подумай о томъ, сколько въ этой растлѣвающей атмосферѣ крѣпостничества гиб-

нетъ хорошихъ, здоровыхъ силъ, добрыхъ душъ, горячихъ сердецъ,—какъ эта язва разъѣдаетъ нашъ общественный организмъ, вредя его правильному росту и развитію".

Намъ теперь слѣдуетъ говорить о „Рудинѣ", и мы разсмотримъ типъ Рудина въ связи съ другимъ родственнымъ ему типомъ, который мы умышленно до поры до времени пропустили въ „Запискахъ охотника": я разумѣю Гамлета Щигровскаго уѣзда. Рудинъ принадлежитъ къ наиболѣе замѣчательнымъ типамъ въ нашей литературѣ: въ немъ сказалось нѣчто непреходящее, именно одно изъ основныхъ свойствъ культурнаго русскаго человѣка. Въ этомъ смыслѣ съ Рудинымъ можно рядомъ поставить только Обломова,—и, какъ Обломовщина и до настоящей минуты продолжаетъ въ насъ благополучно здравствовать, такъ точно и Рудинство является безспорно одной изъ отличительныхъ чертъ въ характерѣ нашего русскаго культурнаго человѣка.

По своему происхожденію Рудинъ принадлежалъ, правда, къ бѣдной, но все-таки помѣщичьей семьѣ, и своей матери обязанъ онъ тѣмъ, что на немъ отразились наиболѣе характерныя черты крѣпостного быта. Мать въ немъ души не чаяла; съ самаго нѣжнаго дѣтства онъ былъ предметомъ ея обожанія: она толокномъ однимъ питалась и всѣ, какія только были у нея деньги, употребляла на него; Митя былъ для нея кумиромъ, которому она постоянно приносила жертвы, лишая себя всего, лишь бы только не дать ему и почуять, что значатъ какія-нибудь лишенія. Съ самой колыбели Рудинъ привыкъ быть предметомъ общаго обожанія и поклоненія; вконецъ избалованный, онъ всѣ жертвы принималъ, какъ должную дань тѣмъ великимъ достоинствамъ, которыя заставляло

ВТОРОЕ ЧТЕНІЕ.

Записки охотника и Рудинъ — Тургенева.

Когда знаменитый римскій цензоръ Катонъ произносилъ въ сенатѣ какую-нибудь рѣчь, онъ обыкновенно заканчивалъ ее слѣдующими словами: «Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam», т. е.: „Кромѣ того, я полагаю, что Кароагенъ долженъ быть разрушенъ». Этими словами великій патріотъ напоминалъ своимъ согражданамъ, какое важное дѣло они должны совершить, чтобы обезпечить развитіе и процвѣтаніе римской республики.

Въ исторической жизни нашей родины былъ тоже свой Кароагенъ, который несравненно больше, нежели африканскій Кароагенъ Риму, мѣшалъ правильному и свободному развитію нашего общества; этимъ русскимъ Кароагеномъ было такъ-называемое «крѣпостное право». Его Катономъ былъ И. С. Тургеневъ. Припомнимъ хотя въ общихъ чертахъ его повѣсти и романы, содержаніе которыхъ относится къ «дореформенной» эпохѣ русской жизни: во всѣхъ нихъ, — или въ началѣ, въ видѣ эпиграфа, или въ концѣ, въ видѣ заключительнаго вывода, — мы невольно какъ бы слышимъ слѣдующія слова ихъ автора: «Я полагаю, что крѣпостное право должно быть уничтожено».

Самъ писатель говорилъ, что борьбу съ этой страш-

ной общественной язвой онъ ставилъ цѣлью всей своей жизни, рѣшился бороться всѣми силами своей души. И поэтъ дѣйствительно воспользовался всѣми силами своего таланта, чтобы на живыхъ, художественныхъ образахъ и картинахъ показать растлѣвающее вліяніе на русское общество этой странной, вѣками развивавшейся язвы; Тургеневъ дѣйствительно боролся всѣми силами своей души съ этимъ крупнымъ общественнымъ зломъ, — и «Записки охотника» являются какъ бы интродукціей къ этой литературно-художественной борьбѣ. Въ своихъ разсказахъ охотникъ-поэтъ какъ бы намѣчаетъ всѣ тѣ основные мотивы, которые затѣмъ онъ разрабатываетъ въ цѣломъ рядѣ художественныхъ произведеній.

По общему мнѣнію критиковъ, — «Записки охотника», по своему общественному и художественному значенію, представляютъ собою такое произведеніе, что если бы И. С. Тургеневъ не написалъ ничего еще другого послѣ нихъ, все-таки его имя навсегда осталось бы незабвеннымъ въ исторіи нашей литературы. Достоинства этихъ охотничьихъ записокъ значительны и разнообразны.

Въ общественно-историческомъ отношеніи онѣ замѣчательны прежде всего потому, что заключаютъ въ себѣ полную, яркую и въ высшей степени художественную картину нашего народнаго и помѣщичьяго быта въ эпоху крѣпостного права, — и затѣмъ, какъ первый горячій художественный протестъ въ нашей литературѣ противъ растлѣвающаго вліянія народнаго рабства на развитіе общества. Пушкинъ, вѣдь, почти совсѣмъ не касался этой стороны народнаго быта; что же касается Гоголя, то народные типы у него изображаются лишь съ внѣшней и при томъ только комической стороны, — а помѣщичій бытъ отразился въ его поэмахъ лишь своей по-истинѣ нечеловѣческой пошлостью, и прямого обличенія самой язвы крѣпостного права мы не находимъ.

Философія, искусство, наука, самая жизнь,—все это для насъ были одни слова, пожалуй, даже понятія, заманчивыя, прекрасныя, но разбросанныя, разъединенныя». И вотъ о такихъ-то, для большинства «разъединенныхъ», подчасъ даже малодоступныхъ и почти совсѣмъ оторванныхъ отъ жизни вопросахъ ведутся дебаты. Конечно, пользы при этомъ условіи могло быть очень мало,—и развивалось главнымъ образомъ краснобайство.

Такимъ именно характеромъ отличался тотъ студенческій кружокъ, въ который попалъ Рудинъ. На его несчастье, онъ отличался особенной способностью говорить,—говорить складно, умно, увлекательно. Лежневъ говоритъ про него: «Рудинъ превосходно развивалъ любую мысль, спорилъ мастерски. Читалъ онъ больше философскія книги, и голова у него была такъ устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы... Ничего не оставалось безсмысленнымъ, случайнымъ: во всемъ высказывалась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и, въ то же время, таинственное, каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ, чувствовали себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому...“ Эта въ своемъ родѣ вдохновенная тирада Лежнева показываетъ намъ между прочимъ, какой дѣйствительно выдающейся способностью увлекать другихъ горячимъ словомъ обладалъ Рудинъ. Благодаря именно этой способности, онъ и въ университетѣ, среди студентовъ-товарищей, продолжалъ собирать дань преклоненія передъ своей особой, быть предметомъ если не обожанія, то, какъ видно изъ словъ Лежнева,—

трепетнаго удивленія, какъ то было у себя въ деревнѣ. Это, конечно, очень льстило еще съ дѣтства избалованному и развитому самолюбію Рудина: онъ еще болѣе изощрялся въ своемъ ораторствѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ привыкалъ видѣть въ этомъ для себя серьезное дѣло, привыкалъ думать, что въ этомъ заключается все, что онъ долженъ дѣлать въ жизни,—тѣмъ болѣе потому, что ему не приходилось ни о чемъ, такъ сказать, реально-житейскомъ заботиться. Привыкшій съ ранняго дѣтства брать все готовымъ и при этомъ не спрашивать, даже и не подумать о томъ, откуда, чьими руками все это добыто, Рудинъ и въ университетѣ совершенно покойно бралъ деньги у товарищей, совсѣмъ не задаваясь вопросомъ о томъ, насколько все-таки это могло быть къ лицу такому философу-руководителю, какимъ онъ былъ для своего кружка.

Послѣ всего сказаннаго нетрудно отвѣтить на вопросъ, что далъ Рудину университетъ. Хорошаго сравнительно очень мало вынесъ Рудинъ изъ храма русской науки, и это хорошее заключалось прежде всего, конечно, въ тѣхъ, безспорно, высокихъ самихъ по себѣ идеяхъ, которыми богата была и философія Гегеля, и тѣ философскіе дебаты, которыми оглашалась скромная студенческая каморка Покорскаго. Эти идеи были отрывочны, мало имѣли связи съ запросами окружающей общественной жизни,—но онѣ все же будили серьезную мысль, все же говорили о высокомъ, о прекрасномъ, зажигали благороднымъ, освѣжающимъ огнемъ молодыя, отзывчивыя сердца. „Вы представьте",—разсказываетъ Лежневъ,—„человѣкъ пять, шесть,—одна сальная свѣча горитъ, чай подается прескверный и сухари къ нему старые, престарые; а посмотрѣли бы вы на всѣ наши лица, послушали бы рѣчи наши! Въ глазахъ у каждаго восторгъ, и щеки пылаютъ, и сердце бьется,—и говоримъ мы о Богѣ, о правдѣ, о

будущности человѣчества, о поэзіи... Вотъ ужъ утро сѣрѣетъ, и мы расходимся тронутые, веселые, честные, трезвые (вина у насъ и въ поминѣ тогда не было), съ какой-то пріятной усталостью на душѣ.... Помнится, идешь по пустымъ улицамъ, весь умиленный, и даже на звѣзды какъ-то довѣрчиво глядишь, словно онѣ стали ближе и понятнѣе... Эхъ! славное было время, и не хочу я вѣрить, что оно пропало даромъ". Къ этому нужно прибавить и ту жажду знанія, то желаніе итти впередъ, пополнить, расширить, еще болѣе выяснить вызывающіе другъ друга вопросы, которыми искренно волновалась тогдашняя университетская молодежь. Но не меньше, пожалуй, развѣ еще не больше вынесъ Рудинъ дурного изъ своего студенчества. Университетская жизнь не только не исправила въ Рудинѣ недостатковъ первоначальнаго, домашняго воспитанія, но, какъ мы видѣли, даже еще укрѣпила ихъ въ немъ; далѣе, она выработала изъ Рудина пустого, безцѣльнаго, самоуслаждающагося краснобая, для котораго обратилось въ потребность, такъ сказать,—въ цѣль жизни возвышаться на трибунѣ и приковывать къ себѣ всеобщее вниманіе своими вдохновенными, но вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе, чѣмъ на половину, безплодными рѣчами; наконецъ, университетъ не только не помогъ Рудину хотя нѣсколько познакомиться съ запросами и нуждами дѣйствительной жизни, отъ которыхъ еще съ дѣтства нѣжная материнская забота всячески удаляла Рудина, но онъ, можно сказать, даже еще болѣе отдалилъ юношу отъ самой дѣйствительной народной и общественной жизни, служенію которой онъ долженъ былъ себя посвятить. Вѣдь, не даромъ же, искушенный и побитый жизнью, Щигровскій Гамлетъ восклицаетъ: „Какую, скажите на милость, пользу могъ я извлечь изъ энциклопедіи Гегеля? Что общаго, — скажите, — между этой энциклопедіей и русской жизнью?"

Но будемъ нѣсколько терпѣливѣе: покончивъ съ университетомъ, Рудинъ, вѣдь, поѣхалъ за границу, въ Германію,—къ самому первоисточнику тогдашней нашей науки и образованности; быть можетъ, эта самая „заграница“ освѣжила его и хотя нѣсколько направила на путь истины. Надежды на это, положимъ, немного: у насъ еще свѣжо воспоминаніе о почтеннѣйшемъ Пустозвоновѣ изъ „Записокъ охотника“. А вотъ что Щигровскій Гамлетъ прибавляетъ съ своей стороны къ этой картинѣ, говоря о своемъ пребываніи за границей: „Нечего и говорить“,—сознается онъ,—„что собственно Европы, европейскаго быта я не узналъ ни на волосъ; я слушалъ нѣмецкихъ профессоровъ и читалъ нѣмецкія книги на самомъ мѣстѣ рожденія ихъ... вотъ въ чемъ состояла вся разница“. Еще у себя, на Руси, привыкнувъ читать эти нѣмецкія книжки помимо жизни, т. е. окружавшей его, родной, русской жизни, которая уже въ самомъ дѣтствѣ была отъ него заслонена „французскимъ его гувернеромъ—нѣмцемъ Филипповичемъ изъ нѣжинскихъ грековъ“,—привыкнувъ мыслить только по книгамъ, помимо жизни,—Щигровскій Гамлетъ и въ Германіи также мало былъ склоненъ къ тому, чтобы непосредственно всмотрѣться въ самую жизнь, въ ту жизнь, на почвѣ которой родились эти книжки. Онъ правильно разсуждалъ, отправляясь за границу, что „наука-то, кажись, вездѣ одна“, но онъ не зналъ, какъ, къ сожалѣнію, и до сихъ поръ еще многіе не знаютъ,—что наука, съ ея цѣлью—истиной заключается не въ однѣхъ книжкахъ, что дѣйствительно овладѣть наукой, — это значитъ умѣть сознавать ея непосредственное возникновеніе изъ жизни,—сдѣлаться способнымъ выводить эту самую науку и ея истины изъ всего, что насъ окружаетъ. Одна изъ причинъ того, что этого не достигали наши Щигровскіе Гамлеты, заключалась въ томъ, что они не умѣли, не привыкли вгляды-

ваться въ самую жизнь, изъ которой рождаются настоящія научныя истины; они привыкли брать все готовымъ, у другихъ, говорить и думать чужими, готовыми идеями и выводами. „Имъ выводы подавай",—говоритъ Лежневъ. „Гдѣ же нашему брату изучать то, чего еще ни одинъ умница въ книгу не вписалъ!" съ горечью въ сердцѣ говоритъ Щигровскій Гамлетъ: „Я бы радъ былъ брать у ней уроки, у русской жизни то,—да молчитъ она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ, а мнѣ это не подъ силу: мнѣ вы подайте выводъ, заключенье мнѣ представьте".

Но, вѣдь, и по характеру первоначальнаго воспитанія, и по характеру своего образованія, по самому образу жизни въ первую пору молодости, увлеченія и университетской болтовней, и заграничной отвлеченной наукой,—Щигровскій Гамлетъ не только ближайшій современникъ Рудина,—но больше того: онъ кровный, родной, развѣ только старшій братъ, а поэтому все, что мы только что говорили его устами и про него самого,—безъ всякой ошибки, безъ всякой натяжки приложимо и къ Рудину,—тѣмъ болѣе, что университетская обстановка, какъ мы видѣли, ничего другого и обѣщать не могла. Лежневъ какъ бы подтверждаетъ это: на вопросъ Александры Павловны, какимъ онъ нашелъ Рудина за границею, онъ отвѣчаетъ: „Я въ немъ открылъ то, о чемъ я говорилъ вамъ съ часъ тому назадъ". А во время этого разговора Лежневъ изображалъ Рудина именно такимъ безпочвеннымъ философомъ-краснобаемъ, ораторствующимъ на половину для самоуслажденія съ чужихъ словъ, съ блескомъ, съ трескомъ, но почти безслѣдно и безплодно для окружающей жизни и людей. Для своей русской жизни, для своей родины Рудинъ и изъ-за границы вернулся такимъ же пустоцвѣтомъ, такимъ же „складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ", какъ выражается Щиг-

ровскій Гамлетъ,—какимъ и поѣхалъ въ нѣмецкіе края. И невольно повторишь вмѣстѣ съ тѣмъ же Щигровскимъ Гамлетомъ: „Такъ зачѣмъ же ты таскался за границу? зачѣмъ не сидѣлъ дома да не изучалъ окружающей тебя жизни на мѣстѣ?" Отвѣтъ на этотъ вопросъ намъ уже извѣстенъ: Рудины способны только проглатывать готовые выводы, съ блескомъ и съ самоуслажденьемъ развивать ихъ передъ такою же, какъ они сами, праздною публикою, которую они поражаютъ и умиляютъ своимъ трескучимъ краснобайствомъ. Именно въ такомъ положеніи мы застаемъ Рудина въ началѣ романа.

Въ высшей степени любопытную картинку представляютъ собою первыя минуты пребыванія Рудина у Ласунской: это прекрасная, какъ увидимъ сейчасъ, иллюстрація къ студенческимъ воспоминаніямъ Лежнева о Рудинѣ,—ко всему тому, что мы до сихъ поръ говорили о немъ.

На эти нѣсколько минутъ мы съ вами въ имѣніи столичной львицы—Дарьи Михайловны Ласунской, въ ея огромномъ барскомъ домѣ, воздвигнутомъ на вершинѣ холма по рисункамъ знаменитаго Растрелли,—съ колоннами, балконами, террасами,—въ ея салонѣ со всевозможными приспособленіями и украшеніями утонченнаго свѣтскаго вкуса. Теплый лѣтній вечеръ. Въ открытыя окна льется ароматъ липовыхъ аллей и цвѣтниковъ. Въ салонѣ цѣлое общество сосѣдей, друзей, поклонниковъ. Всѣ въ особенномъ настроеніи; всѣхъ захватила, приковала къ себѣ вдохновенная, горячая, воодушевленная рѣчь одного человѣка. Этотъ человѣкъ—Рудинъ. Онъ говоритъ мастерски. Образы смѣняются образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникаютъ за сравненіями. Онъ не ищетъ словъ: они сами послушно и свободно приходятъ къ нему на уста, и каждое слово, кажется, такъ и льется прямо изъ души, пылаетъ всѣмъ жаромъ убѣжденія. Стоя у окна, не глядя ни на кого

въ особенности, онъ, вдохновленный общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ, близостью молодыхъ женщинъ, красотою ночи, увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній, возвысился до краснорѣчія, до поэзіи.... Хозяйка въ восторгѣ отъ новаго украшенія своего салона, съ увлеченіемъ слѣдитъ за потокомъ воодушевленной рѣчи и съ нѣжнымъ выраженіемъ въ голосѣ невольно восклицаетъ: „Vous êtes un poète"! Сосѣди и друзья вполнѣ согласны съ ней и съ восторженнымъ удивленіемъ внимаютъ оратору. Но больше всѣхъ поражены—только-что окончившій курсъ въ университетѣ молодой Басистовъ и семнадцатилѣтняя дочь хозяйки—Наташа. У Басистова чуть дыханье не захватило; „онъ сидѣлъ все время съ открытымъ ртомъ и широко раскрытыми глазами,—и слушалъ, слушалъ, какъ отъ роду не слушалъ никого", — говоритъ намъ авторъ, — „а у Наташи лицо покрывалось алой краской, и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ, и заблисталъ". Еще не совсѣмъ замолкли послѣднія, заключительныя слова Рудина, объяснявшаго значеніе приведенной имъ туманной скандинавской легенды о птичкѣ,—какъ заботливые слуги доложили, что поданъ ужинъ, и все общество, насладившись пищею духовной, направилось въ столовую, гдѣ всѣхъ ожидало хлѣбосольство гостепріимной хозяйки. А въ это время въ ветхой и низкой крайней избушкѣ сосѣдней деревеньки умиралъ человѣкъ, преждевременно приведенный къ могилѣ невозможными условіями жизни; въ той же деревнѣ бѣгали нечесаные, немытые, заброшенные ребятишки, потому что матери за ними некогда смотрѣть: она и въ полѣ, она и на барскомъ дворѣ, она и у себя на дворѣ,—все одна; а кругомъ вездѣ безпроглядное невѣжество и тягота, непочатый уголъ нуждъ и самыхъ насущныхъ жизненныхъ вопросовъ,—дѣла и дѣла безъ конца. И стоитъ это дѣло, и царитъ это невѣжество, и гнетъ свою спину

безпомощный простой человѣкъ, и ждетъ народная русская жизнь своихъ дѣятелей,—въ то самое время, когда за блестящимъ ужиномъ г-жи Ласунской „самый звукъ Рудинскаго голоса, сосредоточенный и тихій, увеличиваетъ еще болѣе обаяніе всего того, что онъ говоритъ: кажется всѣмъ, что его устами говоритъ что-то высшее... онъ говоритъ о томъ, что придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка“... Ужинъ кончился. Упоенные и духовной и тѣлесной пищею, ораторы и восторженные слушатели расходятся,—и вотъ они уже успокоились на своихъ мягкихъ, покойныхъ ложахъ, какъ бы исполнивъ свой долгъ передъ обществомъ, передъ родиной... А эта самая родина стоитъ по-прежнему одинокая, и родная нива тщетно ждетъ своихъ настоящихъ пахарей...

Въ этой по-истинѣ грустной картинкѣ своего перваго „блестящаго“ дебюта у Ласунской Рудинъ является передъ нами именно такимъ, какимъ мы его могли представлять себѣ по разсказамъ о немъ Лежнева, по всему тому, что мы знали о его первоначальномъ, домашнемъ воспитаніи, о его университетской жизни. Рудинъ попалъ въ свою сферу, онъ именно въ своей тарелкѣ: на него обращены всѣ взоры; онъ—предметъ всеобщаго вниманія и удивленія; онъ вызываетъ восторженное настроеніе своимъ вдохновеннымъ краснорѣчіемъ,—и онъ счастливъ, весь отдается охватившему его увлеченію,—и Рудинъ весь тутъ, и ничего больше отъ него ожидать и нельзя, въ чемъ убѣждаютъ насъ факты, послѣдовавшіе за его первымъ дебютомъ.

Вѣдь, онъ явился къ Ласунской собственно для того только, чтобы передать порученіе своего знакомаго,—и на это, конечно, совершенно достаточно было бы одного вечера; но Рудинъ сразу почувствовалъ себя у Ласунской въ привычной для себя, излюбленной сферѣ и, вмѣсто одного вечера, совершенно незамѣтно,—именно незамѣтно,

заживается на нѣсколько мѣсяцевъ. Рудину и въ голову не приходитъ вопросъ,—какъ это онъ, безспорно умный, развитой, образованный,—по крайней мѣрѣ начитанный, человѣкъ, живетъ цѣлые мѣсяцы безъ всякаго дѣла у мало знакомыхъ ему людей и тратитъ время на пустое краснобайство. Онъ этого не чувствуетъ и не замѣчаетъ: вѣдь, для него какъ бы вернулась его студенческая жизнь: и теперь такъ же, какъ и тогда, онъ собираетъ со всѣхъ дань и духовную,—въ видѣ удивленія своему ораторскому таланту,—и матеріальную—въ видѣ займовъ въ счетъ будущихъ благъ; ему ни о чемъ не приходится заботиться, для него все готово, — и онъ не только не смущается грустной, — съ нашей точки зрѣнія, прямо-таки обидной для него ролью, а чувствуетъ себя совершенно въ своей сферѣ и ораторствуетъ себѣ да ораторствуетъ,—и если бы не исторія съ Наташей, онъ и дольше бы оставался.

Мы подошли теперь къ высшей степени характерному для Рудина его сближенію съ Наташей. Мы видѣли, съ какимъ восторженнымъ вниманіемъ слѣдила Наташа за первымъ дебютомъ Рудина; на другой день онъ началъ дебютировать уже спеціально для Наташи. Свой дебютъ онъ началъ во время прогулки съ нею съ гимна въ честь поэзіи: „Поэзія—языкъ боговъ; она разлита вездѣ, она вокругъ насъ... Взгляните на эти деревья, на это небо, — отовсюду вѣетъ красотою и жизнью; а гдѣ красота и жизнь, тамъ и поэзія". Наташа сразу почувствовала въ себѣ вчерашнее настроеніе; она живо вспомнила его вчерашнія восторженныя рѣчи о томъ, что придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка, и поэтому положительно изумилась, когда на ея вопросъ,—что онъ думаетъ дѣлать въ деревнѣ,—Рудинъ ей отвѣчалъ, что ему „пора отдохнуть". Но ея слова:—„отдыхать могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть

полезнымъ...", напомнили ему о его обычной роли трибуна и глашатая великихъ отвлеченныхъ истинъ. Рудинъ даже какъ бы извинился передъ Наташей, что забылъ о своей роли: „Ваше одно слово напомнило мнѣ мой долгъ, указало мнѣ мою дорогу",—говорилъ онъ ей: „Да, я долженъ дѣйствовать. Я не долженъ скрывать свой талантъ, если онъ у меня есть; я не долженъ растрачивать свою силу на одну болтовню, пустую, безполезную болтовню, на одни слова..." „И слова его полились рѣкою",—прибавляетъ отъ себя авторъ: „онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно—о позорѣ малодушія и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло,—говорилъ долго и окончилъ тѣмъ, что еще разъ благодарилъ Наталью Алексѣевну и совершенно неожиданно стиснулъ ей руку, промолвивъ: „Вы—прекрасное, благородное существо".

Не въ обиду будь сказано, нашему восторженному глашатаю великихъ истинъ,—онъ живо напоминаетъ намъ въ данномъ случаѣ тоже безсмертнаго въ своемъ родѣ—Ив. Ал. Хлестакова: оба они съ Рудинымъ производятъ положительно одно и то же впечатлѣніе своимъ увлеченіемъ болтовней. Хлестаковъ болтаетъ, наивно, незлобиво желая нарисоваться, пустить пыль въ глаза, возбудить своего рода трепетъ своимъ мнимымъ положеніемъ столичнаго льва и крупнаго чиновника-дѣльца; Рудинъ болтаетъ, такъ же наивно и незлобиво желая нарисоваться, возбудить трепетъ, приковать къ себѣ восторженное удивленіе окружающихъ своею ролью общественнаго трибуна, провозвѣстника великихъ идей о долгѣ, о чести, объ обязанностяхъ. И какъ Хлестаковъ, совсѣмъ заболтавшись, кончилъ тѣмъ, что улегся спать, а послѣ этого перешелъ къ извѣстнымъ „пассажамъ" съ провинціальными львицами, совершенно забывъ о своемъ положеніи великаго государственнаго человѣка съ 35,000

курьеровъ въ передней, —такъ точно и Рудинъ, самъ дойдя до восторженнаго ослабленія и своихъ слушателей доведя до крайняго умиленія, кончалъ тѣмъ, что укладывался въ гостепріимные хозяйскіе пуховики, а затѣмъ переходилъ къ обѣду, пикнику, прогулкѣ по рѣкѣ и къ партіи въ крокетъ. Разница же во впечатлѣніи, производимомъ этими двумя типами, въ томъ, что Хлестаковъ насъ преимущественно забавляетъ, — Рудинъ же насъ огорчаетъ и возбуждаетъ даже негодованіе къ себѣ, особенно по отношенію къ Наташѣ.

Это послѣднее разъясняетъ намъ Лежневъ въ своемъ разговорѣ съ Александрой Павловной; онъ говоритъ ей: „Дѣло въ томъ, что слова Рудина такъ и остаются словами и никогда не станутъ поступкомъ,—а между тѣмъ, эти самыя слова могутъ смутить, погубить молодое сердце. Я говорю о Натальѣ Алексѣевнѣ. Наталья вовсе не ребенокъ: она, повѣрьте, чаще и глубже размышляетъ, чѣмъ мы съ вами. И надобно же, чтобы этакая честная, страстная и горячая натура наткнулась на такого актера, на такую кокетку!“ Въ этомъ глубоко правдивомъ и грустномъ отзывѣ для насъ важны два факта: 1) что слова Рудина производятъ сильное, глубокое впечатлѣніе на молодую, честную, страстную и горячую натуру Наташи, и 2) что слова Рудина такъ и остаются словами и никогда не станутъ поступкомъ. Уже одно сопоставленіе этихъ двухъ важныхъ по отношенію къ Рудину фактовъ заставляетъ насъ предполагать что-нибудь недоброе,—и оно дѣйствительно вскорѣ наступаетъ.

Какъ въ первый день ораторскаго дебюта у Ласунской Рудина вдохновляло и вводило въ его обычную роль общее сочувствіе и вниманіе, близость молодыхъ женщинъ и то обаяніе, которое онъ на всѣхъ производитъ,—такъ точно и теперь, дебютируя въ той же роли по отношенію къ Наташѣ, онъ вдохновлялся тѣмъ востор-

женнымъ трепетомъ, который возбуждали его слова въ молодой, неопытной, чистой, воспріимчивой, горячей натурѣ дѣвушки. Ея широко открытые блестящіе глаза, ея пылающія восторгомъ щеки, то сочувствіе къ нему, „бѣдному скитальцу", какъ называетъ себя Рудинъ, — которое сквозило въ каждомъ ея искреннемъ, вылившемся изъ души словѣ,—все это какъ бы опьяняло Рудина и къ наслажденію чувствовать себя предметомъ удивленія и восторженнаго поклоненія присоединяло еще наслажденіе чувствовать себя предметомъ первой, чистой, зарождающейся и съ каждой минутой усиливающейся любви чистаго, молодого, глубокаго по душѣ и сердцу существа. Рудинъ не могъ этого не чувствовать, не могъ этого не замѣчать: Наташа была слишкомъ неопытное, чистое, честное, открытое существо, чтобы играть какую-нибудь роль, кокетничать:—ея сердце все было открыто;—она прямыми, чистыми, невинными глазами говорила о томъ, чѣмъ волновалось ея сердце;—она прямо, открыто шла навстрѣчу горячему, честному призыву, который ей слышался въ восторженныхъ рѣчахъ Рудина. И Рудинъ не могъ этого не понимать, не могъ этого не чувствовать, —тѣмъ болѣе, что ему было уже 35 лѣтъ, онъ уже видѣлъ жизнь и испыталъ въ ней многое. И онъ чувствовалъ, и прекрасно понималъ, что дѣлается въ душѣ Наташи; онъ даже настаивалъ на томъ, чтобы Наташа высказалась, и онъ добился этого.

„Наталья Алексѣевна!" говорилъ трепетнымъ шепотомъ Рудинъ, когда Наташа, уступая его просьбѣ, пришла къ нему на свиданіе: „я хотѣлъ васъ видѣть... я не могъ дождаться завтрашняго дня. Я долженъ вамъ сказать, чего я не подозрѣвалъ, чего я не сознавалъ даже сегодня утромъ... я люблю васъ"... „Я люблю васъ",— повторилъ онъ: „и какъ я могъ такъ долго обманываться, какъ я давно не догадался, что люблю васъ!.. А вы?..

Наталья Алексѣевна, скажите, вы?..“ — Вы видите, я пришла сюда, — проговорила Наташа, едва переводя духъ. „Нѣтъ, скажите, вы любите меня?“ — Мнѣ кажется... да... прошептала она. „Ахъ, Наталья Алексѣевна, какъ я счастливъ! Теперь ужъ ничто насъ не разъединитъ!“ восторженно отозвался на это Рудинъ. — Вы говорите, вы счастливы? — какъ бы желая окончательно увѣриться въ этомъ, спросила Наташа. „Я? Нѣтъ человѣка въ мірѣ счастливѣе меня! Неужели вы сомнѣваетесь?“ Наташа приподняла голову, взглянула ему въ глаза и рѣшительно сказала: „Знайте же: я буду ваша!“

Итакъ, цѣль достигнута: дѣвушка любитъ и готова итти за любимымъ человѣкомъ. Что же мы можемъ, или, — правильнѣе, — должны, именно должны ожидать отъ Рудина? Человѣкъ уже далеко не молодой, безспорно умный, образованный, развитой, уже не мало испытавшій въ жизни, прекрасно видитъ, что производитъ глубокое, сильное впечатлѣніе на юную, неопытную, страстную и воспріимчивую по натурѣ дѣвушку, радуется, когда убѣждается въ этомъ, добивается окончательной взаимности, вызываетъ на рѣшительное объясненіе, наконецъ, — достигаетъ всего этого. Конечно, у подобнаго человѣка должно же быть сознаніе важности и серьезности того шага, который онъ дѣлаетъ, — онъ долженъ, конечно, понимать, что беретъ на свои руки судьбу и счастье молодой, неопытной, чистой, честной дѣвушки, которая довѣрчиво откликнулась на его призывъ, увѣренная найти въ немъ самомъ, въ его дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ все то, что такъ увлекало ее въ его восторженныхъ рѣчахъ; онъ долженъ же знать, куда онъ ее поведетъ, что онъ ей дастъ, какъ онъ оправдаетъ тѣ ея ожиданія, которыя естественно наполняютъ ея сердце, настроенное и взволнованное его же возвышенными рѣчами объ истинномъ смыслѣ жизни, объ обязанности

каждаго изъ насъ дѣятельно трудиться на пользу человѣчества. Дѣвушка подала ему свою руку; онъ, какъ мы видѣли, съ восторгомъ принялъ ее, горячо, восторженно увѣряя дѣвушку, что онъ теперь счастливѣйшій человѣкъ въ мірѣ, что ничто теперь не разъединитъ ихъ. Ну, кажется, все кончено, и наступило время дѣйствовать, и дѣйствовать, конечно, ему, этому „счастливѣйшему человѣку въ мірѣ". Что же Рудинъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ по-истинѣ безсмертная сцена послѣдняго его свиданія съ Наташей у Авдюхина пруда.

Послѣ рѣшительнаго объясненія съ матерью, которая объявила, что „она скорѣе согласится видѣть Наташу мертвою, чѣмъ женою Рудина", Наташа, отвѣтивъ матери, что скорѣе умретъ, чѣмъ выйдетъ за другого, рѣшила покончить со всѣмъ прошлымъ и отдать свою судьбу въ руки любимаго человѣка. Уходя послѣ этого на рѣшительное свиданіе съ Рудинымъ, она мысленно прощалась со своимъ домомъ, со своимъ прошедшимъ: она твердо была увѣрена, что ее ожидаетъ надежная, серьезная, любящая рука, на которую она можетъ смѣло опереться для того, чтобы вмѣстѣ съ любимымъ человѣкомъ пуститься навстрѣчу превратностямъ жизни, — и кого же она встрѣтила у Авдюхина пруда? того ли Рудина — благороднаго, смѣлаго, убѣжденнаго бойца за правду, за счастье, какимъ она привыкла представлять его себѣ по его безчисленнымъ рѣчамъ? А вотъ послушаемъ самого Рудина.

Во-первыхъ, онъ пресерьезно заохалъ и заволновался тѣмъ, что Дарья Михайловна узнала о его свиданіи съ Наташей, и презабавно все выспрашивалъ у Наташи мелкія подробности ея послѣдняго разговора съ матерью. Затѣмъ, когда Наташа, раздраженная этими странными разспросами, прямо поставила вопросъ: „Какъ вы думаете, что намъ надобно теперь дѣлать? Я пришла за

совѣтомъ. Вы—мужчина. Я привыкла вамъ вѣрить, я до конца буду вѣрить вамъ", — Рудинъ, какъ застигнутый врасплохъ, растерянно отвѣчалъ: „Да какой совѣтъ могу я дать вамъ? Покориться судьбѣ: я бѣденъ; но если даже я былъ бы богатъ, то для васъ была бы тяжела разлука съ вашей семьей, гнѣвъ вашей матушки", — и т. д. Въ отвѣтныхъ горькихъ словахъ какъ громомъ пораженной этимъ совѣтомъ Наташи мы находимъ въ высшей степени правдивую характеристику Рудина: „Какъ! я прихожу къ вамъ за совѣтомъ, и въ какую минуту, и первое ваше слово: покориться... Покориться! Такъ вотъ какъ вы примѣняете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, о жертвѣ... Мама была права: вы, точно, отъ нечего дѣлать, отъ скуки, пошутили со мной... Зачѣмъ же вы не остановили меня? зачѣмъ вы сами... Вы такъ часто говорили о самопожертвованіи... но, знаете ли, если бы вы сказали мнѣ сегодня, сейчасъ: — „Я тебя люблю, но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной",—знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась?.. Но, вѣрно, отъ слова до дѣла еще далеко, и вы теперь струсили точно такъ же, какъ струсили третьяго дня передъ Волынцевымъ... Я до сихъ поръ вѣрила, каждому вашему слову вѣрила... Впередъ, пожалуйста, взвѣшивайте ваши слова, не произносите ихъ на вѣтеръ... Я нисколько не сомнѣваюсь въ вашей честности: вы не въ состояніи дѣйствовать изъ расчета; но развѣ я въ этомъ желала убѣдиться... Вы не ожидали всего этого,—вы меня не знали... вы не любите меня... „Ваша матушка не согласна... это ужасно!"— вотъ все, что я слышала отъ васъ. Вы ли это, вы ли это, Рудинъ?! Нѣтъ, прощайте!.."

И невольно опять вспоминаются слова Лежнева: „И надобно же, чтобы этакая честная, страстная и горячая

натура наткнулась на такого актера, на такую кокетку". Да, Рудину нуженъ былъ очень сильный толчокъ, чтобы онъ хотя нѣсколько опомнился отъ своего актерства,—и этимъ толчкомъ было его послѣднее свиданіе съ Наташей: оно отрезвило Рудина, заставило прійти въ себя, оглянуться на то, что онъ дѣлаетъ, хотя на нѣкоторое время понять, что онъ такое въ дѣйствительности, и поскорбѣть надъ этимъ. Прощальное письмо его къ Наташѣ въ высшей степени важно въ этомъ отношеніи: въ немъ Рудинъ какъ бы дорисовываетъ самъ себя. Онъ между прочимъ пишетъ: „Встрѣтясь съ вами, я въ первый разъ встрѣтился съ душой совершенно честной и прямой. Мнѣ это было не въ привычку, и я не сумѣлъ оцѣнить васъ... я не узналъ васъ; я едва ли даже старался узнать васъ... и я могъ вообразить, что полюбилъ васъ!! За этотъ грѣхъ я теперь наказанъ... Какъ доказать вамъ, что я могъ бы полюбить васъ настоящей любовью—любовью сердца, не воображенья,—когда я самъ не знаю, способенъ ли я на такую любовь!.. Природа мнѣ много дала; но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ... Странная, почти комическая судьба моя: я отдаюсь весь, съ жадностью, вполнѣ,—и не могу отдаться... Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ... Я остаюсь одинокъ на землѣ,—для того, чтобы предаться,—какъ вы сказали мнѣ сегодня съ жестокой усмѣшкой,—другимъ, болѣе свойственнымъ мнѣ занятіямъ. Увы! если бы я могъ, дѣйствительно, предаться этимъ занятіямъ, побѣдить свою лѣнь... Но нѣтъ! я останусь тѣмъ же неоконченнымъ существомъ, какимъ былъ до сихъ поръ... Первое препятствіе,—и я весь разсыпался. Если бы я, по крайней мѣрѣ, принесъ мою любовь въ жертву моему будущему дѣлу, моему призванію, но я, просто, испугался отвѣтственности, которая на меня падала"... Послѣ всего этого Рудину не оставалось, ко-

нечно, ничего болѣе, какъ покинуть ораторскую трибуну у Ласунской, что онъ и сдѣлалъ.

Какъ же, однако, смотрѣть на Рудина во всей этой грустной исторіи съ Наташей?

Хотя Наташа съ горечью разочарованія и восклицаетъ: „Вы ли это, вы ли это, Рудинъ?!“ мы съ своей стороны скажемъ ему: „Дмитрій Николаевичъ! вы остаетесь вѣрны самому себѣ вездѣ и во всемъ: вы и въ этой, дѣйствительно грустной, тяжелой для разочаровавшейся въ васъ дѣвушки исторіи тотъ же самый Рудинъ, какимъ мы васъ видѣли еще подъ маменькинымъ крылышкомъ въ деревнѣ, затѣмъ въ университетскихъ кружкахъ, наконецъ,—въ гостиной Лясунской. Какъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, такъ и теперь вы привычно увлекались вашею ролью божка, на котораго къ тому же молилось и которому готово было пожертвовать собою такое, дѣйствительно, милое, чистое существо, какъ Наташа. Все болѣе и болѣе усиливавшееся въ ней чувство къ вамъ, ея горячій, сердечный откликъ на ваши увлекательныя рѣчи только еще больше сгущали вокругъ васъ привычную для васъ атмосферу самоуслажденія,—и вы, именно какъ вашъ ближайшій въ этомъ отношеніи родственникъ—Ив. Ал. Хлестаковъ, говорили и говорили, пѣли и пѣли, не взвѣшивая своихъ словъ, сами увлекаясь, а главное — гибельно увлекая такъ наивно довѣрившееся вамъ молодое существо. И вы бы, опять-таки подобно Хлестакову, желавшему „преданности и уваженія, уваженія и преданности“, — такъ бы и не желали ничего другого, какъ только того, чтобы вы ораторствовали и пѣли „чудныя пѣсни“, а васъ бы слушали, обожали и любили, любили безъ оглядки, въ самозабвеніи принося вамъ въ жертву все, рѣшительно все, и ничего не требуя отъ васъ, кромѣ горячихъ, вдохновенныхъ рѣчей и „ласки безъ конца“... Да, вы тотъ же самый Рудинъ, безъ почвы, безъ опре-

дѣленныхъ плановъ, тотъ же самый, собственно незлобивый, никому не желающій зла, добродушный, даже, пожалуй, наивный баринъ-болтунъ, который „не вѣдаетъ", что болтаетъ и что дѣлаетъ. Вы правы, говоря, что вы „отдаетесь весь, съ жадностью, вполнѣ, — и все-таки не можете отдаться",—и это, конечно, потому, что вамъ нечему отдаться: вы, вѣдь, только ораторствуете, фантазируете, изощряетесь въ горячемъ, увлекательномъ изложеніи великихъ идей, — у васъ, вѣдь, нѣтъ никакого реальнаго дѣла, и вы неспособны найти его, потому что совсѣмъ не знаете реальной дѣйствительности и не имѣете почти никакого къ ней отношенія. Да, вы правы: первое реальное препятствіе,—и вы разсыплетесь,—конечно, потому, что болтать, ораторствовать на возвышенныя темы вовсе не одно и то же, что дѣйствовать, бороться, дѣйствительно жить и проводить въ жизнь, примѣнять къ жизни великія истины добра, чести, самопожертвованія, любви къ человѣчеству... И грустно то, Дм. Никол., что вы положительно неисправимы: вы только на минуты отрезвляетесь, а потомъ опять взбираетесь на подмостки и начинаете упражняться въ сгубившемъ васъ краснорѣчіи. Вѣдь, вы только-что пережили по-истинѣ страшное для васъ свиданіе у Авдюхина пруда; вѣдь, вы только-что отослали дѣйствительно дѣлающее вамъ честь письмо къ Наташѣ,—а стоило вамъ только сѣсть съ Басистовымъ въ отвозившій васъ отъ Ласунскихъ тарантасъ, и вы опять пошли и пошли... и о свободѣ, и о кускѣ хлѣба, ниспосылаемомъ свободному человѣку съ неба, и объ обязанностяхъ передъ человѣчествомъ, — и такъ до самой станціи говорили и говорили, — горячо, благородно, искренно, но, вѣдь, согласитесь же сами, пустозвонно".

Это послѣднее сопоставленіе какъ бы указываетъ намъ, чего мы можемъ ожидать отъ Рудина въ будущемъ:

ничего новаго мы, конечно, ожидать не можемъ,—и собственный разсказъ Рудина о послѣдующихъ событіяхъ его жизни подтверждаетъ намъ это. Попалъ онъ было къ богачу-помѣщику компаньономъ; но, должно быть, зависимость положенія недостаточно искупалась благоговѣніемъ богача-помѣщика къ уму нашего „скитальца",— и Рудинъ покинулъ усадьбу. Не выдержалъ онъ затѣмъ и положенія секретаря у благонамѣреннаго сановника,— вѣроятно, опять-таки потому, что ему не пришлось играть первенствующей роли въ составленіи проектовъ широкихъ государственныхъ преобразованій. Отъ неподдавшагося его руководству сановника Рудинъ перешелъ къ такому же, какъ онъ самъ, фантазеру, захотѣвшему, въ пылу разыгравшагося воображенія, сдѣлать судоходною рѣку, не имѣя на это дѣло никакого капитала. Предпріятіе, конечно, лопнуло, и тогда-то, наученный горькимъ опытомъ, Рудинъ, наконецъ, принялся за дѣло, уже совершенно, повидимому, осуществимое, скромное, — даже, можетъ быть, слишкомъ скромное, на его взглядъ, для его необыкновенныхъ способностей: онъ сдѣлался учителемъ словесности въ провинціальной гимназіи, и его дѣйствительно рѣдкій даръ слова, такимъ образомъ, получилъ, наконецъ, вмѣстѣ съ его свѣдѣніями настоящее жизненное примѣненіе. „Ни за одно дѣло не принимался я съ такимъ жаромъ, какъ за это",—говорилъ Рудинъ: „мысль дѣйствовать на юношество меня воодушевила... Я передавалъ слушателямъ все, что у меня было въ душѣ". И молодежь откликнулась на его горячее, воодушевленное слово и полюбила его. Привязался и Рудинъ къ своимъ ученикамъ, но привязался опять-таки не сердцемъ, а въ воображеніи, какъ то было уже съ Наташей: на это намъ указываетъ тотъ фактъ, что онъ не выдержалъ столкновеній съ гимназическимъ начальствомъ, что самолюбіе не позволяло ему сдѣлать

въ этомъ отношеніи какой-нибудь уступки—ради той самой молодежи, которая крѣпко къ нему привязалась,—и онъ, не обращая вниманія на эту привязанность, покинулъ ни въ чемъ неповинную молодежь, лишивъ ее одушевлявшаго ее учителя... Долгое, тяжелое скитальчество Рудина кончилось тѣмъ, чѣмъ оно и должно было кончиться; онъ самъ провидѣлъ свой конецъ, говоря: „Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду". Вотъ какъ объ этомъ по-истинѣ трагическомъ, но въ то же время,—смѣемъ прибавить,—комическомъ концѣ разсказываетъ намъ самъ авторъ: „Въ знойный полдень 26-го іюля 1848 года въ Парижѣ, когда уже возстаніе „національныхъ мастерскихъ" было почти подавлено, въ одномъ изъ тѣсныхъ переулковъ предмѣстья Св. Антонія баталіонъ линейнаго войска бралъ баррикаду. Нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ уже разбили ее; ея защитники, оставшіеся въ живыхъ, ее покидали и только думали о собственномъ спасеніи, какъ вдругъ на самой ея вершинѣ, на продавленномъ кузовѣ поваленнаго омнибуса, появился высокій человѣкъ въ старомъ сюртукѣ, подпоясанномъ краснымъ шарфомъ, и въ соломенной шляпѣ на сѣдыхъ растрепанныхъ волосахъ. Въ одной рукѣ онъ держалъ красное знамя, въ другой—кривую и тупую саблю, и кричалъ что-то напряженнымъ, тонкимъ голосомъ, карабкаясь кверху и помахивая и знаменемъ, и саблею. Венсенскій стрѣлокъ прицѣлился въ него — выстрѣлилъ... Высокій человѣкъ выронилъ знамя и, какъ мѣшокъ, повалился лицомъ внизъ, точно въ ноги кому-то поклонился... Пуля прошла ему сквозь самое сердце... Tiens! сказалъ одинъ изъ убѣжавшихъ инсургентовъ другому: on vient de tuer le Polonais. Этотъ „Polonais" былъ Дмитрій Рудинъ".

И трагично, и,—не въ обиду будь сказано погибшему,—комично. На этой Сентъ-Антуанской баррикадѣ какъ нельзя

нагляднѣе оправдались пророческія слова самого Рудина: онъ дѣйствительно „пожертвовалъ собою за вздоръ, въ который даже и не вѣрилъ“,—и въ этомъ именно комичность его трагическаго конца. Подумаемъ хотя бы о томъ, какое могъ имѣть Рудинъ отношеніе къ французскимъ національнымъ мастерскимъ,—могъ ли онъ близко знать ихъ интересы и задачи,—могъ ли онъ быть настолько связанъ съ ними, чтобы пожертвовать для нихъ своею жизнью. Далѣе: если даже допустимъ, что Рудину были близки истинные интересы французскихъ рабочихъ, —хотя это очень сомнительно, потому что, какъ мы уже хорошо знаемъ, Рудинъ вообще былъ неспособенъ изучать дѣйствительность и судилъ вообще о всемъ, а также, стало-быть, и о рабочемъ вопросѣ, по отвлеченнымъ теоріямъ, вычитаннымъ изъ книжекъ,—положимъ, однако, что онъ зналъ жизнь и нужды этихъ рабочихъ,—но какой же былъ смыслъ бросаться одному на баррикаду, когда всѣ давно уже покинули ее,—очевидно, не изъ трусости, а просто потому, что нелѣпо двумъ-тремъ итти противъ хорошо вооруженныхъ сотенъ и, прежде чѣмъ жертвовать жизнью, естественно сначала испробовать какое-нибудь другое средство для борьбы. Относительно Рудина въ данномъ случаѣ можно сказать: онъ это сдѣлалъ въ порывѣ благороднаго увлеченія своею ролью защитника угнетенныхъ. Да, да, именно въ этомъ-то все и дѣло. И на Сентъ-Антуанской баррикадѣ Рудинъ остался все тѣмъ же Дм. Рудинымъ: онъ дѣйствовалъ честно, благородно, безъ всякаго расчета на какія-нибудь выгоды,—но дѣйствовалъ, такъ сказать, безпочвенно, подъ вліяніемъ одного только увлеченія отвлеченной идеей, а также и подъ вліяніемъ многими годами наболѣвшаго на душѣ сознанія непригодности своей для настоящей жизни; въ послѣднія, трагическія минуты своей жизни онъ является опять-таки жертвой своего

воображенія, не опирающагося ни на какіе реальные факты, вытекающіе изъ наблюденія и изученія окружающей дѣйствительности. И въ ту минуту, когда этотъ несчастный „Polonais“ трагикомично потрясалъ на баррикадѣ краснымъ знаменемъ и тупой саблей,—его собственная, настоящая родина, Россія, ея темный, изнывающій подъ игомъ крѣпостническаго рабства простой крестьянскій людъ,—да и не онъ одинъ, а вся, именно вся, особенно въ то-то время, небогатая настоящими людьми родина обращала къ нему съ упрекомъ свои взоры и какъ бы говорила ему: „Что ты дѣлаешь? что же ты у своего, родного, кровнаго, да еще бѣдняка, брата отнимаешь рѣдкій кусокъ хлѣба?! Опомнись, оглянись, посмотри, какъ твой кровный, родной братъ нуждается въ тебѣ! Что же ты идешь помогать другимъ, когда у тебя дома почти некому подать, какъ слѣдуетъ, руку помощи окутанному безпроглядным мракомъ невѣжества, отягченному игомъ рабства, но безспорно скрывающему въ своей изстрадавшейся груди безцѣнныя сокровища народу?!“ Но Рудинъ не слышитъ этихъ призывовъ,—да онъ и не могъ ихъ услышать, а главное—понять...

Мы проследили шагъ за шагомъ всю жизнь этого несчастнаго русскаго скитальца „сороковыхъ годовъ“. Что же такое въ концѣ концовъ Рудинъ? въ чемъ заключается его общественно-историческое значеніе? что хотѣлъ сказать намъ авторъ своимъ романомъ?

Съ отрицательными сторонами въ характерѣ Рудина мы уже достаточно познакомились на самой его жизни, и, должны сознаться, общее впечатлѣніе получается довольно-таки грустное. Будемъ же вполнѣ безпристрастны и скажемъ теперь, что въ немъ есть хорошаго,—а хорошее, несомнѣнно, есть, потому что, не смотря на всѣ свои недостатки, Рудинъ все-таки влечетъ насъ къ себѣ, и мы даже, пожалуй, готовы плакать надъ его даромъ за-

губленной жизнью. Устами Лежнева самъ авторъ какъ бы выступаетъ на защиту своего героя. Въ отвѣтъ на рѣзкую характеристику Рудина, сдѣланную Пигасовымъ, Лежневъ между прочимъ говоритъ: „Въ Рудинѣ есть энтузіазмъ, а это самое драгоцѣнное качество въ наше время. Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы, мы заснули, мы застыли,—и спасибо тому, кто хоть на мигъ расшевелитъ и согрѣетъ. Рудинъ —не актеръ, не надувало, не плутъ; онъ живетъ на чужой счетъ не какъ пройыра, а какъ ребенокъ; онъ состоянія себѣ не составитъ. Онъ не сдѣлаетъ самъ ничего именно потому, что въ немъ натуры, крови нѣтъ; но кто въ правѣ сказать, что онъ не принесетъ, не принесъ уже пользы? что его слова не заронили много добрыхъ сѣмянъ въ молодыя души, которымъ природа не отказала, какъ ему, въ силѣ дѣятельности, въ умѣніи исполнять собственные замыслы?“ „Рудинъ сумѣетъ не только потрясти тебя,—онъ съ мѣста тебя сдвинетъ, онъ не дастъ тебѣ остановиться, онъ до основанія перевернетъ, зажжетъ тебя“,—съ своей стороны какъ бы подтверждаетъ Басисловъ. Прибавимъ къ этому собственный взглядъ Рудина на причины его неудавшейся жизни. Въ послѣднее свое случайное свиданіе съ Лежневымъ въ гостиницѣ губернскаго города Рудинъ между прочимъ говоритъ: „Маялся я много, скитался не однимъ тѣломъ, душой скитался... Сколько разъ мои собственныя слова становились мнѣ противными,—не говорю уже въ моихъ устахъ, но и въ устахъ людей, раздѣлявшихъ мои мнѣнія. Я переспыталъ и переизвѣдалъ многое... Начиналъ я жить, принимался за новое разъ двадцать и... Строить я никогда ничего не умѣлъ; да и мудрено строить, когда и почвы-то подъ ногами нѣту, когда самому приходится собственный свой фундаментъ создавать... Планы у меня бывали громадные: я мечталъ о разныхъ усовершенство-

ваніяхъ, нововведеніяхъ, но... строить-то ничего не умѣлъ, хотя свѣдѣній у меня довольно, желанія добра того не меньше... Да, я могу сказать вмѣстѣ съ Кольцовымъ: „До чего ты, моя молодость, довела меня, домыкала, что ужъ шагу ступить некуда...“ И, между тѣмъ, неужели я ни на что не былъ годенъ, неужели для меня такъ-таки нѣтъ дѣла на землѣ? Вѣдь чувствовалъ же я въ себѣ присутствіе силъ, не всѣмъ людямъ данныхъ! Отчего же эти силы остаются бесплодными?.. Я хочу малаго, хочу достигнуть цѣли близкой—принести хотя ничтожную пользу... Нѣтъ, не удается!.. И я скажу, отчего это: слова, все слова! дѣлъ не было!.. Фраза меня сгубила, она заѣла меня, я до конца не могъ отъ нея отдѣлаться“...

И намъ жаль Рудина,—глубоко, сердечно жаль. Это человѣкъ, отъ природы, дѣйствительно, обладающій такими силами, какія не всѣмъ людямъ даются; у него умъ глубокій, философскій, широкообъемлющій; къ тому же —превосходная память и рѣдкій даръ слова. Рудинъ— натура горячая, глубокая, воспріимчивая, въ высшей степени отзывчивая; если онъ чѣмъ увлекается, то увлекается всѣмъ своимъ существомъ,—онъ обо всемъ забываетъ, кромѣ того, что занимаетъ его умъ, волнуетъ его сердце,—онъ весь переполняется тѣми идеями, которыя овладѣли его умомъ, возбудили работу мысли и воображенія,—и онъ отдается съ жаромъ, искренно вѣритъ въ то, что говоритъ, искренно убѣжденъ въ томъ, что въ данную минуту его вдохновляетъ. Рудинъ не только самъ искренно, горячо увлекается,—онъ обладаетъ рѣдкою способностью дѣйствительно увлекать за собою всѣхъ окружающихъ: его горячее, искреннее, вдохновенное слово проникаетъ въ самую душу, именно „потрясаетъ“,—какъ выражается Басистовъ,—„до основанія переворачиваетъ, зажигаетъ“. Къ тому же, онъ человѣкъ образованный,

безспорно обладаетъ многими свѣдѣніями, много читалъ много думалъ, много разсуждалъ,—наконецъ, многое слышалъ и видѣлъ. Въ его вдохновенной рѣчи звучатъ великія истины добра, чести, долга,—онъ говоритъ о томъ, что „придаетъ вѣчное значеніе временной жизни человѣка",—и не только говоритъ, но, въ извѣстной степени, даже стремится осуществить свои идеи въ жизни, жаждетъ принести хотя небольшую пользу и для этого составляетъ планы, проекты, съ жаромъ иной разъ принимается за самое дѣло, но каждый разъ,—малѣйшее препятствіе, и весь планъ разсыпается, энергія ослабѣваетъ, и все дѣло лопается подобно мыльному пузырю. А все оттого, что Рудинъ „никогда ничего не умѣлъ строить"; строить же не умѣлъ потому, что у него никакой почвы подъ ногами не было,—и это наиболѣе существенная черта въ типѣ Рудина: „безпочвенность"—вотъ разгадка того, почему у Рудина отъ слова такъ далеко было до настоящаго дѣла—„слова, все слова! дѣлъ не было!" Безпочвенность же Рудина заключалась главнымъ образомъ въ томъ, что онъ не зналъ окружающей его дѣйствительной жизни, не зналъ ея насущныхъ нуждъ и запросовъ, не умѣлъ, никогда не учился, совершенно не привыкъ всматриваться въ жизнь, изучать ее: во-первыхъ, съ самаго дѣтства его всячески отстраняли отъ столкновенія съ жизнью, оберегая его личный покой; во-вторыхъ, образованіе, которое онъ получилъ, отличаясь излишней отвлеченностью знаній, еще болѣе удалило его отъ дѣйствительной жизни, сосредоточивъ его умъ и энергію на анализѣ и отвлеченной разработкѣ высшихъ вопросовъ нравственности и соціальныхъ отношеній. Рядомъ съ этимъ,—барское воспитаніе совершенно не пріучило Рудина къ труду постепенному, упорному, неторопливому, усидчивому: онъ слишкомъ привыкъ получать все скоро, безъ труда, готовымъ. Къ этому нужно прибавить, что именно благо-

даря тому же барскому воспитанію, въ Рудинѣ въ крайней степени развито было самолюбіе: съ дѣтства онъ привыкъ быть божкомъ,—эта привычка укрѣплялась въ немъ, какъ мы видѣли, и въ университетскіе годы,—и поэтому Рудинъ былъ слишкомъ чутокъ ко всему, что въ той или другой степени затрагивало его самолюбіе. Вслѣдствіе всего этого у него не было выдержки, необходимой во всякомъ дѣлѣ: онъ горячо, съ жаромъ хватался за дѣло, ставилъ себѣ широкія, возвышенныя задачи, развивалъ на словахъ величественные планы, увлекался ими самъ, увлекалъ другихъ, но, принявшись за самое осуществленіе своихъ задачъ, онъ вскорѣ терялся, потому что не умѣлъ считаться съ реальной дѣйствительностью, не могъ справляться съ препятствіями, особенно съ такими, которыя такъ или иначе оскорбляли въ немъ самолюбіе.

Рудинъ—это испорченный воспитаніемъ и неправильно, односторонне развитой образованіемъ, способный, самъ по себѣ съ очень хорошими задатками души и сердца русскій баричъ, который вслѣдствіе своей безпочвенности не находитъ себѣ мѣста и дѣла и осужденъ на вѣчное скитальчество и страданіе отъ сознанія своей непригодности ни въ чемъ и нигдѣ.

Рудинъ—типъ отрицательный, и его общественно-историческое значеніе очень велико: онъ основной типъ, можно сказать, для нѣсколькихъ поколѣній. Рудинъ совмѣщаетъ въ себѣ очень многія черты своихъ предшественниковъ, а также многія характерныя особенности своихъ преемниковъ; въ немъ воплотилось именно нѣчто какъ бы непреходящее, одно изъ наиболѣе характерныхъ свойствъ русскаго культурнаго чаловѣка. Его связь съ Онѣгинымъ, Чацкимъ и Печоринымъ несомнѣнна; многое роднитъ его съ ними и прежде всего та общественная среда, которая всѣхъ ихъ воспитала и на всю жизнь наложила на нихъ

неизгладимый отпечатокъ, отъ котораго всѣ они страдаютъ: всѣ четверо они баричи, питомцы крѣпостничества, вскормленные на готовыхъ хлѣбахъ, выхоженные и выхоленные готовымъ, даровымъ крестьянскимъ трудомъ, избалованные, изнѣженные, привыкшіе относиться къ жизни безъ заботъ, безъ всякаго интереса къ ея дѣйствительнымъ нуждамъ, сложившіеся и окончательно развившіеся въ сторонѣ отъ настоящей, реальной повседневной жизни,— какъ бы въ особой теплицѣ, которая, въ лучшемъ случаѣ, напоена высокими отвлеченными идеями, философскими отвлеченными истинами.

Съ Онѣгинымъ Рудина въ особенности сближаетъ именно это барское воспитаніе: по отношенію къ нему воспитатели также заботились главнымъ образомъ о томъ, чтобы «не измучилось дитя», чтобы «учить всему шутя»; самоотверженно любившая его мать, видимо, мечтала сдѣлать изъ своего Мити настоящаго барича, и только не зависѣвшія отъ нея обстоятельства дали нѣсколько другое направленіе и характеру, и жизни ея любимца. Съ Печоринымъ въ особенности сближаетъ Рудина развитое опять-таки подъ вліяніемъ барскаго воспитанія самолюбіе, тонкое, эгоистическое, обидчивое; оба они привыкли себя видѣть не иначе, какъ въ центрѣ среди другихъ, окруженными всеобщимъ вниманіемъ, удивленіемъ и поклоненіемъ; оба они искренно увлекаются этимъ своимъ положеніемъ и, такъ сказать, на поддержаніе его тратятъ свои силы и способности, мало думая о другихъ и о чемъ-нибудь другомъ. Кромѣ того, въ Рудинѣ также, какъ и въ Печоринѣ, мы замѣчаемъ склонность къ анализу, къ разсужденію: «Ты чихнешь», —говоритъ про него Пигасовъ,—«онъ тебѣ сейчасъ станетъ доказывать, почему ты именно чихнулъ, а не кашлянулъ»... Съ Чацкимъ сближаетъ Рудина образованіе, —образованіе высшее, университетское, заграничное,—

и мы, несомнѣнно, чувствовали бы еще болѣе близости между этими двумя типами, если бы Грибоѣдовъ былъ болѣе объективенъ въ созданіи своего Чацкаго. Мы видѣли, что Чацкій. по крайней мѣрѣ на половину, замѣняетъ собою самого автора,—и въ этомъ отношеніи Рудинъ несравненно жизненнѣе Чацкаго: онъ, дѣйствительно, живое, типическое лицо,—живой, типическій представитель своего поколѣнія. Также, какъ и Чацкій, онъ глубоко проникнутъ возвышенными взглядами, вдохновленъ ими, горячо говоритъ о нихъ, отстаиваетъ ихъ преимущества. Про нихъ обоихъ одинаково можно сказать, что они своимъ энтузіазмомъ пробуждаютъ насъ отъ равнодушія и апатіи, согрѣваютъ своимъ горячимъ словомъ, сѣютъ въ наши сердца добрыя сѣмена, своимъ горячимъ воодушевленіемъ подвигаютъ насъ на служеніе добру, истинѣ, родинѣ, человѣчеству.

Таковы общія нити, которыя связываютъ Рудина со старшимъ поколѣніемъ „лишнихъ людей"; но въ немъ есть и такія черты, которыми онъ, такъ сказать, оставляетъ Онѣгиныхъ и Печориныхъ позади себя и, не смотря на свои крупные недостатки, не смотря на свое близкое родство съ тѣми же самыми Печориными,—свидѣтельствуетъ намъ объ общественномъ ростѣ,—хотя о слабомъ, а все-таки замѣтномъ поступательномъ движеніи въ развитіи нашего общества.

Опять-таки сравнивая Рудина съ Онѣгинымъ и Печоринымъ, мы должны сказать, что въ немъ мы все-таки нѣсколько меньше видимъ барства,—особенно въ его стремленіяхъ, образѣ жизни, интересахъ: его жизнь, во всякомъ случаѣ, гораздо осмысленнѣе, нежели у Онѣгина и Печорина; его интересы и стремленія выше; его дѣятельность нѣсколько опредѣленнѣе и разумнѣе; наконецъ, онъ глубже, сознательнѣе проникнутъ лучшими взглядами на жизнь, горячѣе вдохновленъ ими, несравненно

ближе къ осуществленію ихъ въ самой жизни. Вѣдь, положимъ, хотя и двухмѣсячное гощеніе у Ласунской все-таки далеко не то, что Онѣгинская разсѣянная жизнь въ Петербургѣ и Печоринскія похожденія среди „минеральнаго" общества; объ Рудинѣ можно сказать даже, что онъ почти далекъ отъ настоящей пустой, свѣтской суетоки, отъ того прожиганія жизни, въ которомъ такіе знатоки своего дѣла Онѣгинъ и Печоринъ. Мы видѣли, въ чемъ главнымъ образомъ проходила жизнь Рудина, слышали объ этомъ отъ него самого въ то время, когда онъ разсказывалъ о своемъ скитальчествѣ Лежневу. Жизнь Рудина, при всѣхъ его барскихъ привычкахъ, при всѣхъ его слабостяхъ и недостаткахъ, наполняется все-таки несравненно болѣе разумнымъ: правда, онъ только говоритъ,—но мы уже знаемъ, о чемъ онъ говоритъ, и какъ это отражается на окружающихъ, и, конечно, его даже и „краснобайство" все-таки несравненно выше, нежели Печоринскія прогулки по Кавказскимъ ущельямъ и по Черному морю. Далѣе, то, что въ Онѣгинѣ было лишь, такъ сказать, въ зародышѣ и не выдерживало столкновенія съ привычками пустой, свѣтской жизни,—мы говоримъ объ интересѣ къ наукѣ, литературѣ, къ серьезнымъ вопросамъ жизни,—то, что въ Печоринѣ было скорѣе лишь предметомъ самомнѣнія, нежели стремленія примѣнить къ дѣлу, провести въ жизнь,—то у Рудина является въ извѣстной степени предметомъ серьезнаго изученія, хотя и односторонне-отвлеченнаго, глубже захватываетъ его душу и сердце, составляетъ собою главный матеріалъ для работы ума, скажемъ даже,—наполняетъ собою его жизнь. Наконецъ, то, что у Онѣгина выражалось въ слабыхъ отдаленныхъ порывахъ, вродѣ его попытокъ улучшить бытъ своихъ крестьянъ,—что, далѣе,—у Печорина переходило въ злобныя, гибельныя для окружающихъ затѣи и продѣлки, въ которыхъ онъ

искалъ хотя нѣкотораго удовлетворенія своей жаждѣ дѣятельности и какъ бы хотѣлъ ими отмстить за свою неудовлетворенность,—то у Рудина является въ болѣе разумномъ, въ болѣе сознательномъ, глубокомъ и серьезномъ стремленіи къ настоящей дѣятельности, и не его вина, что онъ плохо умѣлъ строить, что у него не было настоящей почвы подъ ногами.

Рудинъ ближе къ намъ и для насъ; мы его лучше понимаемъ; въ немъ есть родственное намъ; мы сами, если захотимъ быть совершенно искренними, если не вслухъ, то самимъ себѣ должны будемъ сознаться, что и въ насъ самихъ, не смотря на то, что цѣлые полвѣка отдѣляетъ насъ отъ Рудина,—есть не мало Рудинскаго. Даже лучшіе изъ насъ и до сихъ поръ еще не могутъ похвалиться настоящимъ знаніемъ окружающей жизни и скорѣе склонны изучать всевозможные вопросы по книжкамъ и отвлеченно разсуждать о нихъ, нежели дѣйствовать,—и дѣйствовать, конечно, съ пользой, для чего безусловно необходимо знать жизнь, быть близкимъ къ ней, понимать ея истинныя нужды и запросы. У насъ тоже нерѣдко настоящей-то почвы подъ ногами нѣтъ, и мы далеко еще не свободны отъ того, чтобы умно поговорить, посудить и порядить, предлагать хитроумные совѣты и проекты, разбирать и критиковать, вмѣсто того, чтобы дѣлать.

Своимъ „Рудинымъ“ нашъ поэтъ какъ бы говоритъ намъ: образованіе—великое достоинство въ человѣкѣ; оно облагораживаетъ, возвышаетъ человѣка, расширяетъ его умственный кругозоръ, вводитъ его въ кругъ высшихъ сравнительно съ обыкновенными житейскими интересами идей, дѣлаетъ его носителемъ и провозвѣстникомъ истины, свѣта, является въ его рукахъ могущественнымъ средствомъ для дѣятельной борьбы на пользу человѣчества, но лишь при томъ непремѣнномъ условіи, чтобы чело-

вѣкъ съ дѣтства привыкалъ всматриваться въ жизнь, ближе знакомился бы съ нею, изучалъ бы ее, старался бы уяснить себѣ взаимное отношеніе между дѣйствительной жизнью, ея нуждами, и тѣми истинами, тѣми знаніями, которыя сообщаются ему образованіемъ,—пріучалъ бы себя къ серьезному, упорному, терпѣливому труду, подготавливалъ бы себя разумно къ настоящей жизненной дѣятельности. И только въ этомъ случаѣ человѣкъ будетъ знать, гдѣ его мѣсто, куда ему итти, за что и какъ взяться, только въ этомъ случаѣ его силы и знанія найдутъ себѣ практическое полезное примѣненіе, а это въ свою очередь доставитъ самому человѣку нравственное удовлетвореніе, и человѣкъ не будетъ чувствовать себя лишнимъ, никому ненужнымъ скитальцемъ, какъ это случилось съ Рудинымъ.

И тѣмъ болѣе намъ жаль нашего „лишняго человѣка", нашего измученнаго жизненными неудачами скитальца, что въ его лицѣ гибло хорошее, доброе, честное сердце, гибли безспорно выдающіяся силы, которыя не многимъ изъ насъ даются, гибла рѣдкая способность искренно, глубоко, горячо отзываться на все высокое и прекрасное, которой многіе изъ людей могутъ позавидовать. Мы отрицательно отнеслись къ Рудинымъ, мы рѣзко отмѣтили ихъ безпочвенность, безплодное краснобайство, непригодность ни для какого серьезнаго дѣла,—но у насъ все-таки рука не поднимется бросить въ нихъ камнемъ. Рудины все-таки влекутъ насъ къ себѣ своимъ горячимъ, искреннимъ, чистымъ отъ всякихъ расчетовъ увлеченіемъ; подобно Чацкому, они отвлекаютъ насъ отъ низменныхъ житейскихъ заботъ и желаній и невольно заставляютъ заволноваться чѣмъ-нибудь болѣе возвышеннымъ; въ нихъ мы чувствуемъ молодое, горячее стремленіе къ добру, къ вѣчной правдѣ, къ справедливости; заражаясь ихъ увлеченіемъ, мы сами,—какъ справедливо говоритъ Леж-

невъ,—съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ,—чувствуемъ себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому; подъ вліяніемъ Рудиныхъ мы переживаемъ однѣ изъ лучшихъ минутъ нашей жизни, мы воспринимаемъ въ себя добрыя сѣмена ихъ краснорѣчія, которыя позднѣе,—можетъ быть, незамѣтно для насъ самихъ,—дадутъ въ нашей дѣятельности добрые плоды.

Присоединимся же къ тосту, который провозглашаетъ Лежневъ въ честь Рудиныхъ,—привѣтствуемъ въ ихъ лицѣ молодость, ея надежды, ея стремленія, ея довѣрчивость и честность, все то, отъ чего и въ двадцать лѣтъ бились наши сердца, и лучше чего мы все-таки ничего не узнали и едва-ли узнаемъ въ жизни...

ТРЕТЬЕ ЧТЕНІЕ.

„Дворянское гнѣздо“ и „Наканунѣ“—Тургенева.

Уже самымъ заглавіемъ своего романа—„Дворянское гнѣздо“—писатель указываетъ намъ на то, что онъ намѣренъ ввести насъ въ сферу тѣхъ домашнихъ, интимныхъ, обыденныхъ жизненныхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ слагаются изображаемые имъ общественные типы. Главный интересъ въ этомъ отношеніи представляетъ собою, конечно, семья Лаврецкихъ, хотя и Калитинское „гнѣздо“ тоже заключаетъ въ себѣ не мало характерныхъ чертъ, дополняющихъ собою общую картину. Цѣлый рядъ въ высшей степени важныхъ и любопытныхъ вопросовъ возбуждаетъ собою эта мастерски нарисованная картина; мы же остановимся главнымъ образомъ на тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ ближайшее отношеніе къ нашей задачѣ: во-первыхъ, мы отмѣтимъ наиболѣе существенныя стороны нашихъ прежнихъ дворянскихъ „гнѣздъ“; во-вторыхъ, прослѣдимъ судьбу Лаврецкаго и постараемся уяснить себѣ, что связываетъ его съ Рудинымъ, и какія черты въ его личности указываютъ намъ на дальнѣйшій шагъ въ развитіи нашего общества.

Сжатой, но вмѣстѣ съ тѣмъ выразительной характеристикой предковъ Лаврецкаго нашъ писатель прибавляетъ еще нѣсколько характерныхъ штриховъ къ той

картинѣ помѣщичьихъ нравовъ эпохи крѣпостного права, которую онъ развернулъ передъ нами въ своихъ „Запискахъ охотника". Въ этомъ отношеніи дѣйствительно особенно любопытны предки Лаврецкаго.

„Замѣчательнѣе всѣхъ", — говоритъ авторъ, — „былъ родной прадѣдъ, человѣкъ жестокій, дерзкій, умный и лукавый. До нынѣшняго дня не умолкла молва объ его самоуправствѣ, о бѣшеномъ его правѣ, безумной щедрости и алчности неутолимой".—„Мой прадѣдъ мужиковъ за ребра вѣшалъ",—говоритъ про него Ѳедоръ Лаврецкій. „Безумное самоуправство" прадѣда указываетъ намъ, конечно, на полнѣйшую безправность его крѣпостныхъ, по отношенію къ которымъ онъ, стало быть, имѣлъ „право жизни и смерти". Нечего поэтому удивляться, что его склонности и страсти не знали себѣ ни въ чемъ препятствій и проявлялись со всей своей силой, на полномъ просторѣ безправія своихъ несчастныхъ жертвъ. Только при полной безотвѣтности этихъ жертвъ крѣпостничества возможна та неутолимая алчность, которою отличался прадѣдъ Лаврецкаго,—и она, безъ сомнѣнія, удовлетворялась во всей своей полнотѣ, такъ какъ, вѣдь, нужно же было на что-нибудь быть „безумно щедрымъ",— щедрымъ, конечно, по личному капризу, нежели по сердечной добротѣ.—Родной дѣдъ Лаврецкаго не походилъ на своего отца: это былъ простой степной баринъ, довольно взбалмошный, крикунъ и копотунъ, грубый, но не злой, хлѣбосолъ, и псовый охотникъ. Какъ тараканы, сползались со всѣхъ сторонъ знакомые и незнакомые мелкіе людишки въ его обширныя теплыя и неопрятныя хоромы; все это наѣдалось, чѣмъ попало, но до-сыта, напивалось до-пьяна и тащило вонъ, что могло, прославляя и величая ласковаго хозяина; и хозяинъ, когда былъ въ духѣ, тоже величалъ своихъ гостей—дармоѣдами и прохвостами, а безъ нихъ скучалъ.

Прекраснымъ дополненіемъ къ этой картинѣ служитъ изъ „Записокъ охотника“ слѣдующій разсказъ Однодворца Овсянникова: „Сосѣдъ у насъ въ тѣ поры завелся: самъ любилъ выпить да и людей угощать,—и какъ подопьетъ да скажетъ по-французски: „Се бонъ“, да облизнется,—хоть святыхъ выноси! По всѣмъ сосѣдямъ шлетъ просить пожаловать. Тройки такъ наготовѣ у него и стояли, а не поѣдешь,—тотчасъ самъ нагрянетъ... И такой странный былъ человѣкъ! Въ „тверезомъ“ видѣ не лгалъ; а какъ выпьетъ, и начнетъ разсказывать, что у него въ Питерѣ три дома на Фонтанкѣ: одинъ красный съ одной трубой, другой—желтый съ двумя трубами, а третій—синій безъ трубъ,—и три сына (а онъ и женатъ-то не бывалъ): одинъ въ инфантеріи, другой въ кавалеріи, третій самъ по себѣ... И говоритъ, что въ каждомъ домѣ у него живетъ по сыну,—что къ старшему ѣздятъ адмиралы, ко второму генералы, а къ третьему все англичане! Вотъ и поднимется, и говоритъ: „За здравіе моего старшаго сына: онъ у меня самый почтительный!“—И заплачетъ. И бѣда, коли кто отказываться станетъ. „Застрѣлю!“ говоритъ,—„и хоронить не позволю!“.. А то вскочитъ и закричитъ: „Пляши, народъ Божій, на свою потѣху и мое утѣшеніе!“ Ну, ты и пляши,—хоть умирай, а пляши... Вѣдь, чуть въ гробъ отца моего не вогналъ,—и точно вогналъ бы, да самъ, спасибо, умеръ: съ голубятни въ веселомъ видѣ свалился“.

Таковы „невинныя“ забавы и развлеченія хлѣбосольныхъ обитателей нашихъ прежнихъ дворянскихъ „гнѣздъ“. Всѣ эти грустныя, временами положительно подавляющія картины нравственной разнузданности для насъ важны въ томъ отношеніи, что этими картинами характеризуется та атмосфера, въ которой воспитывалось русское молодое поколѣніе. Не трудно представить себѣ, какое пагубное вліяніе должна была имѣть эта затхлая атмосфера

самоуправства, праздности и нравственной разнузданности на образованіе склонностей, привычекъ и всего нравственнаго облика молодыхъ Лаврецкихъ и Калитиныхъ.

Переходя къ изображенію судьбы Лаврецкаго-отца, авторъ дастъ намъ много новыхъ и при томъ любопытныхъ чертъ, освѣщающихъ нѣсколько съ иной стороны характеръ воспитанія нашей дворянской молодежи. Лаврецкій-отецъ воспитывался у тетки-княжны, которая одѣвала его, какъ куклу, нанимала ему всякаго рода учителей и приставила къ нему гувернера, француза, аббата, ученика Ж. Ж. Руссо, ловкаго и тонкаго проныру,— самый, какъ она выражалась, fin fleur эмиграціи. Тетка напитала своего племянника барскими привычками и причудами: вернувшись послѣ ея смерти домой, онъ возмущалъ отца своими фраками, жабо, привередничаньемъ за столомъ,—тѣмъ, что не выносилъ „людского" запаху, что его разстраивалъ видъ пьяныхъ мужиковъ; гувернеръ набилъ ему голову готовыми, совершенно не продуманными и не прочувствованными выводами Руссо, Вольтера и Дидро со всѣми энциклопедистами, которые,—по удачному выраженію автора,—„сидѣли въ головѣ Ивана Лаврецкаго,—но въ одной только головѣ", потому что „наставникъ удовольствовался только тѣмъ, что влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника всю премудрость 18 вѣка, и онъ такъ и ходилъ, наполненный ею; она пребывала въ немъ, не смѣшавшись съ его кровью, не проникнувъ въ его душу, не сказавшись крѣпкимъ убѣжденіемъ". Яркимъ доказательствомъ этого служитъ между прочимъ его знаменитая женитьба на горничной Маланьѣ: раздраженный нападками отца по поводу своего сближенія съ этой дѣвушкой, Лаврецкій, сказавъ про себя: „Изувѣръ Дидеротъ опять на сценѣ (отецъ все имъ упрекалъ его),—такъ пущу же я его въ дѣло, постойте",—объявилъ отцу, что онъ готовъ жениться на

Маланьѣ; взбѣшенный затѣмъ проклятіями и другими оскорбительными намѣреніями отца, онъ привелъ свое рѣшеніе въ исполненіе и обвѣнчался съ Маланьей. Но только на это и хватило его „волтеріанства“ и „дидеротства“: онъ вскорѣ уѣхалъ въ Петербургъ, а оттуда на дипломатическую службу за границу, оставивъ на жертву своей барской роднѣ несчастную крестьянку-жену свою, съ которой онъ потомъ случайно видѣлся нѣсколько мѣсяцевъ и снова безжалостно оставилъ. Да, Дидеротъ дѣйствительно сидѣлъ только въ головѣ Ивана Лаврецкаго,—и насколько неизмѣримо выше стоитъ его простой степнякъ-крикунъ отецъ, который, кланяясь въ послѣдній разъ въ церкви погибшей отъ тоски и домашняго гнета несчастной Маланьѣ, шепталъ: „Прости-прощай, моя безотвѣтная!“ а, бросая горсть земли въ ея могилу, искренно плакалъ.

Вернувшись по смерти отца изъ-за границы, Иванъ Лаврецкій, вмѣстѣ съ костюмомъ и внѣшними пріемами англичанина, вывезъ изъ Англіи нѣсколько рукописныхъ плановъ, касавшихся до устройства и улучшенія государства, и объявилъ своей сестрѣ, что намѣренъ ввести въ своемъ хозяйствѣ коренныя преобразованія. И „преобразованія“ вскорѣ дѣйствительно появились: прежнихъ ближнихъ сосѣдей-знакомыхъ замѣнилъ дальній сосѣдъ—очень хорошо воспитанный и вмѣстѣ съ тѣмъ очень глупый баронъ; въ домѣ появилась новая мебель; завтракъ стали подавать иначе; „людямъ“ пошили новыя ливреи. и, какъ вѣнецъ всѣхъ реформъ,—къ фамильному гербу прибавилась подпись: „Jn recto virtus“; а рядомъ съ этими „европейскими“ реформами, собственно, все осталось по-старому,—только оброкъ кое-гдѣ прибавился. да барщина стала потяжелѣе, да мужикамъ запретили обращаться прямо къ барину: русскій англоманъ и патріотъ очень ужъ презиралъ своихъ „согражданъ“.

Да и можно ли было ожидать чего-нибудь другого отъ человѣка, который „Россію зналъ плохо, не придерживался ни одной русской привычки и говорилъ-то по-русски какъ-то странно, уснащая свою рѣчь подчасъ изуродованными варваризмами. Эта уже знакомая намъ русская „безпочвенность“ въ соединеніи съ вольнодумными или лучше—пустозвонными разглагольствованіями во вкусѣ Вольтера и Дидерота, вообще западныхъ философовъ и гуманистовъ,—сближаетъ нашего англомана съ Рудинымъ,—и безспорно, «рудинство», конечно нѣсколько особаго оттѣнка, но все-таки рудинство, лежитъ въ характерѣ Ивана Лаврецкаго. Дмитрій Рудинъ, конечно, умнѣе, глубже, начитаннѣе, развитѣе и образованнѣе Лаврецкаго, но они, по меньшей мѣрѣ, двоюродные братья между собою по той безпочвенности и страсти къ пустозвонному разглагольствованію, которыя составляютъ собою наиболѣе характерныя черты «рудинства».

Въ высшей степени любопытно и,—скажемъ болѣе,—поучительно то воспитаніе, которое получилъ Ѳедоръ Лаврецкій подъ руководствомъ своего отца-англомана. Покончивъ съ хозяйственными и домашними «преобразованіями», Лаврецкій объявилъ сестрѣ Глафирѣ, на попеченіи которой чуть не съ пеленокъ и до 12-тилѣтняго возраста былъ Ѳедя,—что онъ самъ теперь будетъ заниматься воспитаніемъ своего сына.—«Я изъ него хочу сдѣлать человѣка прежде всего, un homme»,—сказалъ онъ Глафирѣ Петровнѣ,—«и не только человѣка, но спартанца». Исполненіе своего намѣренія отецъ-воспитатель началъ съ того, что одѣлъ сына по-шотландски: двѣнадцатилѣтній малый сталъ ходить съ обнаженными икрами и съ пѣтушьимъ перомъ на складномъ картузѣ. Къ нему былъ приставленъ молодой швейцарецъ, изучившій гимнастику до совершенства. Музыку, какъ за-

нятіе, недостойное мужчины, изгнали навсегда. Естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло,—по совѣту Руссо,—и геральдика для поддержанья рыцарскихъ чувствъ—вотъ чѣмъ долженъ былъ заниматься будущій «человѣкъ». Его будили въ 4 часа утра, тотчасъ окачивали холодной водой и заставляли бѣгать вокругъ столба на веревкѣ; ѣлъ онъ разъ въ день по одному блюду, ѣздилъ верхомъ, стрѣлялъ изъ арбалета и каждый вечеръ вносилъ въ особую книгу отчетъ прошедшаго дня и свои впечатлѣнія,—а отецъ, съ своей стороны, писалъ ему наставленія по-французски, въ которыхъ онъ называлъ его «mon fils», и говорилъ ему: «vous». По-русски сынъ говорилъ отцу: «ты», но въ его присутствіи не смѣлъ садиться.

Особенно любопытны двѣ черты въ этой англоманской „системѣ" воспитанія: во-первыхъ, закаливаніе натуры, тѣла,—и во-вторыхъ, слѣдованіе воспитательнымъ теоріямъ, вычитаннымъ изъ книжекъ. Едва-ли мы ошибемся, если скажемъ, что въ толпѣ, особенно великосвѣтскихъ дѣтей и до сихъ поръ еще, даже зимой, нерѣдкость встрѣтить такихъ же юныхъ шотландцевъ и шотландокъ съ обнаженными икрами, какимъ былъ Ѳ. Лаврецкій. По-истинѣ: „разсудку вопреки,—наперекоръ стихіямъ",—какъ говоритъ Чацкій,—и до сихъ поръ еще уродуется наша русская, особенно великосвѣтская дѣтвора, которую достопочтенные родители превращаютъ въ какихъ-то куколъ-манекеновъ, щеголяя другъ передъ другомъ стильностью измышленныхъ для несчастныхъ дѣтей-игрушекъ всевозможныхъ иностранныхъ костюмовъ. Тѣсно, неловко, холодно, неудобно несчастному ребенку въ какой-нибудь шотландкѣ или тирольке, но онъ, помня пресловутыя „приличія", до послѣдней крайности выдерживаетъ свою показную роль... Все это, конечно, нисколько не менѣе смѣшно, нежели англоманскія затѣи Лаврецкаго-отца.

Теперь о его педагогическихъ измышленіяхъ во вкусѣ Руссо и Дидерота. Намъ смѣшно, что онъ гонялъ своего сына на кордѣ; намъ смѣшна его „геральдика для поддержанія рыцарскихъ чувствъ",—и смѣшно намъ во всемъ этомъ именно то, что человѣкъ обращается съ ребенкомъ, какъ съ какимъ-то неодушевленнымъ предметомъ; продѣлывая съ нимъ все, что только придетъ въ голову, что онъ видѣлъ гдѣ-нибудь, а главное—вычиталъ въ книжкахъ. Ни особенности,—всего чаще наслѣдственныя,—организма, ни личныя свойства характера, ни условія непосредственно окружающей природы и жизни—ничто не принимается во вниманіе, а на ребенка смотрятъ, какъ на бѣлую доску, на которой можно, что угодно, написать,—какъ на воскъ, изъ котораго, что угодно, можно выдѣлать. И чѣмъ больше въ этомъ случаѣ старанія, ретивости и добросовѣстности, тѣмъ, конечно, хуже, и послѣдствія оказываются гибельнѣе для ребенка. И это справедливо не только по отношенію къ такимъ поверхностно образованнымъ и мало развитымъ людямъ, какимъ былъ Лаврецкій—отецъ, но даже и по отношенію къ болѣе серьезнымъ, болѣе образованнымъ и болѣе развитымъ людямъ изъ среды окружающаго насъ общества. Нерѣдко мы самымъ добросовѣстнымъ образомъ перечитываемъ чуть не цѣлыя педагогическія библіотеки, въ которыхъ собраны всѣ свѣтила педагогическаго искусства,—самымъ строгимъ образомъ выполняемъ всѣ теоретическія указанія, которыя почему-либо особенно обратили на себя наше вниманіе,—не жалѣемъ своихъ силъ, жертвуемъ своимъ покоемъ, глубоко убѣждены въ правотѣ своего дѣла, проникаемся даже уваженіемъ къ самимъ себѣ,—и что же? результаты иногда получаются настолько плачевные, что приходится позавидовать, напр., простому кладбищенскому сторожу, сынишка котораго чуть не Христа ради обучается въ школѣ. И причина

этого, несомнѣнно, заключается въ томъ, что на ребенка смотрятъ, какъ на какой-то сырой, неодушевленный матеріалъ, въ родѣ глины, изъ котораго можно, что угодно, выдѣлать,—забываютъ обо всемъ томъ, что его отличаетъ, какъ одушевленное существо, отъ другихъ,—совершенно отрываютъ его отъ той почвы, съ которой онъ тѣсно связанъ особенностями своего физическаго и духовнаго міра,—наконецъ, вовсе не принимаютъ во вниманіе ту будущность, то дѣйствительное положеніе среди людей, въ настоящей практической жизни, которое, вѣроятно, его ожидаетъ. При подобномъ воспитаніи ребенокъ обыкновенно играетъ совершенно пассивную роль: съ нимъ обращаются, именно, какъ съ сырымъ матеріаломъ; онъ чисто автоматически выполняетъ предъявляемыя ему требованія,—и съ ребенкомъ случается то же, что случилось съ Ѳедоромъ Лаврецкимъ: „Система сбила съ толку мальчика, поселила путаницу въ его головѣ, притиснула ее",—и это послѣднее особенно важно, въ чемъ насъ убѣждаетъ дальнѣйшая судьба Лаврецкаго,—все то, изъ чего сложилась его жизнь.

Изображая судьбу Ѳедора Лаврецкаго, авторъ между прочимъ затрагиваетъ въ высшей степени важный вопросъ о личномъ счастьѣ, о его значеніи и, такъ сказать, должномъ мѣстѣ въ жизни человѣка. По отношенію къ Лаврецкому этотъ вопросъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о его воспитаніи; вотъ почему намъ необходимо добавить нѣкоторыя подробности, именно о первоначальномъ воспитаніи Лаврецкаго подъ руководствомъ тетки Глафиры Петровны, о которой достаточно сказать хотя бы то, что „она взялась проучить выскочку, сыромолотную дворянку Маланью Сергѣевну (—мать Лаврецкаго) и съ перваго же часа сдѣлала ее своей рабой». Ѳедя боялся своей воспитательницы, боялся ея свѣтлыхъ и зоркихъ глазъ, ея рѣзкаго голоса; онъ не смѣлъ пикнуть при ней. Только по

по воскресеньямъ послѣ обѣдни позволяли ему играть, т. е. давали ему таинственную книгу—„Символы и эмблемы", въ которой помѣщалось около тысячи частью весьма загадочныхъ рисунковъ, со столь же загадочными толкованіями на пяти языкахъ: надъ однимъ изъ такихъ рисунковъ, изображающимъ „цаплю, летящую съ фіалковымъ цвѣткомъ во рту", стояла надпись: „Тебѣ всѣ они суть извѣстны". И сидитъ Ѳедя съ своими „Эмблемами" въ углу, предоставленный самому себѣ,—сидитъ, сидитъ, а три старыхъ дѣвы—тетка, шведка-гувернантка да сѣнная дѣвушка—словно Парки, молча и быстро шевелятъ спицами, тѣни отъ рукъ по вечерамъ то бѣгаютъ, то странно дрожатъ въ полутьмѣ,—и странныя, также полутемныя мысли роятся въ головѣ ребенка,—и нѣтъ отвѣта на нихъ, потому что и теперь уже голова ребенка „притиснута" бездумностью, безсмысленной озлобленностью, тупымъ, холоднымъ деспотизмомъ главной воспитательницы. Если Ѳедя не сдѣлался подъ вліяніемъ этой воспитательной обстановки отупѣвшимъ, озлобленнымъ существомъ, то этимъ обязанъ онъ прежде всего врожденнымъ болѣе чѣмъ незаурядным способностямъ, а затѣмъ той добротѣ и чисто женственной мягкости сердца, которую онъ унаслѣдовалъ отъ своей „безотвѣтной" страдалицы-матери. Единственное, что благотворно могло дѣйствовать на ребенка, это болѣе или менѣе значительная, сравнительно съ послѣдующимъ временемъ, возможность присматриваться къ окружающей жизни: наблюдавшія за нимъ Парки сами тѣсно были связаны съ этой жизнью, такъ сказать—„дѣлали ее", а поэтому, стало быть, и не могли мѣшать Ѳедѣ набираться впечатлѣніями той затхлой, крѣпостнической среды, въ которой на его же глазахъ страдала и постепенно угасала его несчастная мать.

Мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ критиковъ, которые придаютъ слишкомъ большое значеніе

„плебейской крови“ Лаврецкаго по матери; этимъ можно, пожалуй, объяснить его безотвѣтность, въ извѣстной мѣрѣ покорность, ну еще развѣ, такъ сказать, неприхотливость его организма. Его же сочувствіе угнетенному положенію народа и въ извѣстной степени пониманіе мрачныхъ сторонъ его быта гораздо правильнѣе будетъ объяснить именно вліяніемъ обстановки его первоначальнаго воспитанія, которая, какъ мы сказали выше, давала Лаврецкому нѣкоторую возможность заполучать правильныя и непосредственныя впечатлѣнія отъ окружающей его дѣйствительности. И есть большая вѣроятность предположить, что какъ швейцарецъ ни старался англоманской системой „притиснуть“ будущаго „человѣка“ и „спартанца“, все-таки Ѳедя Лаврецкій не порывалъ совсѣмъ связи съ дѣйствительной жизнью,—тѣмъ болѣе, что въ руки отца-англомана онъ перешелъ уже двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ.

Чтобы покончить съ характеристикой воспитательной обстановки молодого Лаврецкаго, мы дожны указать еще на слѣдующій весьма важный въ педагогическомъ отношеніи фактъ. Какъ извѣстно, 1825 годъ принесъ съ собой много разочарованія и горя такъ-называемымъ „декабристамъ“ — людямъ, мечтавшимъ о коренныхъ преобразованіяхъ русскаго государства на либеральныхъ началахъ. Лаврецкій-отецъ, дотолѣ либерально ораторствовавшій въ московскихъ гостиныхъ и клубахъ, сразу притихъ, какъ только его близкіе знакомые и пріятели подверглись тяжкимъ испытаніямъ; онъ поспѣшилъ удалиться въ деревню и заперся въ своемъ домѣ. Ѳедѣ шелъ въ это время уже 19 годъ, и вотъ ему пришлось видѣть, какъ его отецъ англоманъ-либералъ, такъ много высказывавшій вольнодумныхъ мыслей, началъ ходить въ церковь и заказывать молебны;—европеецъ сталъ париться въ банѣ, обѣдать въ два часа, ложиться въ де-

вять, засыпать подъ болтовню стараго дворецкаго,—государственный человѣкъ сжегъ свои бумаги, всю переписку, трепеталъ передъ губернаторомъ и егозилъ передъ исправникомъ. Авторъ по этому поводу говоритъ: „Перемѣна, происшедшая въ отцѣ, сильно поразила сына. Онъ и прежде замѣчалъ разладицу между словами и дѣлами отца, между его широкими либеральными теоріями и черствымъ мелкимъ деспотизмомъ; но онъ не ожидалъ такого крутого перелома". Не удивительно послѣ всего этого, что если 13-ти, 14-ти-лѣтняго мальчика „сбивала съ толку" педагогическая система отца, то 19-ти, 20-тилѣтняго юношу долженъ былъ дѣйствительно поразить глубокій разладъ между тѣмъ, что говорилъ отецъ и чѣмъ старался казаться, и тѣмъ, что онъ сталъ теперь дѣлать и чѣмъ въ дѣйствительности оказался: молодой Лаврецкій былъ сбитъ со всѣхъ, если можно такъ выразиться, толковъ, потому что пресловутая „система", въ которую такъ настойчиво заставлялъ его отецъ вѣрить и подчиняться ей, оказалась мыльнымъ пузыремъ, совершенно естественно оставившимъ послѣ себя пустоту и недоумѣніе въ молодой, требовавшей отвѣтовъ душѣ юноши. А что вопросы для этихъ отвѣтовъ возникали, объ этомъ мы можемъ заключить хотя бы изъ того, что когда еще Ѳедя сидѣлъ бывало въ уголку со своими таинственными „Эмблемами" въ родѣ „цапли, летящей съ фіалковымъ цвѣткомъ во рту",—то и тогда еще въ его головѣ уже роились полутемныя мысли.

Эта пытливость ума, эти запросы ума и сердца естественно должны были, хотя и медленно, все-таки развиваться и усложняться по мѣрѣ того, какъ юноша знакомился съ естественными науками и международнымъ правомъ. Вотъ почему мы вполнѣ соглашаемся съ авторомъ, который разсказываетъ, что, «схоронивъ отца, молодой Лаврецкій отправился въ Москву, куда влекло его

темное, но сильное чувство. Онъ сознавалъ недостатки своего воспитанія и вознамѣрился по-возможности воротить упущенное. Въ послѣдніе пять лѣтъ онъ много прочелъ и кое-что увидѣлъ; много мыслей перебродило въ его головѣ. Хотя многимъ могло показаться смѣшнымъ, особенно въ то время, что 23-лѣтній человѣкъ только что надѣваетъ студенческій мундиръ, но Лаврецкій не побоялся насмѣшекъ: его спартанское воспитаніе пригодилось хоть на то, что развило въ немъ пренебреженіе къ чужимъ толкамъ,—и онъ надѣлъ, не смущаясь, студенческій мундиръ, поступивъ на физико-математическое отдѣленіе. Два года посѣщалъ онъ аккуратно лекціи, избѣгая товарищества и сблизившись только съ однимъ студентомъ, нѣкіимъ Михалевичемъ, большимъ энтузіастомъ и крайне увлекающимся малымъ, который совершенно случайно сталъ виновникомъ очень важной перемѣны въ судьбѣ нашего здороваго, краснощекаго, полнаго жизненныхъ силъ, но доселѣ совершенно еще не знавшаго и не испытавшаго самой жизни „спартанца": мы знаемъ, что Михалевичъ влюбилъ Лаврецкаго въ Варвару Павловну Коробьину; можно сказать даже,—женилъ его на ней,—и Лаврецкій вступилъ въ самостоятельную практическую жизнь.

Мы оставимъ пока вопросъ о женитьбѣ Лаврецкаго, и, такъ какъ онъ уже переступилъ порогъ жизни, то представимъ себѣ въ общихъ чертахъ, какимъ онъ совершилъ этотъ важный шагъ, съ чѣмъ онъ явился у этого порога, съ чѣмъ вошелъ онъ въ жизнь, которая передъ нимъ окончательно открылась: это намъ поможетъ правильнѣе разобраться въ его послѣдующихъ жизненныхъ дѣяніяхъ и сдѣлать надлежащіе выводы изъ нихъ.

Вотъ что говоритъ по этому поводу писатель про Лаврецкаго: „При его умѣ, ясномъ и здравомъ, но нѣсколько тяжеломъ, при его наклонности къ упрямству,

созерцанію и лѣни,—ему бы слѣдовало съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искусственномъ уединеніи... Правда, въ послѣднее время онъ много читалъ, кое-что и видѣлъ,—во время трехлѣтнихъ странствованій съ больнымъ отцомъ по всѣмъ россійскимъ докторамъ; пожалуй, любой профессоръ позавидовалъ бы нѣкоторымъ его познаніямъ, но въ то же время онъ не зналъ многаго, что каждому гимназисту давнымъ-давно извѣстно". Особенно же грустно то, что онъ почти до 20 лѣтъ совершенно не зналъ жизни, потому что его держали какъ бы заключеннымъ въ заколдованный кругъ, въ которомъ онъ долгіе годы привыкъ безотчетно подчиняться и смиряться передъ отцовской волей и ея исполнителями. Онъ не зналъ жизни, не зналъ и людей, съ которыми не умѣлъ сходиться; что же касается женщинъ, то отецъ постарался ему, еще 16-лѣтнему юношѣ, уже внушить къ нимъ презрѣніе, и послушный юноша всѣми силами старался казаться по отношенію къ встрѣчавшимся ему женщинамъ равнодушнымъ, холоднымъ и даже грубымъ, хотя молодая, горячая, здоровая натура все настойчивѣе и настойчивѣе заявляла о своихъ правахъ. Но вотъ, со смертью отца, заколдованный кругъ расторгся: молодой Лаврецкій почувствовалъ себя на свободѣ,—и вотъ тутъ-то сказались гибельныя послѣдствія той недоброй шутки, которую сыгралъ со своимъ сыномъ англоманъ-отецъ: молодой „спартанецъ и человѣкъ", не смотря на открывшуюся передъ нимъ свободу и жизнь, продолжалъ стоять на одномъ мѣстѣ и, какъ одинокая ладья безъ кормила и вѣтрилъ, осужденъ былъ на то, чтобы быть безпомощной игрушкой всевозможныхъ жизненныхъ случайностей. Положеніе, дѣйствительно, грустное и невольно заставляющее еще разъ остановиться на вопросѣ о тѣхъ причинахъ, которыми оно вызвано.

Важнѣйшая причина, конечно, заключается въ томъ,

что Ѳедю Лаврецкаго высидѣли и выходили, какъ заморскій цвѣтокъ въ искусственно созданной для него теплицѣ. Если бы даже и теплица была устроена правильно, если бы и садовникъ дѣйствовалъ умѣлыми руками, если бы самый уходъ и высиживанье были правильны,—въ дѣйствительности же этого ничего не было,--то и въ такомъ случаѣ все же этотъ заморскій цвѣтокъ—Ѳедя осужденъ бы былъ на гибель. Вѣдь, не могъ же онъ до конца жизни все прозябать въ своей искусственной теплицѣ: вѣдь, рано или поздно онъ долженъ же былъ вступить въ практическую дѣйствительную жизнь, стать къ ней лицомъ къ лицу, принять въ ней участіе, считаться съ ея національными, общественными, семейными и даже, пожалуй, климатическими особенностями. И, какъ всякая теплица ничего не имѣетъ общаго съ той мѣстной средой, которая живетъ за ея стеклами своею собственною жизнью,—какъ точно и искусственно созданная для Ѳеди Лаврецкаго воспитательная обстановка ничего не имѣла общаго съ той народной, общественной и семейной русской средой, жить и дѣйствовать въ которой онъ былъ призванъ по своему происхожденію. Высадите пальму изъ ея искусственнаго убѣжища на обыкновенную русскую лужайку даже въ южныхъ полосахъ нашего отечества,—и она черезъ нѣкоторое время погибнетъ подъ ударами мѣстной природы, съ особенностями которой она совершенно незнакома и не привыкла съ ними бороться. Намъ будетъ жаль ни въ чемъ неповинное растеніе, и мы будемъ осуждать безразсудность садовника. Ѳедю Лаврецкаго естественно должна была ожидать судьба этой несчастной пальмы,—и именно потому, что онъ, подобно этой пальмѣ, не приготовленъ былъ считаться съ ожидавшей его жизнью, онъ не пріучался видѣть и понимать ее, постепенно уяснять себѣ свою связь съ нею, находить въ ней себѣ мѣсто. И это всегда произойдетъ

въ томъ случаѣ, когда мы будемъ воспитывать человѣка въ искусственномъ отдаленіи отъ ожидающей его жизни. Руководите ребенкомъ, разумно оберегайте его отъ вредныхъ вліяній, съ которыми самъ онъ еще не въ состояніи справиться; примѣняйте къ его воспитанію все, что только выработала наука и философія всего человѣчества, но не забывайте, что вашъ ребенокъ—дитя своей родины, будущій членъ своего общества, въ которомъ онъ долженъ будетъ занять соотвѣтствующее себѣ мѣсто, съ тѣмъ, чтобы жить и дѣйствовать на пользу своихъ ближнихъ и самого себя. Но этого не зналъ и не старался знать Лаврецкаго отецъ, и поэтому со „спартанцемъ и человѣкомъ" случилось то, что и должно было случиться.

Рядъ его жизненныхъ неудачъ начинается, какъ мы знаемъ, женитьбой на Варварѣ Павловнѣ. На первыхъ же страницахъ романа мы находимъ почти полную характеристику этой особы. Марѳа Тимофеевна говоритъ о ней: „Вѣдь, она, говорятъ, и съ артистами, и съ піанистами, и, какъ тамъ по-ихнему, и со львами и со звѣрями знакомство вела... Стыдъ потеряла совершенно". Она побѣдила Лаврецкаго очень легко. „Однажды въ театрѣ Лаврецкій увидѣлъ въ ложѣ бель-этажа дѣвушку. Облокотясь на бархатъ ложи, дѣвушка не шевелилась; чуткая молодая жизнь играла въ каждой чертѣ ея смуглаго, круглаго, миловиднаго лица; изящный умъ сказывался въ прекрасныхъ глазахъ, внимательно и мягко глядѣвшихъ изъ-подъ тонкихъ бровей, въ быстрой усмѣшкѣ выразительныхъ губъ, въ самомъ положеніи ея головы, рукъ, шеи; одѣта она была прелестно... Въ одномъ очень патетическомъ мѣстѣ пьесы она вся наклонилась впередъ, щеки ея пылали; подъ вліяніемъ упорнаго взгляда, устремленнаго на нее Лаврецкимъ, глаза ея, дотолѣ обращенные къ сценѣ, медленно обратились и остановились на немъ... Всю ночь мерещились ему эти глаза, а на другое

же утро онъ обратился къ содѣйствію Михалевича, который былъ давно знакомъ съ семьей этой дѣвушки. Представленный черезъ нѣсколько дней этому семейству, Лаврецкій былъ до оцѣпенѣнія очарованъ неуловимой, вкрадчивой прелестью и мягкой, пока еще стыдливой нѣгой, которой вѣяло отъ всей плѣнительной фигуры, отъ улыбавшихся глазъ, отъ невинно-покатыхъ плечъ и блѣдно-розовыхъ рукъ, отъ легкой и въ то же время какъ бы усталой походки, отъ самаго звука голоса Варвары Павловны". Дальше авторъ разсказываетъ намъ только вотъ что: „Съ того дня онъ часто сталъ ходить къ Коробьинымъ. Полгода спустя, онъ объяснился Варварѣ Павловнѣ и предложилъ ей свою руку. Предложеніе его было принято, и вскорѣ Федоръ Лаврецкій съ молодой женой, бросивъ университетъ, уѣхалъ въ свои Лаврики". Да больше и разсказывать нечего. Дѣло объясняется очень просто: прорвалась искусственно возведенная плотина,—и горячая молодая кровь залила собою и послѣднюю способность что-нибудь видѣть, что-нибудь обсуждать, что-нибудь понимать, кромѣ того, что представилось взорамъ въ роковой спектакль въ ложѣ бельэтажа. Результаты этого своего рода наводненія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и англоманской системы воспитанія не заставили себя долго ждать: „Войдя однажды,—уже въ Парижѣ,—въ отсутствіе Варвары Павловны, въ ея кабинетъ, Лаврецкій увидалъ на полу маленькую тщательно сложенную бумажку. Онъ машинально ее поднялъ, машинально развернулъ и прочелъ письмо, начинавшееся словами: „Милый ангелъ Бетси!" и оканчивавшееся—„Я жду тебя. Эрнестъ". Къ этому письму мы съ своей стороны прибавляемъ слѣдующую приписку: „Что и требовалось и ожидать и доказать". Лаврецкій обезумѣлъ. Всю ночь пробродилъ онъ по окрестностямъ Парижа, а на утро послалъ Варварѣ Павловнѣ роковую записку при своемъ

письмѣ, въ которомъ между прочимъ писалъ, что онъ не можетъ больше ее видѣть и назначаетъ ей на прожитіе 15,000 франковъ въ годъ.

Послѣ этой катастрофы Лаврецкій четыре года именно шатается за границей; когда же почувствовалъ себя въ силахъ возвратиться на родину и встрѣтиться со своими, онъ вернулся въ свой родной городъ, гдѣ мы его и застаемъ въ началѣ романа. Пережитый семейный погромъ,—если только судить по наружности,—почти совсѣмъ не отразился на Лаврецкомъ: не даромъ же Марѳа Тимофеевна чуть не сказала ему вслухъ: „Видно, тебѣ, мой батюшка, все какъ съ гуся вода; иной бы съ горя исчахъ, а тебя еще разнесло". Этой, такъ сказать, физической неуязвимостью Лаврецкій обязанъ, конечно, своимъ утреннимъ холоднымъ обливаньямъ и своимъ отроческимъ упражненіямъ на кордѣ вокругъ столба. Нѣсколько иначе дѣло обстояло съ сердцемъ... Но здѣсь уже приходится говорить о встрѣчѣ Лаврецкаго съ Лизой, и поэтому дорисуемъ сначала личность потерпѣвшаго крушеніе „спартанца" до этой роковой встрѣчи.

Слѣдующіе два факта особенно бросаются въ глаза, и оба они, какъ сейчасъ увидимъ, логически, совершенно естественно вытекаютъ изъ всего прошлаго Лаврецкаго. Во-первыхъ, Лаврецкій, хотя по смерти отца и почувствовалъ себя на свободѣ и, повидимому, началъ самостоятельно распоряжаться собой и своей жизнью, тѣмъ не менѣе очень скоро обнаружилъ свою привычную безпомощность и оказался подъ новой опекой сначала Михалевича, а затѣмъ Варвары Павловны. И въ самомъ дѣлѣ: Михалевичъ его влюбилъ и женилъ; что же касается Варвары Павловны, то, начиная съ первыхъ же дней своей помолвки съ Лаврецкимъ, она дѣлается главной руководительницей своего супруга даже въ самыхъ мелочахъ: Варвара Павловна заказываетъ и закупаетъ

себѣ приданое и даже жениховы подарки; она же все обдумала, предугадала и предусмотрѣла, что касалось ихъ житья-бытья въ Лаврикахъ. Авторъ очень характеристично говоритъ далѣе, что Варвара Павловна увезла своего мужа изъ деревни въ Петербургъ и опредѣлила его тамъ на службу; позднѣе, въ Парижѣ, она же все нашла и обставила квартиру, даже сшила мужу такой шлафрокъ, какого онъ никогда не нашивалъ,—а мужъ такъ же послушно, покорно шелъ за ней, какъ прежде, маленькимъ Ѳедей, онъ ходилъ за отцомъ и за швейцарцемъ: то же отсутствіе почина, живой дѣятельной энергіи, та же слабость воли и склонность подчиняться окружающимъ вліяніямъ. Въ тѣсной связи съ этимъ находится другая черта, которая полнѣе развивается въ послѣдующихъ событіяхъ жизни и составляетъ собой наиболѣе характерную черту въ нравственномъ обликѣ Лаврецкаго, но первоначальное и болѣе замѣтное проявленіе ея предшествуетъ его встрѣчѣ съ Лизой: мы говоримъ о взглядѣ Лаврецкаго на личное счастье и на отношеніе его въ зависимости отъ этого къ окружающей жизни.

Авторъ намъ говоритъ, что послѣ первыхъ мѣсяцевъ впервые испытываемаго личнаго счастья Лаврецкій, переѣхавъ съ женою въ Петербургъ, опять принялся за собственное, по его мнѣнію, недоконченное воспитаніе, опять сталъ читать, приступилъ даже къ изученію англійскаго языка,—„и странно было видѣть", прибавляетъ авторъ, „его могучую, широкоплечую фигуру вѣчно согнутою надъ письменнымъ столомъ,—его полное, волосатое, румяное лицо до половины закрытое листами словаря или тетради". Въ Парижѣ онъ нѣсколько даже тяготился разсѣянной жизнью жены, потому что сознавалъ ея пустоту; онъ читалъ газеты, слушалъ лекціи въ Сорбонѣ и въ Коллежъ-де-Франсъ, слѣдилъ за преніями палатъ, принялся за переводъ извѣстнаго ученаго сочи-

ненія объ ирригаціяхъ; мало этого: онъ при этомъ думалъ: „Все это полезно; но къ будущей зимѣ надо непремѣнно вернуться въ Россію и приняться за дѣло". Правда, авторъ прибавляетъ при этомъ: „Трудно сказать, ясно ли онъ сознавалъ, въ чемъ собственно состояло это дѣло, и Богъ знаетъ, удалось ли бы ему къ зимѣ вернуться въ Россію",—тѣмъ не менѣе мы все-таки видимъ, что человѣкъ сознаетъ свои недостатки, стремится исправить ихъ, какъ бы запасается знаніями для будущаго дѣла, въ которомъ чувствуетъ потребность, — и вдругъ катастрофа съ женой разрушила всѣ его планы, и Лаврецкій весь отдался своему личному горю, и отдался, пока скажемъ,—надолго, а нѣсколько позднѣе мы, можетъ быть, скажетъ—навсегда. Хотя авторъ и увѣряетъ насъ, что „время шло не даромъ: Лаврецкій не былъ рожденъ страдальцемъ; его здоровая природа вступила въ свои права; многое стало ему ясно, и самый ударъ, поразившій его, не казался ему болѣе непредвидѣннымъ,— онъ понялъ свою жену... онъ опять могъ заниматься работой"; —тѣмъ не менѣе тотъ же авторъ прибавляетъ, что Лаврецкій работалъ далеко уже не съ прежнимъ рвеніемъ: онъ сталъ равнодушенъ ко всему.

Когда онъ послѣ четырехлѣтняго скитанья по иноземнымъ городкамъ пріѣхалъ въ свое Васильевское, въ немъ опять было заговорилъ здравый смыслъ. Сидя подъ окномъ и наблюдая, какъ работаетъ его дворня, онъ думалъ: „Здѣсь, въ этой жизни, незачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку, не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ... На женскую любовь ушли мои лучшіе годы; пусть же вытрезвитъ меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло". И къ этимъ думамъ своего героя писатель добавляетъ: „Скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ,

какъ весенній снѣгъ,—и никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины. Онъ обзавелся всѣмъ нужнымъ, прилежно и внимательно сталъ заниматься хозяйствомъ, читалъ...“ — Ну, что же, — и прекрасно!— прибавимъ мы отъ себя: отрезвляйся, входи въ жизнь, присматривайся къ ней, находи себѣ мѣсто и дѣло. Но Лаврецкаго хватило только на три недѣли, — и то не дѣла, а, такъ сказать, только приближенія къ дѣлу. Его мысли уже начинаютъ обращаться къ Лизѣ; онъ уже ревнуетъ ее къ Паншину, завозитъ къ себѣ Лемма, лишь бы только поговорить съ нимъ все о той же Лизѣ;— ищетъ свиданій съ самой Лизой, старается съ ней сблизиться, а къ пріѣзду Михалевича до такой степени сосредоточивается на самомъ себѣ, на своемъ эгоистическомъ желаніи личнаго счастья, до такой степени проникается грустью о невозможности устроить себѣ это счастье, что Михалевичъ, почувствовавъ все это во время горячаго разговора съ Лаврецкимъ, кричитъ ему: „Ты эгоистъ, вотъ что! ты желалъ самонаслажденья, ты желалъ счастья въ жизни, ты хотѣлъ жить только для себя... нѣтъ въ тебѣ вѣры, нѣтъ теплоты сердечной... умъ, все одинъ только конечный умъ... ты, просто, жалкій, отсталый волтеріанецъ,—такой же, какъ твой отецъ... да нѣтъ, ты, просто, байбакъ, и ты—злостный байбакъ, байбакъ съ сознаніемъ, не наивный байбакъ. Наивные байбаки лежатъ себѣ на печи и ничего не дѣлаютъ, потому что не умѣютъ ничего дѣлать; они и не думаютъ ничего, а ты мыслящій человѣкъ, — и лежишь. Весь вѣкъ собираешься работать, противный байбакъ... И когда же, гдѣ же вздумали люди обайбачиться? у насъ! теперь! въ Россіи! когда на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой! Мы спимъ, а время уходитъ!...“ Уѣзжая, Михалевичъ пророчилъ Лаврецкому гибель,

если онъ не очнется, умолялъ его серьезно заняться бытомъ своихъ крестьянъ. И Лаврецкій какъ будто и очнулся: возвращаясь послѣ проводовъ Михалевича домой, онъ думалъ: „Пожалуй, что я байбакъ",—но это былъ лишь слабый лепетъ засыпающаго человѣка; за этимъ послѣдовала извѣстная исторія съ Лизой, и всѣ планы окончательно растаяли и рухнули.

Отчего же это? откуда эта слабость? откуда это байбачество? Самъ Лаврецкій отвѣчаетъ намъ на эти вопросы, говоря, что его „съ дѣтства вывихнули". Въ чемъ же въ данномъ случаѣ заключается вывихъ? Этотъ „вывихъ" прежде всего заключается въ томъ, что Лаврецкій,—по справедливому выраженію Михалевича,—былъ эгоистъ, и своимъ эгоизмомъ онъ былъ обязанъ прежде всего, конечно, своему воспитанію. Развѣ всѣ эти холодныя обливанья, бѣганье вокругъ столба на кордѣ, занятія рыцарской геральдикой, производившіяся неукоснительно и неупустительно каждый день въ опредѣленный часъ, не пріучали Ѳедю исключительно сосредоточиваться на своей собственной особѣ, думать и заботиться только о себѣ, о своихъ личныхъ потребностяхъ и желаніяхъ? Припоминая во всѣхъ подробностяхъ всю эту пресловутую англоманско-швейцарскую „систему" Одинаго воспитанія, весь складъ и духъ его воспитательной обстановки, развѣ мы можемъ сказать, что ему знакомо было чувство альтруизма, что его пріучали видѣть горе и нужду ближняго, понимать и сочувствовать ему, приходить къ нему на помощь, думать, заботиться о его судьбѣ? И то немногое, что, можетъ быть, шевелилось въ немъ по отношенію къ этому ближнему по памяти о своихъ раннихъ, дѣтскихъ впечатлѣніяхъ,—и то глохло подъ давленіемъ той искусственной эгоистической воспитательной системы, которая постепенно именно вывихивала юношу. Личное счастье, конечно, принадлежитъ къ

наиболѣе глубокимъ, сильнымъ, горячимъ, завѣтнымъ личнымъ желаніямъ человѣка. Что же удивительнаго поэтому, что Лаврецкій, съ дѣтства, какъ мы сейчасъ видѣли, привыкшій заботиться почти исключительно объ удовлетвореніи своихъ личныхъ желаній, весь отдался горю своего разбитаго личнаго счастья, а при первой же едва-едва показывавшейся надеждѣ вновь овладѣть другимъ, уже болѣе прочнымъ личнымъ счастьемъ—забылъ обо всемъ и всѣ свои помыслы, всю свою энергію сосредоточилъ на достиженіи этого счастья.

Другая причина злостнаго байбачества въ Лаврецкомъ заключается въ слѣдующемъ. Въ англоманской системѣ воспитанія Лаврецкаго было, какъ мы знаемъ, всего довольно: и естественныя науки, и холодныя души, и математика, и рыцарская геральдика, и упражненія въ бѣганіи на кордѣ вмѣстѣ съ международнымъ правомъ, —цѣлый кругъ наукъ и упражненій, включая сюда стрѣльбу изъ арбалета, вѣроятно, на случай защиты рыцарской чести,—и не было только одного—знакомства съ окружающей жизнью, съ той самой окружающей дѣйствительностью, съ которой рано или поздно Оедѣ Лаврецкому надо было слиться, чтобы жить и дѣйствовать, —именно жить и дѣйствовать, въ точномъ смыслѣ этихъ словъ. А какъ же Лаврецкій могъ дѣйствовать, когда онъ, не зная окружающей жизни, ея нуждъ и запросовъ, естественно не зналъ, что́ ему дѣлать, въ чемъ самъ же чистосердечно и признается Михалевичу, защищаясь отъ его нападеній: „Да что же ты бранишься?. Работать!.. дѣлать!.. Скажи лучше, что́ дѣлать...“ Да, Лаврецкій именно не зналъ, что́ ему дѣлать, гдѣ его мѣсто въ той самой жизненной рѣкѣ, на днѣ которой,—по его выраженію,—онъ очутился, пріѣхавъ изъ-за границы въ свое Васильевское,—не зналъ и не понималъ хорошенько, что́ отъ него требуется, въ чемъ и къ чему онъ можетъ

приложить свои силы и знанія, которыми онъ все-таки обладаетъ. Онъ, какъ мы видѣли, стремился къ этому даже еще и за границей, живя съ женой въ Парижѣ, но стремился, такъ сказать, ощупью, посѣщая Сорбонну и переводя сочиненіе объ ирригаціяхъ. Онъ желалъ дѣла и думалъ о немъ. У него были и знанія: вѣдь, онъ много читалъ, читалъ по серьезному побужденію пополнить пробѣлы своего воспитанія. Ему нельзя даже совершенно отказать въ способности терпѣливо трудиться надъ чѣмъ-нибудь: для знакомыхъ въ Парижѣ даже странно, вѣдь, было видѣть его могучую, широкоплечую фигуру вѣчно согнутою надъ письменнымъ столомъ. И, не смотря на все это, онъ все-таки не знаетъ, куда себя дѣвать, что́ съ собой дѣлать; онъ чувствуетъ себя лишнимъ, какъ бы ненужнымъ среди непосредственно окружающей его жизни,—и все это, конечно, потому, что не знаетъ этой самой жизни, не обладаетъ надлежащими практическими свѣдѣніями, не знаетъ, какъ и за что взяться. Вслѣдствіе всего этого Лаврецкій лишенъ возможности наполнить свою жизнь такимъ дѣломъ, которое приковало бы къ себѣ всѣ его мысли, потребовало бы для себя всѣхъ его силъ, ободряло и утѣшало бы его осязательными полезными результатами,—именно наполняло бы собой всю его жизнь. Этого нѣтъ,—и Лаврецкій естественно отдается тому, къ чему онъ привыкъ съ дѣтства, отдается своей личной жизни, жизни только для себя, стремится снова наполнить пустоту своей жизни новымъ личнымъ счастьемъ, что́ для него понятно, доступно, чему онъ можетъ отдаться всей своей душой, всѣмъ своимъ сердцемъ, всѣми своими силами... И онъ отдается... и его еще счастье, что онъ встрѣтилъ не другого кого, а Лизу Калитину: Лиза была именно тѣмъ существомъ, которое, — по выраженію Михалевича, — въ значительной степени исторгло Лаврецкаго изъ его апатіи.

Когда Лаврецкій встрѣтился съ Лизой, ему было уже 35 лѣтъ; это уже не былъ тотъ, хотя и 25-лѣтній, но все же по своей наивности и неопытности юноша-спартанецъ, который сразу почувствовалъ себя влюбленнымъ, лишь только увидѣлъ красивую дѣвушку въ ложѣ бельэтажа. Лаврецкій встрѣтился съ Лизой уже испытавшимъ жизнь и довольно-таки сильно ею побитымъ; онъ уже видѣлъ многое и передумалъ о многомъ. Мы сразу чувствуемъ разницу между тѣмъ, что влекло къ себѣ Лаврецкаго въ Варварѣ Павловнѣ, и тѣмъ, что его привлекаетъ въ Лизѣ,—чувствуемъ съ перваго же впечатлѣнія, которое Лаврецкій опредѣляетъ такъ: „Лиза—славная дѣвушка... глаза и губы такіе серьезные, и взглядъ честный и невинный". Позднѣе, говоря съ Леммомъ о романсѣ: „Вы, звѣзды, о вы, чистыя звѣзды!" Лаврецкій думалъ о Лизѣ: „чистая дѣвушка!" Лиза съ перваго же серьезнаго разговора именно своей чистотой, честностью, нравственной строгостью и прямотой начинаетъ пробуждать въ Лаврецкомъ-эгоистѣ настоящаго человѣка,—конечно, не того „человѣка", какимъ мечталъ его сдѣлать англоманъ-отецъ: разговоръ о томъ, отчего Лаврецкій разстался съ своей женой, кончился тѣмъ, что онъ, прощаясь съ Лизой, сказалъ ей: „Спасибо, вы—добрая дѣвушка; я виноватъ". Какъ видимъ, Лиза начинаетъ побѣждать Лаврецкаго, но совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ его прежде такъ быстро побѣдила Варвара Павловна: „Вы добры",—говорилъ онъ Лизѣ, когда она стояла съ удочкой на плоту у него въ Васильевскомъ: „и я чувствую, что всѣ должны васъ любить".

Вліяніе на Лаврецкаго этой дѣйствительно доброй и глубоко-честной дѣвушки становится особенно замѣтнымъ съ того момента, когда онъ передаетъ ей извѣстіе французскихъ газетъ о внезапной кончинѣ Варвары Павловны. Припомнимъ, съ какой плохо скрываемой радостной на-

леждой онъ улучаетъ, наконецъ, минуту, чтобы передать Лизѣ газету съ этимъ извѣстіемъ,—какъ нетерпѣливо старается затѣмъ прочитать отвѣтъ на ея лицѣ, о чемъ Лиза сама ему на другой день замѣчаетъ, говоря: „Вчера у васъ такое нехорошее было лицо"; она даже рѣзко остановила его, когда онъ сказалъ: „По крайней мѣрѣ, я теперь свободенъ". Въ послѣдующіе дни, когда Лаврецкій все болѣе и болѣе невольно обнаруживалъ нетерпѣніе скорѣе разрѣшить вопросъ,—и, конечно, въ пользу своего личнаго счастья,—Лиза перемѣнившимся какъ бы подъ вліяніемъ этого отношеніемъ къ нему возбуждаетъ въ немъ мысль о томъ, что въ его душевномъ состояніи есть что-то возмутительное для чистаго чувства; онъ прямо-таки чувствовалъ смущеніе, когда Лиза послѣ домашней всенощной держалась строго, почти сурово, и ни разу не взглянула на него. Припомнимъ далѣе, съ какимъ восторгомъ шепталъ онъ, возвращаясь послѣ рѣшительнаго свиданія съ Лизой въ саду: „Исчезни, прошедшее! исчезни, темный призракъ: она меня любитъ! она будетъ моей!" Припомнимъ рядомъ съ этимъ то душевное состояніе, которое пережилъ Лаврецкій, выдержавъ дѣйствительно тяжелую, ужасную сцену неожиданной встрѣчи съ пріѣхавшей женой,—ту ужасную ночь, которую онъ провелъ послѣ этого, скитаясь по городу,—то страшное озлобленіе, которое поднялось въ его душѣ противъ женщины, испортившей ему всю жизнь. Припомнимъ, наконецъ, съ какимъ злобнымъ чувствомъ на сердцѣ онъ, вернувшись изъ Васильевскаго, поѣхалъ къ Калитинымъ, узнавъ, что тамъ уже находится его жена,—и мы почувствуемъ тогда всю силу и глубину, во-первыхъ, той сцены, которая произошла между Лаврецкимъ и Лизой въ комнатѣ Марьи Тимофеевны, и вслѣдъ затѣмъ между тѣмъ же Лаврецкимъ и его женой внизу, въ гостиной Марьи Дмитріевны,—особенно этой послѣдней

сцены, когда Варвара Павловна, какъ оказалось, была помѣщена Марьей Дмитріевной въ засаду, подслушивала ея разговоръ съ Лаврецкимъ и затѣмъ въ должную минуту была выведена той же Марьей Дмитріевной изъ-за ширмъ, чтобы предстать съ кротко опущенными глазами передъ своимъ несчастнымъ мужемъ: Лаврецкій тамъ, наверху, вполнѣ сознавая, что навсегда теряетъ Лизу, какъ бы просвѣтленный чувствомъ къ ней, вліяніемъ ея свѣтлой, чистой, благородной души, совершаетъ, дѣйствительно, нравственный подвигъ, давая ей слово примириться съ своей женой,—и затѣмъ внизу, у Марьи Дмитріевны, онъ не только стойко выдерживаетъ отвратительную сцену примиренія, но дѣйствительно исполняетъ обѣщаніе, только-что данное Лизѣ: онъ соглашается поселиться вмѣстѣ съ Варварой Павловной въ деревнѣ, снова считать ее своей женой. На другой день, въ послѣдній разъ видясь съ Лизой по дорогѣ отъ обѣдни, онъ сказалъ ей: „Я вамъ во всемъ готовъ повиноваться",— и на слѣдующее утро выѣхалъ съ Варварой Павловной въ Лаврики. Мало этого,—Лаврецкій какъ бы вообще отрезвляется отъ того угара, который охватилъ его при появившейся надеждѣ на новое личное счастье: проведя въ тяжеломъ уединеніи полтора дня въ Васильевскомъ послѣ первой встрѣчи съ неожиданно пріѣхавшей женой, Лаврецкій, размышляя о всемъ случившемся въ послѣднее время, сильно негодовалъ на себя. Вспомнилъ онъ чувство, охватившее его душу на другой день послѣ возвращенія изъ-за границы въ деревню, вспомнилъ свои тогдашнія намѣренія—найти свое дѣло и отдаться ему. Что же могло оторвать его отъ того, что онъ призналъ своимъ долгомъ, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья,—опять-таки жажда счастья! „Видно, Михалевичъ правъ",—думалъ Лаврецкій. „Ты захотѣлъ вторично извѣдать счастья въ жизни",—говорилъ онъ

самъ себѣ: „ты позабылъ, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посѣтитъ человѣка. Оно не было полно, оно было ложно,—скажешь ты; да предъяви же свои права на полное, истинное счастье! Оглянись, кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто наслаждается? Ты, видно, только похвастался передъ Паншинымъ, когда сказалъ ему, что пріѣхалъ въ Россію за тѣмъ, чтобы пахать землю; ты пріѣхалъ волочиться на старости лѣтъ за дѣвочками. Пришла вѣсть о твоей свободѣ, и ты все бросилъ, все забылъ, ты побѣжалъ, какъ мальчикъ за бабочкой". „Возьмусь за дѣло",—рѣшительно воскликнулъ онъ, собираясь ѣхать въ городъ,—„да и велю себѣ молчать". Изъ эпилога мы узнаемъ, что въ теченіе восьми лѣтъ, протекшихъ послѣ роковыхъ событій, совершился наконецъ переломъ въ жизни Лаврецкаго, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца: онъ дѣйствительно пересталъ думать о собственномъ счастьѣ, о своекорыстныхъ цѣляхъ. Лаврецкій имѣлъ право быть довольнымъ собой: онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя: онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ.

— Ну, и слава Богу!—воскликнемъ мы въ отвѣтъ на разсказъ писателя: сердечно, сердечно радуемся этому благодѣтельному перелому, совершившемуся въ душѣ и въ жизни Лаврецкаго: онъ сталъ дѣйствительно человѣкомъ, онъ излѣчился отъ своего эгоизма, онъ живетъ не для одного себя. Но тотъ же самый безпристрастный писатель, который только-что такъ глубоко порадовалъ насъ,—нѣсколькими строками ниже выводитъ насъ изъ только-что охватившаго наше сердце чувства удовлетворенія и, пожалуй, даже умиленія. „Лаврецкій вышелъ

изъ дома въ садъ (онъ, вѣдь, черезъ восемь лѣтъ посѣтилъ домъ Калитиныхъ и встрѣтилъ тамъ молодое поколѣніе), сѣлъ на знакомой ему скамейкѣ,—и на этомъ дорогомъ мѣстѣ, передъ лицомъ того дома, гдѣ онъ въ послѣдній разъ напрасно простиралъ руки къ завѣтному кубку, въ которомъ кипитъ и играетъ золотое вино наслажденья,—онъ, одинокій, бездомный странникъ, подъ долетавшіе до него веселые клики уже замѣнившаго его молодого поколѣнія, оглянулся на свою жизнь,—и грустно стало ему на сердцѣ. „Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы",—думалъ онъ: „жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть,—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло!—а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать,—и благословеніе нашего брата, старика, будетъ съ вами! А мнѣ, въ виду конца, въ виду ожидающаго Бога, остается только сказать: „Здравствуй, одинокая старость! догорай, безполезная жизнь!"

Вотъ вамъ и переломъ! вотъ вамъ и просвѣтлѣніе! Если бы эти слезливыя изліянія выслушала Наташа, то она, конечно, повторила бы Лаврецкому то же самое, что она сказала Рудину: „Вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ. Кому же, какъ не вамъ"... А Михалевичъ, съ еще большей горячностью, нежели во время своего знаменитаго разговора съ Лаврецкимъ, воскликнулъ бы: „И когда же, гдѣ же вздумали люди обайбачиться? у насъ! теперь! въ Россіи! когда на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!.." Мы же съ своей стороны прежде всего спросимъ Лаврецкаго: гдѣ же это и съ кѣмъ именно и по поводу чего это ему приходилось бороться,—и бороться даже такъ, что многіе изъ его соратниковъ даже

не уцѣлѣли? Передъ нами теперь вся его жизнь, и мы что-то нигдѣ не замѣтили этой борьбы. Если же и было какое-то слабое подобіе борьбы, то только опять-таки эгоистическаго характера, — за свое личное счастье, — борьба, за которую Лаврецкій самъ устыдился, испытывая на себѣ пристальный, серьезный, какъ бы упрекающій взглядъ Лизы. Допустимъ даже собственно невозможное, какъ видимъ, для Лаврецкаго, допустимъ, что онъ дѣйствительно велъ серьезную жизненную борьбу, падалъ и вставалъ, чтобы снова итти грудью на защиту высокаго, добраго, честнаго,—положимъ, что именно въ подобной серьезной и упорной борьбѣ прошла его первая половина жизни,—даже и въ этомъ случаѣ имѣетъ ли право Лаврецкій, — человѣкъ, полный физическихъ и нравственныхъ силъ, уже испытавшій жизнь, присмотрѣвшійся къ ней, дѣйствительно не мало видѣвшій всего,—наконецъ, и что особенно важно, — человѣкъ, сознавшій недостатки своего прошлаго, понявшій, какъ бы нашедшій для себя мѣсто и дѣло, даже уже приступившій къ самому дѣлу,— имѣетъ ли право такой человѣкъ опускать руки, утверждать, что его время уже прошло, что онъ уже кончилъ свое поприще, что ему остается только жить одними грустными воспоминаніями, догарать въ безполезной, ни для кого и ни для чего ненужной жизни? Конечно, нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Это безсмысленно, эгоистично, прямо-таки нечестно,—и особенно у насъ, на Руси, гдѣ больше, нежели гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой.

Что же такое послѣ всего представляетъ собою Лаврецкій? Отвѣчаемъ: онъ во многихъ отношеніяхъ напоминаетъ собою Рудина. Прежде всего, оба они—баричи, питомцы крѣпостничества; обоихъ ихъ вскормилъ готовый крестьянскій трудъ; оба они привыкли пользоваться

этимъ готовымъ трудомъ, вовсе не зная трудовыхъ заботъ, трудового горя и нужды. Что же послѣ этого удивительнаго, что Лаврецкій не задумывается назначить своей женѣ,—лишь бы только отдѣлаться отъ нея,—на ея парижскія тряпки и развлеченія цѣлыя тысячи рублей въ годъ, которые потомъ и кровью, забывая самихъ себя, должны были ему заработать его крѣпостные, можетъ быть, полуголодные крестьяне: вѣроятно, вѣдь, Варвары Павловны папаша не церемонился съ ними, когда управлялъ имѣніемъ своего зятя. Далѣе, у Лаврецкаго также, какъ и у Рудина, нѣтъ почвы подъ ногами,—по крайней мѣрѣ, ея настолько мало, что онъ горячо и въ то же время искренно спрашиваетъ, какъ мы видѣли, Михалевича, что ему дѣлать, за что взяться. И эта безпочвенность въ Лаврецкомъ происходитъ отъ тѣхъ же самыхъ причинъ, что и въ Рудинѣ: оба они не знаютъ окружающей жизни, ея нуждъ и запросовъ; оба они воспитались вдали отъ нея, въ искусственномъ обособленіи, какъ будто бы не для этой жизни и готовились; оба они хотя и обладали знаніями, и знаніями довольно большими, самими по себѣ, можетъ быть, даже и серьезными, но эти знанія только обогащали и развивали ихъ умъ, а не ставили ихъ прочно на ноги, не дѣлали ихъ способными умѣло взяться за практическую дѣятельность, съ пользой занять соотвѣтствующее себѣ мѣсто, не быть „лишними“ людьми. Лаврецкаго сближаетъ съ Рудинымъ и тотъ эгоизмъ, который развитъ въ нихъ опять-таки барскимъ воспитаніемъ: Рудинъ почти до самаго конца самоуслаждается своимъ краснорѣчіемъ и философскими разглагольствованіями, которыя даютъ ему возможность быть предметомъ всеобщаго поклоненія и этимъ удовлетворять свое эгоистическое чувство самодовольства; Лаврецкій носится со своимъ личнымъ счастьемъ, хнычетъ и стонетъ и, окончательно утративши надежду на удовлетво-

реніе этой эгоистической жажды личнаго счастья, отворачивается отъ самой жизни, наивно прикрываясь непосильностью какой-то борьбы, утратой подъ ея вліяніемъ силъ, энергіи и надеждъ. Да, въ Лаврецкомъ еще прочно держится „рудинство",—и, конечно, главнымъ образомъ потому, что его характеръ и самая жизнь сложились въ атмосферѣ того же самаго крѣпостничества, отъ котораго погибъ и Рудинъ.

Но въ Лаврецкомъ мы находимъ нѣчто и отличающее его отъ Рудина. Во-первыхъ, мы замѣчаемъ разницу въ складѣ самаго характера: въ основу Рудинскаго нрава легла его избалованность съ дѣтства, привычка взимать дань удивленія и преклоненія своей особѣ, вслѣдствіе чего, куда бы ни кидала его судьба, онъ воображалъ себя какимъ-то заправиломъ, тогда какъ въ дѣйствительности то тепличная замкнутость воспитанія не дала ему научиться толково заправлять и самимъ собою; напротивъ того, Лаврецкій, съ дѣтства муштруемый и выдерживаемый подъ началомъ, и впослѣдствіи постоянно попадаетъ въ зависимое положеніе: имъ руководитъ Михалевичъ, имъ руководитъ Варвара Павловна, имъ руководитъ Лиза, а когда онъ остался одинъ, безъ руководителей, то оказался совершенно безпомощнымъ и въ 45 лѣтъ, полный силъ и здоровья, уже считаетъ себя безполезно догорающимъ старикомъ. Другая разница между Лаврецкимъ и Рудинымъ заключается въ томъ, что Рудинъ, какъ мы видѣли, почти до самаго конца не только не тяготится своимъ положеніемъ „лишняго" человѣка, но прямо-таки какъ бы не замѣчаетъ его, даже наивно думаетъ, по крайней мѣрѣ въ первой половинѣ романа, что онъ исполняетъ какую-то миссію, что онъ руководитъ чѣмъ-то, направляетъ кого-то,—и, къ сожалѣнію, окружающія обстоятельства долгое время оставляли его въ этомъ пріятномъ заблужденіи; Лаврецкій, наоборотъ, почти

съ первыхъ же минутъ своего освобожденія изъ-подъ англоманскаго гнета уже сознаетъ свою безпочвенность, пустоту и безцѣльность своего существованія, пытается пополнить пробѣлы своего воспитанія, по-возможности излѣчиться отъ нравственнаго „вывиха", серьезно желаетъ дѣла, находитъ его, даже успѣваетъ кое-что сдѣлать, но, къ сожалѣнію, у него недостаетъ силъ и характера удержаться на томъ пути, на который онъ было сталъ. Наконецъ, Лаврецкій отличается отъ Рудина и тѣмъ, что онъ все-таки ближе стоитъ къ окружающей его жизни, онъ лучше ее видитъ, больше понимаетъ, лучше знаетъ, что именно нужно дѣлать, къ чему приложить свои силы: въ разговорѣ съ Паншинымъ онъ совершенно справедливо доказываетъ „невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—наконецъ, на вопросъ Паншина: „Что же вы намѣрены дѣлать?"—опредѣленно отвѣчалъ: „Пахать землю,—и стараться какъ можно лучше ее пахать". И Лаврецкій не только говоритъ объ этомъ, но и дѣлаетъ: изъ эпилога мы, вѣдь, уже знаемъ, что онъ „дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя: онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ".

Все это, конечно, возвышаетъ въ нашихъ глазахъ Лаврецкаго сравнительно съ Рудинымъ: въ немъ несомнѣнно меньше рудинской безпочвенности, въ немъ почти совсѣмъ нѣтъ философскаго пустозвоннаго краснобайства, онъ гораздо больше человѣкъ дѣла, нежели слова. Но, если мы спросимъ себя: можно ли Лаврецкаго назвать тѣмъ настоящимъ человѣкомъ „почвы" и „дѣла", въ которомъ такъ нуждалась и теперь еще нуждается

Россія? — мы должны будемъ отвѣтить отрицательно: нѣтъ, Лаврецкій не есть еще настоящій человѣкъ „дѣла“ и „почвы“: въ немъ нѣтъ еще настоящей силы, которая дается знаніемъ жизни и правильной, серьезной подготовкой къ ней.

Но не можемъ ли мы указать въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, помимо Лаврецкаго, кого-нибудь другого, кто бы могъ хотя съ нѣкоторымъ правомъ сказать про себя, что онъ не „лишній“, не безполезный краснобай или вздыхатель по утраченному личному счастью, а человѣкъ дѣла, — знаетъ, гдѣ ему быть и что ему дѣлать? Такимъ именно человѣкомъ, — по крайней мѣрѣ, съ перваго взгляда, — можетъ, пожалуй, показаться Михалевичъ, — особенно, если мы припомнимъ, какъ онъ горячо, искренно и убѣжденно нападалъ на Лаврецкаго, справедливо упрекая его въ эгоизмѣ, въ злостномъ байбачествѣ.

Да, очень многое говоритъ въ пользу Михалевича. Во-первыхъ, не только въ немъ самомъ не замѣтно барства, но и друга своего, т. е. Лаврецкаго, онъ заставляетъ благодарить Бога за то, что въ его жилахъ течетъ честная плебейская кровь. Далѣе, — онъ горячо и справедливо обвиняетъ Лаврецкаго въ лѣни, въ апатіи, указывая ему на долгъ, на великую отвѣтственность передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собою; мало этого, — онъ точно и опредѣленно, какъ человѣкъ, знающій дѣйствительную жизнь и ея запросы, указываетъ Лаврецкому и самое дѣло, которому онъ могъ бы посвятить себя—улучшеніе быта крестьянъ,—напоминаетъ ему о томъ, что самая кровь, текущая въ его жилахъ, должна была бы заставить его всѣмъ сердцемъ отдаться заботамъ о своихъ крестьянахъ. Наконецъ, самъ онъ, послѣ долгихъ странствованій, не только попадаетъ на настоящее свое дѣло, но и умѣетъ удержать его за собой: онъ дѣлается воспитателемъ въ учебномъ

заведеніи и пріобрѣтаетъ всеобщую любовь среди своихъ воспитанниковъ. Но рядомъ со всѣмъ этимъ не его ли авторъ называетъ энтузіастомъ и стихотворцемъ, — настолько увлекающимся энтузіастомъ, что онъ, уже цѣлый годъ зная Варвару Павловну, отзывался о ней внезапно влюбившемуся въ нее Лаврецкому, что она—изумительное, геніальное существо, артистка въ настоящемъ смыслѣ этого слова и при томъ предобрая;—развѣ не про него авторъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что между нимъ и Лаврецкимъ загорѣлся споръ, одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди: не понимая ясно ни чужихъ, ни даже собственныхъ мыслей, цѣпляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ,—и спорили такъ, какъ будто бы дѣло шло о жизни и смерти обоихъ;—развѣ, наконецъ, не Михалевичъ, даже сидя въ тарантасѣ, готовый вотъ-вотъ сейчасъ отъѣхать отъ крыльца, все еще продолжалъ говорить, все еще продолжалъ развивать свои воззрѣнія на судьбы Россіи и водилъ смуглой рукой по воздуху, какъ бы разсѣевая сѣмена будущаго благоденствія... „Помни мои послѣднія слова",—кричалъ онъ Лаврецкому, высунувшись всѣмъ тѣломъ изъ тарантаса и стоя на балансѣ, когда лошади уже тронулись: „религія, прогрессъ, человѣчество!" — развѣ не узнаемъ мы во всемъ этомъ нашего стараго знакомца Рудина, развѣ не представляется намъ живо вечеръ у Ласунской, и особенно тотъ моментъ, когда Рудинъ, выѣзжая со двора Ласунскихъ на широкую дорогу, горячо сталъ развивать передъ Басистовымъ идеи объ истинной свободѣ, объ истинномъ достоинствѣ человѣка? Эти параллели говорятъ сами за себя...

Какъ бы для того, чтобы подчеркнуть безспорное и при томъ грустное явленіе,—какъ бы уже прямо съ тѣмъ, чтобы показать, что настоящихъ людей дѣла у насъ еще нѣтъ и даже пока не можетъ быть, — И. С. Тургеневъ, не болѣе, какъ черезъ годъ послѣ «Дворянскаго гнѣзда», пишетъ повѣсть „Наканунѣ", въ которой наглядно показываетъ, какихъ именно людей у насъ еще нѣтъ, — и не случайно, конечно, выводитъ болгарина.

Если бы Болгарія ставила Инсарову, какъ дѣйствительно существовавшему патріоту, памятникъ, то, несомнѣнно, на этомъ памятникѣ были бы начертаны слѣдующія его собственныя слова: „Послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я — мы желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль". Въ этихъ немногихъ, но,— сказала бы Елена, — „великихъ" словахъ выражается весь характеръ, все внутреннее значеніе личности Инсарова. Инсаровъ прибавляетъ къ этимъ словамъ: „Поймите, какую это даетъ увѣренность и силу", — а мы бы прибавили: „и смыслъ всему моему существованію".

Вотъ что авторъ устами Берсенева разсказываетъ о происхожденіи и вообще о прошломъ Инсарова. Отецъ его былъ довольно зажиточнымъ купцомъ, родомъ изъ Тырнова; торговалъ онъ въ Софіи, имѣлъ сношенія съ Россіей; сестра его,—стало быть, родная тетка Инсарова, была замужемъ въ Кіевѣ за учителемъ гимназіи. Когда отецъ Инсарова былъ разстрѣлянъ за то, что отомстилъ турецкому агѣ за похищеніе своей жены, т. е. матери Инсарова, — восьмилѣтняго Дмитрія Инсарова взяла къ себѣ въ Кіевъ тетка, и онъ прожилъ у нея 12 лѣтъ, почему и умѣлъ хорошо говорить по-русски. Когда ему минуло 20 лѣтъ, онъ пожелалъ вернуться на родину. Былъ въ Софіи и Тырновѣ, всю Болгарію исходилъ вдоль и поперекъ, провелъ въ ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преслѣдо-

вало его, и онъ, вѣроятно, въ эти два года подвергался большимъ опасностямъ, о чемъ между прочимъ свидѣтельствовалъ широкій рубецъ на шеѣ, — должно быть, слѣдъ раны. Вернувшись въ Россію, онъ поступилъ въ Московскій университетъ и принялся за работу...

Остановимся пока на этомъ и сопоставимъ съ тѣмъ, что мы знаемъ о Рудинѣ и Лаврецкомъ.

Съ чѣмъ оба они пришли въ университетъ? Почти ни съ чѣмъ: ни нравственной, ни образовательной подготовки. Для чего они пришли въ храмъ высшей науки? Да они и сами неясно сознавали, для чего: учиться, пополнить свое образованіе, — но, какъ это сдѣлать, съ какою цѣлью,—они, особенно Рудинъ, очень мало отдавали себѣ отчета.

Съ чѣмъ пришелъ въ университетъ Инсаровъ? Во-первыхъ, онъ пришелъ туда не изъ барской дѣтской, не изъ воспитательной искусственной теплицы, а прямо изъ жизни, изъ среды живыхъ людей, изъ сферы ихъ дѣйствительныхъ жизненныхъ нуждъ, заботъ и стремленій, которыя онъ вдыхалъ въ себя въ продолженіе двухъ лѣтъ, самъ лично въ разныхъ мѣстахъ, на самомъ живомъ дѣлѣ, на самой жизни людей знакомясь съ этими нуждами, заботами и стремленіями, уясняя себѣ ихъ внутренній смыслъ, ихъ важное значеніе для своей родины. Во-вторыхъ, онъ принесъ съ собою извѣстную нравственную выдержку, умѣнье и навыкъ всматриваться въ явленія, понимать ихъ главный жизненный смыслъ, — онъ принесъ съ собою привычку заниматься именно дѣломъ, а не разговорами: вѣдь, исходивъ свою родную страну вдоль и поперекъ, онъ, конечно, все время видѣлъ передъ собою настоящее дѣло, поучался имъ и самъ привыкалъ дѣлать именно дѣло, а не „разговоры говорить". Наконецъ, Инсаровъ принесъ съ собой въ университетъ извѣстный запасъ знаній, тѣмъ болѣе цѣнныхъ потому, что большая

часть этихъ знаній зиждилась на прочной почвѣ настоящей, реальной, жизненной дѣйствительности: они вытекали изъ нея и, благодаря этому, ясно указывали тотъ путь, по которому нужно было дальше итти. Вотъ съ чѣмъ пришелъ Инсаровъ въ университетъ.

Для чего же онъ пришелъ туда? Мы уже знаемъ, что Инсаровъ, когда ему минуло 20 лѣтъ, пожелалъ вернуться изъ Кіева на родину, всю Болгарію исходилъ вдоль и поперекъ, провелъ въ ней два года, выучился опять родному языку и, вѣроятно, близко сходился со своимъ роднымъ народомъ, пробовалъ, можетъ быть, даже принимать непосредственное участіе въ его жизни и стремленіяхъ, — потому что турецкое правительство, какъ мы знаемъ, преслѣдовало его. Вѣроятно, это такъ именно и было, — и на это намъ указываетъ между прочимъ слѣдующее мѣсто повѣсти: „Разговаривая съ Инсаровымъ о его занятіяхъ, Берсеневъ перешелъ къ современному положенію Болгаріи, и тутъ онъ впервые замѣтилъ, какая совершалась перемѣна въ Инсаровѣ при одномъ упоминаніи о его родинѣ: не то, чтобы лицо его разгоралось, или голосъ возвышался,—нѣтъ! но все существо его какъ будто крѣпло и стремилось впередъ, очертаніе губъ обозначалось рѣзче и неумолимѣе, а въ глубинѣ глазъ зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь. Онъ говорилъ о туркахъ, о ихъ притѣсненіяхъ, о горѣ и бѣдствіяхъ своихъ согражданъ, объ ихъ надеждахъ...“ Если послѣ всего этого Инсаровъ все-таки покинулъ родину и поѣхалъ въ Москву, чтобы поступить въ университетъ, то, конечно, у него была опредѣленная и притомъ серьезная цѣль; кромѣ того, эта цѣль необходимо должна была вытекать, или, вѣрнѣе, вызываться той самой дѣйствительной жизнью, тѣми самыми нуждами, заботами и стремленіями родины, которыя такъ глубоко захватили его сердце, при одномъ воспоминаніи о которыхъ все его

существо какъ бы перерождалось. Въ чемъ заключается эта цѣль, мы сейчасъ поймемъ, какъ только вспомнимъ, чѣмъ занимался Инсаровъ въ университетѣ: „онъ учился и русской исторіи, и праву, и политической экономіи; переводилъ болгарскія пѣсни и лѣтописи; собиралъ матеріалы о восточномъ вопросѣ; составлялъ русскую грамматику для болгаръ и болгарскую для русскихъ". Какъ видимъ, онъ выбираетъ изъ круга разнообразныхъ знаній, раскрываемыхъ передъ нимъ университетомъ, именно то, чѣмъ онъ могъ бы впослѣдствіи воспользоваться, трудясь надъ возрожденіемъ своей родной страны, надъ ея освобожденіемъ. Когда Берсеневъ, зайдя однажды къ нему, заговорилъ съ нимъ о философѣ Фейербахѣ, Инсаровъ слушалъ его внимательно, возражалъ рѣдко, но дѣльно; изъ возраженій его видно было, что онъ старался дать самому себѣ отчетъ въ томъ, нужно ли ему заняться Фейербахомъ, или же можно обойтись безъ него. И этотъ вопросъ — „Нужно ли?" — для Инсарова весьма важный вопросъ: нужно ли, необходимо ли, полезно ли для его будущей дѣятельности, цѣль которой онъ ясно сознаетъ, — тратить теперь время на изученіе того или другого? И Инсаровъ, — насколько только въ состояніи въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ обсудить и разрѣшить себѣ этотъ вопросъ, — посвящаетъ свои силы и время именно тому, что нужно, необходимо и полезно для его будущей дѣятельности. Онъ и въ университетѣ, среди научныхъ занятій, не порываетъ связи съ дѣйствительной жизнью, съ ея запросами: они, такъ сказать, руководятъ имъ въ самыхъ его научныхъ занятіяхъ, — „онъ связанъ съ своею землею", — какъ выражается Шубинъ, — его научныя занятія чередуются съ обширной перепиской, которую онъ ведетъ съ своими соотечественниками, не переставая внимательно слѣдить за всѣмъ, что происходитъ въ Болгаріи, — онъ нерѣдко отрывается отъ занятій,

чтобы навѣстить своего земляка въ Москвѣ или въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ; земляки приходили къ нему со своими личными дѣлами и нуждами, и онъ принималъ въ нихъ самое близкое участіе.

Какъ все это мало похоже на университетскую жизнь Рудиныхъ и Лаврецкихъ! У нихъ только слова, и одни только слова, у Инсарова—дѣло, и одно только дѣло,—дѣло настоящее, серьезное, вытекающее изъ самой жизни, вызываемое ея нуждами и запросами. Да и разговорами-то ему некогда заниматься, потому что, по его выраженію, „наше время не намъ принадлежитъ, а всѣмъ тѣмъ, кому есть въ насъ нужда". До какой степени онъ не любитъ этихъ праздныхъ словъ, прекрасно свидѣтельствуетъ отвѣтъ его на вопросъ Елены, — очень ли любитъ онъ свою родину,—онъ сказалъ: „Это еще неизвѣстно: вотъ когда кто-нибудь изъ насъ умретъ за нее, тогда можно будетъ сказать, что онъ ее любилъ". Что же удивительнаго послѣ этого, что глубокая пропасть отдѣляетъ Инсарова, какъ человѣка вообще, отъ Рудиныхъ и Лаврецкихъ. Въ противоположность Рудину, который,—правда, наивно, такъ сказать, безкорыстно, но все-таки такъ любилъ порисоваться своимъ краснорѣчіемъ, своею начитанностью, — Инсаровъ, — какъ говоритъ про него Берсеневъ, — „въ своемъ родѣ молчальникъ". Ужъ на что былъ прекрасный случай порисоваться, когда Берсеневъ сталъ разспрашивать его относительно широкаго рубца на шеѣ, справедливо при этомъ предполагая про себя—„Ужъ и досталось же, я думаю, турецкому агѣ", — но Инсаровъ на его разспросы отвѣчаетъ лишь общими фразами; вообще, онъ не любитъ о себѣ распространяться и чѣмъ-нибудь выставляться; онъ воодушевляется только тогда, когда начинаетъ говорить о родинѣ, о ея печальной судьбѣ, о томъ, что онъ видѣлъ и чему на помощь хочетъ прійти. И онъ уже приходитъ на помощь: под-

держиваетъ, чѣмъ только можетъ, своихъ соотечественниковъ; самъ неутомимо запасается всѣмъ, что необходимо ему для того, чтобы быть дѣятельнымъ, полезнымъ гражданиномъ своей страны. И все это онъ дѣлаетъ просто, скромно, даже не любитъ разсказывать объ этомъ. А то ли бы не порисоваться дѣйствительно эффектной ролью будущаго освободителя родины, — то ли бы не возбудить всеобщее удивленіе и поклоненіе своими дѣйствительно высокими стремленіями, къ тому же еще осуществляемыми и на дѣлѣ! Но Инсаровъ въ своемъ родѣ молчальникъ. Его рѣчь пріобрѣтаетъ силу и вдохновеніе только тогда, когда онъ касается не себя самого, а родины: „Если бы вы знали", — говоритъ онъ Еленѣ, — „какой нашъ край благодатный! А между тѣмъ его топчутъ, его терзаютъ: у насъ отняли все: наши церкви, наши права, наши земли. Какъ стадо, гоняютъ насъ поганые турки, насъ рѣжутъ..." — „Дмитрій Никанорычъ!" воскликнула на это Елена. Онъ остановился. „Извините меня. Я не могу говорить объ этомъ хладнокровно. Но вы сейчасъ спрашивали меня, люблю ли я свою родину. Что же другое можно любить на землѣ? что одно неизмѣнно, что выше всѣхъ сомнѣній, чему нельзя не вѣрить послѣ Бога?". Инсаровъ произноситъ высокія, горячія слова, но въ нихъ намъ слышится совершенно иное, нежели въ вдохновенныхъ рѣчахъ Рудина о свободѣ, и — Михалевича о религіи, прогрессѣ и человѣчествѣ, — особенно, когда мы представимъ себѣ Инсарова цѣлыми днями согбеннымъ надъ постояннымъ дѣйствительно серьезнымъ трудомъ на пользу своей родины.

Невольно напрашиваются на сравненіе и слѣдующіе факты. Рудинъ нисколько не стѣсняется жить въ университетѣ на счетъ какого-то богатаго князька, затѣмъ на цѣлые мѣсяцы заживается безъ всякаго дѣла на готовыхъ хлѣбахъ у Ласунской, да еще занимаетъ деньги направо

и налѣво;—а между Инсаровымъ и Берсеневымъ происходитъ между прочимъ слѣдующій разговоръ: „Вы мнѣ предлагаете жить у васъ на дачѣ?“ переспросилъ онъ Берсенева.—Да, у меня тамъ наверху есть лишняя комната. „Очень вамъ благодаренъ, Андрей Петровичъ; но я полагаю, средства мои мнѣ не позволяютъ?“—То есть какъ же не позволяютъ? „Не позволяютъ жить на дачѣ. Мнѣ двѣ квартиры держать невозможно“.—Да, вѣдь, я... началъ было Берсеневъ и остановился... Разговоръ по этому вопросу кончился слѣдующими словами Инсарова: „Я только въ такомъ случаѣ могу воспользоваться вашимъ предложеніемъ, если вы согласитесь взять съ меня деньги по разсчету. Иначе я не могу“. Когда же Инсаровъ переѣхалъ на дачу къ Берсеневу, то тотчасъ же, какъ только разложилъ на новосельѣ свои немногочисленныя вещи, спустился къ Берсеневу и попросилъ его взять съ него десять рублей впередъ.

А какъ любитъ Инсаровъ, и какъ онъ относится къ той, которую полюбилъ! Припомнимъ, какъ Рудинъ, сначала самъ того не замѣчая, а потомъ и сознательно влюблялъ въ себя Наташу,—какъ онъ наслаждался, замѣчая въ ней развивающееся чувство къ нему,—какъ онъ настойчиво вызывалъ ее на рѣшительное объясненіе, нетерпѣливо желая слышать ея признаніе. Инсаровъ же, какъ только почувствовалъ, что дѣйствительно полюбилъ Елену, то, во-первыхъ, не только не старался ничѣмъ обнаружить это передъ ней и тѣмъ болѣе вызвать въ ней сочувствіе къ себѣ, но сейчасъ же рѣшилъ отдалиться отъ нея.—Почему? Во-первыхъ, потому, что считалъ безчестнымъ—„для удовлетворенія личнаго чувства“,—какъ онъ самъ сказалъ Берсеневу,—„измѣнить своему дѣлу и своему долгу“; во-вторыхъ, потому, что считалъ невозможнымъ изъ эгоистическаго чувства подвергать любимую дѣвушку, конечно, ожидавшимъ его впереди

многимъ невзгодамъ, тѣмъ болѣе, что его родина вовсе не была для нея родиной. И онъ рѣшительно объявляетъ ей о своемъ отъѣздѣ, даже и не намекая ей о настоящей причинѣ своего внезапнаго отъѣзда; онъ про себя даже рѣшилъ не заходить еще разъ къ Стаховымъ, хотя Елена умоляла его прійти, чтобы выслушать отъ нея нѣсколько словъ,—и только случайность свела его съ ней на дорогѣ; но даже и тутъ, прямо-таки вызываемый самой Еленой на рѣшительное объясненіе, онъ до послѣдней крайности владѣетъ собой и, даже не подавая руки, рѣшительно прощается съ ней. Елена, наконецъ, открыто и серьезно сказала ему, что она любитъ его. Мы помнимъ, какимъ горячимъ восторгомъ свѣтилось его отвѣтное „Елена!" Чувство умиленія, чувство благодарности неизъяснимой разбило впрахъ его твердую душу, а никогда еще неизвѣданныя слезы навернулись на его глаза.

Невольно опять вспоминаешь рѣшительное объясненіе Рудина съ Наташей. Припомнимъ, какую жалкую роль сыгралъ Дмитрій Николаевичъ у Авдюхина пруда, какимъ мыльнымъ пузыремъ лопнули всѣ его разглагольствованія, которымъ такъ вѣрила полюбившая его дѣвушка,—какимъ безпомощнымъ, прямо-таки жалкимъ и при томъ безусловно виновнымъ оказался онъ передъ Наташей,—насколько она выше, серьезнѣе его.

Совсѣмъ иначе кончилось рѣшительное свиданіе Елены съ Инсаровымъ. „Такъ ты пойдешь за мной всюду?" говорилъ онъ ей.—Всюду, на край земли! Гдѣ ты будешь, тамъ и я буду. „И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на нашъ бракъ?"—Я себя не обманываю; я это знаю. „Ты знаешь, что я бѣденъ, почти нищій?"—Знаю. „Что я не русскій, что мнѣ не суждено жить въ Россіи, что тебѣ придется разорвать всѣ твои связи съ отечествомъ, съ родными?"—Знаю, знаю. „Ты знаешь также, что я посвятилъ себя

дѣлу трудному, неблагодарному, что мнѣ... что намъ придется подвергаться не однимъ опасностямъ, но и лишеніямъ, униженію, быть можетъ?"—Знаю, все знаю... я тебя люблю!.. „Что ты должна будешь отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ, что тамъ одна, между чужими, ты, можетъ быть, принуждена будешь работать..." Она положила ему руку на губы.—Я люблю тебя, мой милый!.. Инсаровъ пристально посмотрѣлъ ей въ глаза и воскликнулъ: „Такъ здравствуй же, моя жена передъ людьми и передъ Богомъ!" И въ этомъ восклицаніи сказалась твердая воля человѣка, который знаетъ, что говоритъ и куда и къ чему идетъ. А сколько серьезной и въ то же время нѣжной заботливости о любимой дѣвушкѣ! Какъ много въ этихъ вопросахъ Инсарова любви и заботливости о другомъ человѣкѣ и какъ мало эгоизма!

И эта заботливость, серьезная, глубокая, вся проникнутая глубокимъ, серьезнымъ чувствомъ къ Еленѣ, и во все послѣдующее время наполняетъ собою сердце Инсарова. Когда Елена, уже въ Москвѣ, впервые навѣстила Инсарова и, узнавъ, что онъ скоро долженъ ѣхать въ Болгарію, съ увѣренностью спросила его: „Вѣдь, ты меня возьмешь съ собой?"—онъ, восторгаясь ея рѣшимостью, говоритъ: „Но не грѣшно ли, не безумно ли мнѣ, мнѣ бездомному, одинокому, увлекать тебя съ собой... И куда же!" И, конечно, не Рудинская трусость слышится въ этихъ словахъ, а боязнь за то, не эгоистично ли онъ поступаетъ, пользуясь глубокой преданностью любимой дѣвушки и въ то же время зная, что онъ обрекаетъ ее, можетъ быть, на тяжелыя испытанія. Какъ заботится Инсаровъ, чтобы какъ можно скорѣе устранить рѣшительно все, что могло бы бросить хотя малѣйшую тѣнь на Елену въ глазахъ окружающаго ее общества,— и не только въ огражденіе отъ какой-нибудь „княгини

Марьи Алексѣевны",—нѣтъ, онъ желаетъ, чтобы какъ можно скорѣе Елена была его женой не только для его сердца, не только передъ Богомъ, но и въ глазахъ всѣхъ людей.

Наконецъ, какая цѣльность въ характерѣ Инсарова, какая твердость воли, какая опредѣленность и законченность взглядовъ и стремленій, какая стойкая вѣрность любимымъ идеямъ и цѣлямъ до самыхъ послѣднихъ минутъ жизни! Уже совсѣмъ почти умирающій, онъ весь живетъ мыслями о родинѣ, стремится къ ней, его радостно волнуетъ каждое незначительное извѣстіе: „Слышала ты, Елена",—сказалъ онъ однажды съ внезапнымъ одушевленіемъ: „говорятъ, бѣдные далматскіе рыбаки пожертвовали своими свинчатками,—ты знаешь, этими тяжестями, отъ которыхъ невода на дно опускаются,—на пули! Денегъ у нихъ не было; они только и живутъ, что рыбной ловлей; но они съ радостью отдали свое послѣднее достояніе, и голодаютъ теперь. Что за народъ!" Наканунѣ смерти, уже съ трудомъ поднимаясь на постели, онъ говоритъ Еленѣ: „Разбуди меня сейчасъ, какъ только Рендичъ (капитанъ корабля) пріѣдетъ. Если онъ скажетъ, что корабль готовъ, мы тотчасъ отправимся... Надобно все уложить... Надо, надо ѣхать... Терять времени нельзя... Будь готова..." Послѣднія его слова были: „Прощай, родина!"

Невольно вспоминается слѣдующее мѣсто изъ дневника Елены: „Берсеневъ, можетъ быть, ученѣе, даже умнѣе... но онъ передъ нимъ (т. е. передъ Инсаровымъ) такой маленькій". Да и не одинъ Берсеневъ,—прибавимъ мы,—но и всѣ остальные, кого мы видимъ въ романѣ,—конечно, кромѣ Елены.

И въ самомъ дѣлѣ, что такое Берсеневъ? Очень добрый, очень честный, очень благородный и дѣйствительно сердечный человѣкъ. Достаточно припомнить хотя бы

одно его поведеніе во время болѣзни Инсарова, его отношеніе къ Еленѣ, уже полюбившей своего Дмитрія. Тысячу разъ правъ Инсаровъ, воскликнувшій по поводу Берсенева: „О, вы, русскіе, золотыя у васъ сердца!“ Рядомъ съ этимъ, Берсеневъ умный, даже, пожалуй, даровитый человѣкъ, прилежный, кропотливый, усердный труженикъ, самымъ добросовѣстнымъ образомъ работающій надъ „Исторіей Гогенштауфеновъ“; онъ серьезно готовится къ профессорской каѳедрѣ, и изъ него, несомнѣнно, выйдетъ ученый, добросовѣстный профессоръ, который стяжаетъ себѣ славу не однѣми статьями „О нѣкоторыхъ особенностяхъ германскаго права“. Наконецъ, онъ способенъ быть добрымъ, преданнымъ, любящимъ мужемъ, отцомъ, другомъ,—но и только. А развѣ это мало?! Нѣтъ,—для болѣе обыкновеннаго человѣка—даже слишкомъ довольно,—но, и при всемъ этомъ, Берсеневъ все-таки „такой маленькій“ въ сравненіи съ Инсаровымъ. Вы не чувствуете въ немъ той силы духа, которая сказывается въ каждомъ словѣ, въ каждомъ поступкѣ Инсарова; вы не чувствуете того огня, который сказывается въ горячемъ, именно горячемъ воодушевленіи Инсарова тѣмъ дѣломъ, которому онъ посвятилъ всю свою жизнь; вы не ощущаете той твердой, непреклонной воли, которая управляетъ каждымъ дѣйствіемъ болгарскаго патріота. За Берсеневымъ не пойдутъ,—онъ неспособенъ воодушевить, вдохновить, подвигнуть на дѣло, возбудить рѣшимость оставить все и всѣхъ и пойти за нимъ: онъ самъ нуждается въ твердой рукѣ, которая бы управляла имъ...

Еще, конечно, меньше выдерживаетъ сравненія съ Инсаровымъ Шубинъ. Онъ неглупъ,—какъ художникъ, можетъ быть, талантливъ. Онъ ничего на себя не беретъ, открытъ, прямодушенъ; у него доброе, правдивое сердце,—но, вѣдь, что же онъ можетъ дать людямъ? развѣ что-

нибудь вродѣ тѣхъ картинъ, которыя на перебой заказываютъ ему въ Римѣ англичане и американцы...

Стоитъ ли говорить о Курнатовскомъ? Вотъ что пишетъ о немъ Писарову Елена: „Поздравь меня, милый Дмитрій, у меня женихъ. Держится онъ очень просто, говоритъ отчетливо: онъ ходитъ, смѣется, ѣстъ, словно дѣло дѣлаетъ... Въ немъ есть что-то желѣзное... и тупое и пустое въ то же время—и честное. Ты у меня тоже желѣзный, да не такъ, какъ этотъ... Онъ въ художествѣ ничего не смыслитъ, но мы съ тобой все-таки иначе не понимаемъ художества... Онъ разъ даже назвалъ себя пролетаріемъ: „Мы",—говоритъ,—„чернорабочіе". Я подумала: если бы Дмитрій это сказалъ, мнѣ бы это не понравилось, а этотъ пускай себѣ говоритъ, пускай себѣ хвастается. Когда онъ заговорилъ о пользѣ наукъ и университетовъ, Шубинъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ: „Вотъ этотъ и нѣкто другой (т. е. ты)—оба практическіе люди, а посмотрите, какая разница: тамъ настоящій, живой, жизнью данный идеалъ, а здѣсь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дѣльность безъ содержанія".

Мы сказали обо всѣхъ, потому что объ остальныхъ можно совершенно умолчать. А Елена?! Да, единственная Елена... Но о ней послѣ, особо,—и говорить будемъ много, также какъ и о Лизѣ Калитиной. Обо всѣхъ остальныхъ, а въ томъ числѣ и о самомъ себѣ, Шубинъ прямодушно, искренно, но въ то же время съ глубокой горечью говоритъ вотъ что: „Елена разстается съ родиной, съ семьей,—а я ее понимаю. Кого она здѣсь оставляетъ? Кого видѣла? Курнатовскихъ, да Берсеневыхъ, да нашего брата; и это еще лучшіе... Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все мелюзга, грызуны, Гамлетики, самоѣды, либо—темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя!.. Нѣтъ, кабы были между

нами путные люди, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа...“

И Шубинъ былъ правъ, говоря это: дѣйствительно, не было людей. Народная масса томилась въ цѣпяхъ вѣкового рабства, коснѣла въ невѣжествѣ, нерѣдко изнемогая подъ бременемъ непосильнаго труда,—и только еще болѣе грусти должно было возбуждаться, когда въ этой темной, безпросвѣтной массѣ отдѣльными свѣтлыми лучами мелькали Касьяны и Калинычи, въ которыхъ искра Божія несмѣло теплилась и пряталась въ глубинѣ души, подавляемая грубымъ произволомъ и нерѣдко жестокой безсердечностью Звѣрковыхъ, Полутыкиныхъ и Стегуновыхъ. Такую же безпросвѣтную глушь представлялъ собою и средній классъ торговыхъ и служилыхъ людей, весь отдававшійся своимъ личнымъ, эгоистическимъ житейскимъ интересамъ, не смотрѣвшій дальше заботъ о своей семьѣ, о своемъ личномъ благополучіи, о такъ называемой карьерѣ для себя и для своихъ домочадцевъ; въ лучшемъ случаѣ все образованіе ихъ сводилось къ усвоенію внѣшняго лоска, какихъ-нибудь жалкихъ верхушекъ знанія, а главное—манеръ и легкой французской болтовни. Вспомнимъ Паншина, Курнатовскаго, Марью Дмитріевну Калитину, отца Елены. Немногимъ, пожалуй, лучше были и тѣ, которыхъ Шубинъ называетъ Гамлетиками. Они, конечно, возвышались надъ остальными своимъ умомъ, образованіемъ, развитіемъ, понимали глушь и безпросвѣтность окружающей ихъ жизни, сознавали свое собственное безсиліе и непригодность, даже мучились этимъ, — но какая же польза могла быть отъ ихъ сознанія своей непригодности, что они могли дать,—развѣ только служить нагляднымъ примѣромъ того, какъ безплодно быть „складочнымъ мѣстомъ общихъ мѣстъ“, какъ тяжело сознавать, что нѣтъ для тебя мѣста, никому и ничему ты ненуженъ,

нигдѣ, ни для кого и ни въ чемъ ты не можешь сдѣлать ничего путнаго. Наконецъ, эти переливатели изъ пустого въ порожнее, эти восторженные Рудины, которые способны по цѣлымъ часамъ подрядъ, съ краснорѣчіемъ и горячностью, достойными лучшей участи, развивать свои возвышенныя мысли о чести, о долгѣ, о свободѣ,— и не только среди большого общества, въ салонѣ, но даже на простой ямской телѣгѣ, лишь бы было только кому слушать, лишь бы было только на кого смотрѣть,— развѣ эти безпочвенные говоруны, наивные, въ значительной степени неповинные сами то по себѣ въ своей пустозвонности краснобаи, — развѣ они могутъ быть названы людьми, за ними то развѣ можно пойти, на нихъ то развѣ можно положиться и ждать отъ нихъ дѣльнаго совѣта и настоящей поддержки? Остаются только „лучшіе", какъ ихъ называетъ Шубинъ, — остаются „Берсеневы"; но, вѣдь, и про нихъ Елена, какъ мы видѣли, справедливо говоритъ, что они въ сравненіи съ Инсаровыми „такіе маленькіе".

Да, среди окружавшихъ Елену лицъ, дѣйствительно, не было настоящихъ людей, да и не могло быть, потому что „не пришла пора", — и Шубинъ совершенно правъ, спрашивая Увара Ивановича: „Когда же наша придетъ пора? когда у насъ народятся люди?"—Дай срокъ, отвѣтилъ Уваръ Ивановичъ,—будутъ.

А самъ авторъ, самымъ заглавіемъ своей повѣсти, какъ бы хочетъ сказать намъ: „Мы наканунѣ появленія среди насъ настоящихъ людей".

Поэтому невольно является вопросъ: не слѣдуетъ ли искать этихъ „настоящихъ" людей въ „Отцахъ и дѣтяхъ" —романѣ, почти непосредственно слѣдовавшемъ за повѣстью „Наканунѣ"? Не должны ли мы видѣть въ Базаровѣ, этомъ безспорно крупнѣйшемъ явленіи изъ „дѣтей"—нашего русскаго человѣка „почвы и дѣла", у кото-

раго такъ же, какъ и у Инсарова, слово не расходится съ дѣломъ, который знаетъ, гдѣ быть и что ему дѣлать,— или же и на Базарова мы должны смотрѣть только, какъ на одного изъ выдающихся представителей переходнаго поколѣнія,—короче говоря: умерло ли „рудинство“ въ Базаровѣ?

Рѣшеніемъ этого вопроса мы займемся въ слѣдующей бесѣдѣ.

ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНІЕ.

„Отцы и дѣти“ и „Дымъ“—Тургенева.

Ни одно произведеніе И. С. Тургенева не возбудило столько самыхъ разнообразныхъ толковъ въ обществѣ, ни одно не причинило своему автору столькихъ огорченій и незаслуженныхъ нареканій, какъ его романъ „Отцы и дѣти“. Недовольны были „отцы“; еще болѣе почувствовали себя оскорбленными „дѣти“. И. С. Тургенева обвиняли въ отступничествѣ, прямо-таки въ клеветѣ на все молодое поколѣніе. Между прочимъ поэтому именно особенно любопытнымъ представляется рѣшить вопросъ: умерло ли „рудинство“ въ Базаровѣ? заслуживаетъ ли Базаровъ той энергичной, горячей защиты, съ которой ополчилась на Тургенева современная ему русская образованная молодежь.

Вспомнимъ, какими отличительными чертами характеризуется сущность нашего „рудинства“. Рудины—баричи, питомцы крѣпостничества, исковерканные, „вывихнутые“ искусственнымъ, тепличнымъ воспитаніемъ. Они почти совсѣмъ не знаютъ окружающей жизни; имъ неизвѣстны ея насущные нужды и запросы; они не знаютъ своего народа, не знаютъ Россіи, которая, — по справедливому выраженію Лежнева, — безъ насъ то обойдется, а мы то безъ нея не можемъ обойтись; ихъ образованіе преимущественно отвлеченнаго характера: у нихъ наука совершенно обособлена отъ жизни; ихъ занимаютъ почти исклю-

чительно отвлеченные вопросы, и поэтому они большіе охотники и мастера ораторствовать, логично, стройно развивать отвлеченныя мысли, — они люди преимущественно фразы, и, — по выраженію Рудина, — фраза заѣла ихъ: они только фразой и ограничиваются; они, — какъ выражается Елена, — обыкновенно лгутъ, въ томъ смыслѣ, что у нихъ слово расходится съ дѣломъ. Происходитъ же это потому, что они не находятъ себѣ дѣла въ окружающей жизни, не умѣютъ и не знаютъ, къ чему приложить свои силы и знанія. Не могутъ же этого сдѣлать потому, что не знаютъ самой жизни, они оторваны отъ нея и воспитаніемъ и образованіемъ; они люди безпочвенные, почти совершенно лишніе, безполезные для общества, а сами для себя обыкновенно становятся даже въ тягость, когда наступаетъ для нихъ время, въ которое они сознаютъ наконецъ свою непригодность и, подобно Щигровскому Гамлету, мучаются безплоднымъ ожесточеніемъ.

Теперь посмотримъ, имѣетъ ли съ этими существенными чертами „рудинства" какія-нибудь общія точки прикосновенія характеръ и вся личность Базарова. Заглавіе романа „Отцы и дѣти" какъ бы уже отвѣчаетъ отрицательно на этотъ вопросъ: самое сопоставленіе „отцовъ" и „дѣтей", чувствуемое противоположеніе послѣднихъ первымъ какъ бы заставляетъ насъ это предположить. Ближайшее же изученіе Базаровскаго типа, къ сожалѣнію, убѣждаетъ насъ въ совершенно противномъ, и на вопросъ: умерло ли „рудинство" въ Базаровѣ?—мы должны будемъ отвѣтить отрицательно: нѣтъ, не умерло.

Неужели же Базаровъ, этотъ отъявленный нигилистъ съ головы до ногъ, безсердечный сокрушитель лягушекъ и вѣрующій, — по словамъ П. П. Кирсанова, — только въ этихъ самыхъ лягушекъ,—человѣкъ, не признающій не только стиховъ, но и вообще поэзіи и искус-

ства, врагъ всякой фразы,—какъ онъ самъ объ этомъ говоритъ,—грубый матеріалистъ,—по крайней мѣрѣ, на словахъ, — по отношенію ко всему, что касается чувства, увлеченія, — неужели же этотъ Базаровъ тотъ же Рудинъ, не настоящій, не изломанный человѣкъ, человѣкъ слова, а не дѣла?

Вмѣсто отвѣта, — разберемся въ фактахъ, которые, какъ увидимъ, сами за себя говорятъ. Остановимся сначала на фактахъ положительнаго характера.

Прежде всего мы должны сказать, что Базаровъ не баричъ, — по крайней мѣрѣ, по происхожденію и обстановкѣ воспитанія. На слова П. П. Кирсанова: „Я не могу признать васъ за русскаго",—онъ отвѣчаетъ: „Мой дѣдъ землю пахалъ",—а Аркадію, на пути въ губернскій городъ, онъ говоритъ: „Я дьячковскій внукъ и лѣкарскій сынъ". Отецъ его былъ военнымъ докторомъ и всю свою жизнь велъ „бивуачную", какъ онъ самъ выражается, жизнь обыкновеннаго военнаго человѣка. „Мы вели бродячую жизнь; больше все по городамъ шлялись", говоритъ объ этомъ Базаровъ. Правда, Василій Ивановичъ женатъ былъ на столбовой дворянкѣ, которая знала, что „есть на свѣтѣ господа, которые должны приказывать, и простой народъ, который долженъ служить, а поэтому не гнушалась ни подобострастіемъ, ни земными поклонами"; правда также и то, что Вас. Ив. и самъ впиталъ въ себя нѣкоторыя свойства и взгляды баръ-крѣпостниковъ: у него за столомъ дворовый мальчикъ отгонялъ вѣткой мухъ; онъ по-барски расправлялся съ мужиками-пьяницами. Но, рядомъ съ этимъ, Арина Власьевна „ласково и кротко обходилась съ подчиненными", а Вас. Ив. уничтожилъ барщину, посадилъ крестьянъ на оброкъ и отдавалъ имъ работы исполу; мало того, онъ, — по его собственнымъ словамъ,—„старался по-возможности не зарости мохомъ, не отстать отъ вѣка", сознавалъ свои сла-

бости и, насколько позволяли его старыя силы и укоренившіяся привычки, боролся съ ними: онъ именно сознаетъ превосходство надъ собой сына, сознательно, искренно отдаетъ преимущество его направленію и даже стыдится своей отсталости. Несомнѣнно поэтому, что очень многое отдѣляетъ Базарова-отца отъ Кирсановыхъ, Лаврецкихъ,—отъ всѣхъ настоящихъ баръ-крѣпостниковъ. А изъ этого слѣдуетъ, что и обстановка воспитанія молодого Базарова не могла отличаться тѣми чертами барства, которыя, какъ мы видѣли, такъ гибельно дѣйствовали, напр., на Рудина. Къ тому же, въ имѣніи, т. е. среди настоящей крѣпостной обстановки, Базаровъ, какъ онъ самъ говоритъ, прожилъ всего два года.

Къ сожалѣнію, авторъ почти ничего не говоритъ намъ о первоначальномъ воспитаніи и образованіи Базарова, и мы можемъ, правда—съ большой вѣроятностью, но все-таки лишь предположительно судить о немъ по тому, что намъ извѣстно объ отцѣ Базарова, о той жизненной обстановкѣ, которая окружала его родителей. Это обычная обстановка служилаго и при томъ военнаго человѣка. Едва-ли будущаго нигилиста окружали въ дѣтствѣ гувернеры и гувернантки: во-первыхъ, Базаровъ непремѣнно бы упомянулъ какъ-нибудь въ своихъ бесѣдахъ съ Аркадіемъ,—хотя бы, напр., тогда, когда онъ вспоминаетъ о своемъ дѣдѣ по матери,—„какомъ-то, чертъ его знаетъ, секундъ-маіорѣ“. Мы нарочно привели это подлинное довольно рѣзкое выраженіе, чтобы убѣдительнѣе подтвердить наше предположеніе: если бы въ дѣтскихъ воспоминаніяхъ Базарова было мѣсто какимъ-нибудь M-me Розье или M-r Бопре, то, навѣрно, имъ досталось бы вмѣстѣ съ этимъ секундъ-маіоромъ. Далѣе, самое общественное положеніе Базарова-отца, его матеріальныя средства не даютъ права предполагать, чтобы онъ имѣлъ возможность окружить своего сына въ дѣтствѣ боннами и

гувернерами, держать его дома, давать ему барское, домашнее воспитаніе. Вѣроятно, Базаровъ ходилъ въ школу и прошелъ тотъ же самый подготовительный школьный путь, по которому идутъ всѣ дѣти такъ называемыхъ разночинцевъ. Этимъ Базаровъ уже существенно отличается отъ Лаврецкаго, а еще болѣе отъ Рудина.

Воспитываясь, такимъ образомъ, обыкновеннымъ, не тепличнымъ порядкомъ, посѣщая обыкновенную школу, ведя вмѣстѣ съ отцомъ „бродячую", какъ онъ самъ выражается, жизнь, Базаровъ, въ противоположность Рудину и Лаврецкому, естественно съ самаго дѣтства ближе стоялъ къ людямъ и жизни, непосредственно отъ нихъ заполучалъ тѣ впечатлѣнія, изъ которыхъ постепенно складывались его взгляды и понятія; онъ жилъ несравненно болѣе самостоятельной жизнью еще со школьной скамьи; онъ привыкалъ самостоятельно трудиться, зналъ, что такое трудъ, и не могъ не видѣть, какое значеніе имѣетъ онъ въ жизни; онъ невольно развивалъ въ себѣ практическое отношеніе къ жизни; въ немъ необходимо должно было складываться убѣжденіе о необходимости непосредственнаго участія человѣка въ самой жизни, о необходимости практическаго раціональнаго труда, благодаря которому, самая жизнь получаетъ свое разумное основаніе. Этотъ жизненный практицизмъ, это глубокое сознаніе необходимости для человѣка труда, серьезнаго дѣла, осмысленнаго серьезнаго занятія постепенно и прочно укрѣплялось въ юношѣ Базаровѣ, и этимъ, несомнѣнно, объясняется то, что въ университетѣ онъ принялся дѣйствительно за настоящее дѣло, за настоящую науку: онъ посвятилъ себя естествознанію, которое, какъ извѣстно, менѣе, чѣмъ что-нибудь другое, допускаетъ отвлеченности, а наоборотъ, требуетъ, такъ сказать, дѣлового къ себѣ отношенія—опыта, наблюденія.

Самыя занятія именно естествознаніемъ, которое чер-

паетъ свой матеріалъ изъ природы, изъ непосредственнаго наблюденія надъ ея жизнью, должны были укрѣплять въ Базаровѣ то сознаніе необходимости дѣла, труда, которое, какъ мы видѣли, складывалось въ немъ еще съ дѣтства: работа съ микроскопомъ, анализъ всевозможныхъ жизненныхъ процессовъ въ лабораторіи, постоянныя наблюденія надъ самой жизнью природы и человѣка, — все это, естественно, должно было придать, въ глазахъ Базарова, высокое значеніе точному знанію, основанному на дѣятельномъ, — и это особенно важно, — наблюденіи надъ самыми жизненными процессами, о которыхъ, вѣдь, естествоиспытатель, какъ мы знаемъ, судитъ не на основаніи отвлеченныхъ соображеній, не отвлеченно-философскимъ путемъ, а преимущественно при помощи осязаемаго прибора. Неудивительно поэтому, что Базарову все болѣе и болѣе должны были становиться чуждыми всевозможныя отвлеченно-философскія „словопренія", которыя въ большинствѣ случаевъ строятъ воздушные замки, мало имѣющіе отношенія къ окружающей дѣйствительности,—изъ него все болѣе и болѣе долженъ былъ вырабатываться человѣкъ дѣла, дѣятельнаго, раціональнаго труда, для котораго, какъ Базаровъ самъ выражается, важно, „что дважды два четыре, а остальное все пустяки".

На укрѣпленіе въ Базаровѣ этого дѣловитаго практицизма, конечно, должно было также вліять невольное наблюденіе надъ университетскимъ „рудинствомъ", которое въ его время далеко еще не ослабѣло среди молодежи. Сопоставляя точные, — такъ сказать, осязательные результаты, которые ему давалъ разумно-дѣятельный трудъ по естествознанію, — съ безплодными разглагольствованіями безпочвенныхъ студентовъ-ораторовъ, Базаровъ, конечно, долженъ былъ все больше и больше возмущаться, во-первыхъ, ихъ пустозвоннымъ краснобайствомъ, а во-вторыхъ, также и тѣмъ барствомъ, на почвѣ котораго оно

развилось. Это послѣднее особенно возмущаетъ будущаго земскаго лѣкаря. Самая рѣзкость,—пожалуй, даже нѣкоторая грубость въ пріемахъ разговора Базарова въ значительной степени объясняется именно тѣмъ, что ему опротивѣла та изысканная вѣжливость, мягкость и нѣжность, которыми въ великосвѣтскомъ, барскомъ обществѣ прикрывалась пустота и очень нерѣдко фальшь, совершенно иныя чувства и взгляды, нежели то, что должны были обозначать собою эти вѣжливость и мягкость.

Припомнимъ знаменитую „схватку" Базарова съ П. П. Кирсановымъ: она въ высшей степени характеристична для Базарова, какъ для человѣка, для котораго важнѣе всего дѣло, польза, а не слово, не фантазіи. „Схватка" возникла изъ-за того, что Базаровъ, когда однажды рѣчь зашла объ одномъ изъ сосѣднихъ помѣщиковъ, обозвалъ его „дрянью, аристократишкой". Пав. Петр., конечно, весь побѣлѣлъ и съ дрожащими губами, заявивъ сначала, что онъ либералъ и любитъ прогрессъ, началъ доказывать, что только въ аристократѣ развито чувство собственнаго достоинства, безъ котораго нѣтъ никакого прочнаго основанія общественному... bien public... общественному зданію... Аристократизмъ есть „принципъ", а безъ принциповъ могутъ жить только одни безнравственные или пустые люди". На это Базаровъ совершенно покойно, какъ бы даже посмѣиваясь надъ наивностью своего противника, замѣтилъ: „Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы,—подумаешь, сколько иностранныхъ... и безполезныхъ словъ! Русскому человѣку они даромъ не нужны. Вы вотъ, Пав. Петр., уважаете себя, и сидите, сложа руки; какая же отъ этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы дѣлали". Въ этомъ возраженіи Базарова, конечно, сказался сознательный, прочувствованный, глубоко продуманный протестъ противъ „словъ", однихъ только „словъ", и про-

тивъ всевозможныхъ отвлеченныхъ принциповъ, которыми обыкновенно переполняли свои рѣчи говоруны Рудины. Базарова совершенно справедливо возмутило то, что человѣкъ сорока съ чѣмъ-нибудь лѣтъ, съ хорошими матеріальными средствами, образованный, разглагольствуетъ о либерализмѣ, о прогрессѣ, о прочности основанія общественнаго зданія и въ то же время сидитъ, сложа руки, заботится только о своемъ англійскомъ сьюитѣ, о жесткости своихъ воротничковъ, о безукоризненности своихъ длинныхъ ногтей. Хотя Пав. Петр. и говоритъ Базарову: „Вы изволите находить смѣшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность, наконецъ,—но все это проистекаетъ изъ чувства самоуваженія, изъ чувства долга, да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнѣ, въ глуши, но я не роняю себя, я уважаю въ себѣ человѣка", — но вѣдь, эти слова по меньшей мѣрѣ смѣшны: неужели же только моднымъ англійскимъ сьюитомъ-сюртукомъ, лаковыми ботинками и длинными ногтями мы можемъ поддержать свое достоинство, не уронить въ себѣ человѣка? Базаровъ и возмущается этимъ именно потому, что все время, все вниманіе, весь трудъ человѣка сводится только на это глупое, безсмысленное обезьяничанье, чисто внѣшнее подражанье англичанамъ. Справедливо также возмущаетъ Базарова это пустозвонное бросаніе на вѣтеръ такихъ серьезныхъ словъ, какъ—прогрессъ, либерализмъ, принципы: вѣдь, Пав. Петр. сопровождаетъ эти слова только дымомъ рублевой гаванской сигары, которую онъ съ чисто англійскимъ аристократизмомъ держитъ между двумя пальцами; — вѣдь, дальше этого сигарнаго дыма онъ и пальцемъ не пошевелитъ, — вѣдь, все это только слова, слова и слова, какъ выражался въ минуты просвѣтлѣнія Рудинъ, — и эти слова черезъ какія-нибудь пять минутъ разсѣятся, какъ дымъ, не оставивъ по себѣ никакого слѣда.

Какъ бы ухватился за эти принципы тотъ же Рудинъ въ самый разгаръ своего „рудинства“,—хотя бы въ то время, когда онъ подвизался у Ласунской. Вотъ бы ужъ наговорилъ онъ по поводу этихъ принциповъ, вотъ бы ужъ пожалъ за это плоды восторженнаго удивленія къ себѣ со стороны своихъ поклонниковъ! Совершенно иначе относится къ нимъ Базаровъ и, на вопросъ Пав. Петровича: „Въ силу чего же вы дѣйствуете?“ — отвѣчаетъ: „Мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ“. Этими послѣдними словами опредѣляется значеніе той горячей враждебности, съ которою Базаровъ вообще нападаетъ на всякіе принципы: въ его раздраженіи, въ его рѣзкости слышится горечь, негодованіе на то, что великія слова — прогрессъ, свобода, долгъ и многія другія, обозначающія собою дѣйствительно важные жизненные принципы, такъ долго были пустыми звуками въ устахъ нашихъ доморощенныхъ баричей-либераловъ, истрепались, опошлились, совершенно выдохлись въ ихъ устахъ, не принося никому, нигдѣ и ни въ чемъ никакой пользы. Все только слова и одни только слова были: не было дѣла, не было пользы отъ этихъ словъ. И возмущаться этимъ Базаровъ имѣлъ право, потому что, во-первыхъ, онъ почти совсѣмъ неповиненъ въ пустозвонствѣ, а во-вторыхъ,— какъ справедливо выражается одинъ критикъ,—Базаровъ „собственноручно работаетъ для науки, носитъ камни для новаго зданія—храма вновь созидаемой вѣры—сознательной вѣры въ положительный, точный научный выводъ“.

Рядомъ съ этимъ понятнымъ становится въ устахъ Базарова—отрицаніе такъ называемыхъ „народныхъ преданій“, своего рода „патріархальныхъ принциповъ“, вѣками установившихся народныхъ воззрѣній и обычаевъ, изъ которыхъ очень многіе, безспорно, задерживаютъ народное развитіе, отличаясь невѣжественной косностью и прямо-таки вредною ложью. На восклицаніе Пав. Петро-

впча: „Русскій народъ не такой, какимъ вы его воображаете: онъ свято чтитъ преданія... онъ патріархальный",— Базаровъ отвѣтилъ такъ, что Пав. Петр. въ изумленіи пробормоталъ: „Стало-быть, вы идете противъ своего народа?"—А хоть бы и такъ?!—воскликнулъ въ свою очередь Базаровъ: народъ полагаетъ, что, когда громъ гремитъ, это Илья Пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что-жъ? Мнѣ согласиться съ нимъ?.. Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказалъ, что оно во мнѣ случайно, что оно не вызвано самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы ратуете?—И Базаровъ, конечно, правъ,—и особенно для своего времени. Развѣ мы не видимъ и до сихъ поръ еще, какъ эти „патріархальныя преданія" тяжелымъ гнетомъ отражаются на семьѣ, особенно на женщинѣ, нерѣдко тормозятъ правильное развитіе общества, являются источникомъ цѣлаго ряда грустныхъ явленій въ личной, семейной и общественной жизни? Да, Базаровское отрицаніе патріархальныхъ преданій несомнѣнно вызывалось духомъ самой народной жизни, косность которой въ значительной степени является слѣдствіемъ разнообразныхъ невѣжественныхъ предразсудковъ, характеризующихъ собою многія изъ этихъ народныхъ патріархальныхъ преданій. Въ своемъ отрицаніи Базаровъ стоитъ за свѣтлое, правильное, самостоятельное, разумное отношеніе къ жизни и ея явленіямъ; онъ вооружается противъ того гнета укоренившихся предразсудковъ, которыми сковывается свободное развитіе личности, задерживается установленіе правильныхъ отношеній въ семьѣ, въ обществѣ. То же самое трезвое, дѣловое отношеніе къ окружающей жизни сказывается и въ нападеніи его на указываемые Пав. Петровичемъ „принципы": Базаровъ желаетъ отъ нихъ пользы точно такъ же, какъ онъ желаетъ, чтобы патріархальныя преданія не вредили нашей жизни. Рудины же совсѣмъ не задавались вопросомъ о практической полезности и примѣни-

мости этихъ принциповъ къ запросамъ и нуждамъ дѣйствительной жизни: Рудиныхъ эти принципы занимали какъ бы сами по себѣ, они увлекались ихъ разъясненіемъ и отвлеченно-философскимъ развитіемъ, — для Рудиныхъ эти принципы не вызывались духомъ народной жизни, а извлекались готовыми изъ философскихъ трактатовъ, и въ этомъ отношеніи Рудины, конечно, уступаютъ Базарову.

Еще болѣе, — и на этотъ разъ уже вмѣстѣ съ Лаврецкими, — уступаютъ они тому же Базарову въ вопросѣ о личномъ счастьѣ. Припомнимъ, какъ относится къ этому вопросу Лаврецкій, какъ весь смыслъ жизни для него сосредоточивается именно въ этомъ вопросѣ; припомнимъ, какое серьезное значеніе придавалъ онъ своей неудачѣ устроить свое личное счастье, какъ его всего захватило, и даже на нѣсколько лѣтъ, мучительное чувство отравленной жизни, — какъ онъ „мыкался" по свѣту, не находя себѣ мѣста и не чувствуя себя въ состояніи приняться за какое-нибудь дѣло, — какъ онъ затѣмъ съ увлеченіемъ молодости ухватился за надежду добиться новаго личнаго счастья, совершенно забывъ и о тѣхъ слабыхъ попыткахъ взяться за дѣло, которыя онъ сдѣлалъ, нѣсколько придя въ себя отъ шатанья по итальянскимъ городамъ, — какъ, наконецъ, онъ, потерпѣвъ полную неудачу въ своихъ мечтахъ о счастьѣ съ Лизой Калитиной, хотя и принимается снова за дѣло, тѣмъ не менѣе считаетъ себя догорающимъ старикомъ, — и только потому, что ему не удалось устроить свое личное счастье. Правда, когда Лаврецкій, — по его выраженію, — очутился „на днѣ рѣки" у себя въ Васильевскомъ, въ немъ заговорилъ было здравый смыслъ, и онъ думалъ: „На женскую любовь ушли мои лучшіе годы; пусть же вытрезвитъ меня здѣсь скука", — но это было лишь мимолетное сознаніе, были только одни слова. Почти то же самое говоритъ Базаровъ по отношенію къ Павлу Петровичу: „Че-

ловѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакій человѣкъ—не мужчина". И Базаровъ не только говоритъ это, но сообразно именно съ этимъ и самъ поступаетъ по отношенію къ Одинцовой.

Вѣдь, Базаровъ, несомнѣнно, любилъ Одинцову. Какъ онъ самъ ни открещивается отъ того, чтобы сознаться въ этомъ даже самому себѣ, особенно въ началѣ своего знакомства съ Анной Сергѣевной, тѣмъ не менѣе онъ любилъ ее и мучился отъ нераздѣленной любви. Объ этомъ „открещиваніи" Базарова отъ своей способности испытать какое-нибудь нѣжное чувство мы поговоримъ дальше, особо, а теперь посмотримъ, какъ онъ считается со своимъ взволнованнымъ и огорченнымъ неудачею сердцемъ. Во-первыхъ, онъ всячески старается бороться со своимъ чувствомъ. „Это чувство",—говоритъ авторъ,—„мучило и бѣсило его, и онъ тотчасъ же отказался бы отъ него съ презрительнымъ хохотомъ, если бы кто-нибудь, хотя отдаленно, намекнулъ ему на возможность того, что въ немъ происходило... Въ разговорахъ съ Анной Сергѣевной онъ старался выказывать равнодушное презрѣніе ко всему романтическому, а, оставшись наединѣ, съ негодованіемъ сознавалъ въ самомъ себѣ романтика... Онъ ловилъ себя на „постыдныхъ" мысляхъ и, только рѣшительно вызванный самой Одинцовой, сказалъ: „Знайте же, что я люблю васъ, глупо, безумно... Вотъ чего вы добились".

Рудинъ, вѣдь, поступалъ совершенно наоборотъ. Немногимъ, пожалуй, лучше велъ себя и Лаврецкій по отношенію къ Лизѣ.

Далѣе, несомнѣнно охваченный серьезнымъ чувствомъ къ Одинцовой, внутренно страдающій отъ его безнадежности, Базаровъ тѣмъ не менѣе не отдается, подобно Ла-

врецкому, своему личному горю, не хнычетъ, не стонетъ, не носится съ своей сердечной неудачей, борется съ своей грустью, а главное—не теряетъ свойственнаго себѣ взгляда на трудъ, на занятіе наукой, какъ на главное содержаніе жизни, какъ на то, что придаетъ жизни истинное, серьезное значеніе. Вернувшись къ Кирсановымъ въ Марьино послѣ краткаго предпослѣдняго свиданія съ Одинцовой, Базаровъ тотчасъ же принялся за своихъ лягушекъ, за инфузоріи, за химическіе составы, и все возился съ ними, а по отъѣздѣ Аркадія къ Одинцовой окончательно уединился: на него нашла лихорадка работы. Въ послѣднее свое свиданіе съ Одинцовой,—по дорогѣ къ отцу,—Базаровъ, окончательно убѣдившись въ томъ, что Анна Сергѣевна не можетъ его полюбить, вотъ что сказалъ, прощаясь: „Я нахожу, что я ужъ и такъ слишкомъ долго вращался въ чужой для меня сферѣ. Летучія рыбы нѣкоторое время могутъ держаться на воздухѣ, но вскорѣ должны шлепнуться въ воду; позвольте же и мнѣ плюхнуться въ мою стихію". А пріѣхавъ къ отцу, онъ заявилъ ему: „Я къ тебѣ на цѣлыхъ шесть недѣль пріѣхалъ: я работать хочу". И онъ дѣйствительно принялся опять за свои опыты, а потомъ сталъ помогать отцу лѣчить крестьянъ.

Какъ все это мало похоже на Лаврецкаго, и насколько Базаровъ въ этомъ отношеніи переросъ и его и Рудина,—да и не въ одномъ вопросѣ о личномъ счастьѣ, а, какъ мы видѣли до сихъ поръ, и во многомъ другомъ.

Но картина совершенно перемѣнится, когда мы остановимся теперь на отрицательныхъ чертахъ въ характерѣ Базарова. Начнемъ хотя бы съ того же самаго отношенія его къ Одинцовой. Мы, вѣдь, достаточно убѣдились въ томъ, что Базаровъ дѣйствительно любитъ Одинцову: совершенно довольно еще припомнить только его предсмертное желаніе увидѣть Анну Сергѣевну и ту радость,

съ которою онъ, уже совсѣмъ умирающій, привѣтствовалъ ее на своемъ смертномъ одрѣ,—а между прочимъ, какъ онъ упрямо высказываетъ мнѣніе, что любовь—это только форма, что мысли о любимой женщинѣ, это—„постыдныя" мысли,—что женщина можетъ нравиться, можетъ привлекать къ себѣ, только какъ женщина, а не какъ человѣкъ, способный возбудить къ себѣ глубокое, сильное, нѣжное и вмѣстѣ съ тѣмъ возвышенное чувство. „Что за таинственныя отношенія между мужчиной и женщиной? загадочные взгляды?"—говоритъ онъ Аркадію: „Ты проштудируй-ка анатомію глаза: откуда тутъ взяться этому загадочному взгляду?" А какъ онъ боится, именно боится, чтобы какъ-нибудь не догадался кто-нибудь, что онъ любитъ; какъ онъ стыдится этого даже передъ самимъ собою, и стыдится вовсе не потому, что въ его поведеніи было что-нибудь нехорошее,—нѣтъ, а просто потому, что, не смотря ни на какія его старанія,—совершенно законное, естественное, истинно-человѣческое, чистое, глубокое чувство пробивается-таки сквозь искусственную броню, которою онъ старается окружить себя. И къ чему? зачѣмъ? Развѣ мы не чувствуемъ искусственности этой брони; развѣ мы, смотрящіе на Базарова со стороны, не понимаемъ, что все это напускное; развѣ все это говоритъ въ пользу Базарова? развѣ это даетъ намъ возможность признать въ немъ человѣка естественнаго, неизломаннаго, дѣйствующаго прямо, открыто, не старающагося облечься въ какой-то особый костюмъ, какъ въ свое время Онѣгинъ такъ же смѣшно драпировался въ Гарольдовъ плащъ Байрона?

Едва-ли кто изъ насъ сомнѣвается въ томъ, что Базаровъ любитъ своего отца и мать. Первый проблескъ, хотя и старательно скрываемый отъ послушнаго ученика, поклонника и наивнаго подражателя, т. е. отъ Аркадія,

мы видимъ въ слѣдующихъ словахъ Базарова, которыми онъ объясняетъ свой первый отъѣздъ отъ Кирсановыхъ: „Надо къ отцу проѣхать: я его давно не видалъ, и мать тоже; надо стариковъ потѣшить. Они у меня люди хорошіе, особенно отецъ: презабавный. Я же у нихъ одинъ". А когда онъ съ Аркадіемъ ѣхалъ затѣмъ уже изъ губернскаго города въ усадьбу къ Одинцовой, то, вспомнивъ, что это былъ какъ разъ день его именинъ, онъ сказалъ, понизивъ голосъ: „Сегодня меня дома ждутъ..."— но сейчасъ же какъ будто бы испугался того, что онъ проговорился, что, чего Боже упаси, замѣтятъ въ немъ дѣйствительно любовь къ „презабавному старику", который ему приходится нѣсколько сродни, и Базаровъ, съ убѣжденіемъ въ серьезности того, что онъ сейчасъ скажетъ, говоритъ: „Ну, подождутъ, что за важность". У Одинцовой, выйдя къ неожиданно появившемуся отцовскому приказчику Тимоѳеичу, Базаровъ, вѣроятно не видя вокругъ себя никого постороннихъ, кромѣ развѣ обыкновенной прислуги, прежде всего спрашиваетъ Тимоѳеича, не за нимъ ли, Евгеніемъ Васильевичемъ, прислали старики, здоровы-ли они,—„и ждутъ меня небось?" прибавилъ онъ, очевидно захваченный мыслью о томъ, что старики не могутъ дождаться его. Тимоѳеичъ, съ своей стороны какъ бы почувствовавъ это и обрадовавшись за этихъ самыхъ стариковъ, воскликнулъ: „Ахъ, Евгеній Васильевичъ, какъ не ждать-то-съ! Вѣрите-ли Богу, сердце изныло, на родителей на вашихъ глядючи". Эти искреннія, горячія слова простого, добраго сердца какъ бы пояснили Базарову, что́ выражаютъ собою его собственныя слова „ждутъ меня небось?"—онъ тотчасъ же какъ бы устыдился этихъ словъ, а главное—того чувства, которое невольно заговорило въ его сердцѣ,—и тутъ же рѣзко оборвалъ Тимоѳеича: „Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи имъ, что скоро буду".—Слушаюсь-съ,

со вздохомъ отвѣтилъ Тимоѳеичъ. Конечно, безсознательно, но этимъ вздохомъ Тимоѳеичъ какъ бы говоритъ Базарову: „Эхъ, Евгеній Васильевичъ! что это вы, батюшка, напускаете-то на себя?! Вѣдь, хочется вамъ повидать своихъ старичковъ-то,—вѣдь, чувствуете вы, что любятъ они васъ, что одни вы у нихъ?! Чего же вы словно боитесь кого, чтобы не спознали кто про вашу любовь-то къ отцу-къ матери? И ихъ-то жаль, да и васъ-то, признаться, тоже жаль". — Мы, конечно, отъ всей души присоединяемся къ этимъ мыслямъ, которыя могли быть на сердцѣ этого добраго, преданнаго слуги.

Но вотъ Базаровъ наконецъ въ родномъ домѣ. На каждомъ шагу его окружаетъ робкая, но глубокая, горячая любовь его стариковъ; онъ чувствуетъ на себѣ ихъ любящій взоръ; вездѣ и во всемъ онъ видитъ ихъ опять-таки робкое желаніе сдѣлать, что только въ ихъ силахъ, пріятное для него;—онъ не можетъ всего этого не видѣть и не чувствовать. И вотъ, когда Аркадій, во время разговора о прошломъ Базарова,—о томъ, какъ относились и относятся къ нему его родители, спросилъ: „Ты ихъ любишь, Евгеній?"—Базаровъ тотчасъ же горячо отозвался: „Люблю, Аркадій!"—и въ этомъ одномъ словѣ сказалось дѣйствительно настоящее чувство, и оно вполнѣ заслужено этими добрыми, милыми, сердечными стариками. Какъ они любятъ своего Енюшу! какъ эта любовь сказывается даже въ той робости, съ которой они, зная характеръ своего сына, позволяютъ себѣ внѣшнимъ образомъ проявлять свою любовь къ нему. Говоритъ-ли о матери, о этой захолустной кругленькой, низенькой старушкѣ въ бѣломъ чепцѣ и короткой пестрой кофточкѣ, за которую извиняется передъ Аркадіемъ Базаровъ-отецъ, даже шаркнувъ слегка ногой: „Вы понимаете",—говоритъ онъ,—„женская слабость: ну, и сердце матери..." —А у самого-то, у этого твердаго мужчины,—прибавляетъ

авторъ,—и губы, и брови дергало, и подбородокъ трясся... Вотъ сидитъ эта низенькая старушка, подперши кулачкомъ свое круглое лицо, за первымъ обѣдомъ, который она состряпала въ честь своего Енюшеньки: она не сводитъ глазъ съ сына и все вздыхаетъ. Ей смертельно хочется узнать, на сколько времени онъ пріѣхалъ,—да боится, бѣдная, спросить Енюшу. „Ну, какъ скажетъ: на два дня!“ — думала она, и сердце у нея замирало. А въ какой восторгъ пришла она, когда Евгеній во второй разъ пріѣхалъ домой: она до того переполошилась и убѣгалась по дому, что Вас. Ив. сравнилъ ее съ „куропаточкой“; ему даже пришлось на этотъ разъ удерживать жену „отъ всякихъ лишнихъ изъявленій нѣжности“. И большого труда стоило бѣдной Аринѣ Власьевнѣ удерживать свое материнское сердце; не утерпитъ она и скажетъ бывало за столомъ: „Енюшенька!“—а тотъ еще не успѣетъ оглянуться, какъ она уже перебираетъ шнурками ридикюля и лепечетъ: „Ничего, ничего, я такъ“,—а потомъ отправится къ Вас. Ивановичу и говоритъ ему, подперши щеку: „Какъ бы, голубчикъ, узнать, чего Енюша желаетъ сегодня къ обѣду: щей или борщу?“ Трудно передать ея отчаяніе, когда она узнала, что Евгеній опасенъ: она все забыла и по цѣлымъ днямъ сидѣла на низенькой скамеечкѣ возлѣ его двери, повременамъ только уходя къ себѣ въ комнату молиться. Не меньшее отчаяніе охватило и старика-отца. Что-же мудренаго въ этомъ? Вѣдь, Вас. Ив., только исполняя свой мужской долгъ, толкуетъ о женской слабости Арины Власьевны, а у самого у него нисколько не слабѣе бьется сердце за своего Енюшку. Припомнимъ, съ какимъ восторгомъ говоритъ онъ о немъ съ Аркадіемъ, который съ не меньшимъ восторгомъ разсказываетъ о своемъ знакомствѣ съ Евгеніемъ и о томъ, какая будущность ожидаетъ его, какъ онъ выражается, знаменитаго друга:

Вас. Ив. его слушалъ, слушалъ, сморкался, каталъ платокъ въ обѣихъ рукахъ, кашлялъ, ерошилъ свои волосы и, наконецъ, не вытерпѣлъ: нагнулся къ Аркадію и поцѣловалъ его въ плечо. „Вы меня совершенно осчастливили",—промолвилъ онъ, не переставая улыбаться —„и я долженъ вамъ сказать, что я... боготворю моего сына... и не только боготворю его, я горжусь имъ..." И дѣйствительно, Вас. Ив.,—правда, наивно, но искренно, горячо гордился своимъ сыномъ —„Да, да",—говорилъ онъ какой-нибудь бабѣ, вручая ей стклянку Гулярдовой воды: „ты, бабушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сынъ мой у меня гоститъ: по самой научной и новѣйшей методѣ тебя лѣчатъ теперь, понимаешь ли ты это! Императоръ французовъ, Наполеонъ, и тотъ не имѣетъ лучшаго врача". Баба на это, конечно, только кланялась и ничего не понимала; но, вѣдь, Вас. Ив. не для нея это и говорилъ, а говорилъ для своего собственнаго сердца, которое было переполнено благородною гордостью за сына.- „Вы посмотрите, что за корни!" восклицалъ онъ, показывая отцу Алексѣю выдернутый Базаровымъ у заѣзжаго торговца самый обыкновенный зубъ: „этакая сила у Евгенія! краснорядецъ такъ на воздухъ и поднялся... мнѣ кажется, дубъ,—и тотъ бы вылетѣлъ вонъ!" И такъ сильно любя, такъ гордясь своимъ сыномъ, такъ горячо мечтая о его будущей славѣ, Вас. Ив. неожиданно долженъ былъ лишиться его. Именно невозможно описать его отчаянія. Припомните, что произошло со старикомъ, когда онъ убѣдился, что Евгеній зараженъ труднымъ ядомъ; припомните, какъ онъ настойчиво старался увѣрять себя, что наступилъ кризисъ,—съ какимъ ужаснымъ отчаяніемъ „рухнулся онъ на колѣни передъ образами" и, не будучи больше въ состояніи даже оберегать отъ удара несчастную мать, простоналъ: „Молись, Арина, молись! нашъ сынъ уми-

раетъ!"—съ какимъ именно наивнымъ восторгомъ, потому что онъ, какъ самъ докторъ, прекрасно зналъ безнадежное положеніе сына,—встрѣчаетъ онъ Одинцову, когда она пріѣхала въ сопровожденіи своего доктора къ умирающему Базарову: „Благодѣтельница!" восклицаетъ Вас. Ив. и, схвативъ ея руку, судорожно прижалъ ее къ своимъ губамъ: „Живъ еще, живъ мой Евгеній, и теперь будетъ спасенъ! Жена! жена!.. къ намъ ангелъ съ неба..." Но этотъ ангелъ не спасъ, какъ мы знаемъ, преждевременно погибавшаго,—и несчастные старики, охваченные безсильнымъ ропотомъ, пали ницъ передъ иконами: „Такъ рядышкомъ и попурили свои головки, словно овечки въ полдень..."— разсказывала про нихъ потомъ въ людской Анфисушка.

Таковы старики Базаровы. Можно безъ преувеличенія сказать, что въ нашей литературѣ трудно еще указать другую пару добрыхъ, сердечныхъ стариковъ—отца и мать, которые были бы такъ же художественно изображены. Они достойны стоять рядомъ съ Пушкинскими супругами Мироновыми.

Можно-ли было не любить этихъ добрыхъ, сердечныхъ стариковъ ихъ единственному сыну? И онъ любилъ ихъ: мы видѣли это, видимъ и въ послѣднія минуты его жизни. Чѣмъ же, какъ не любовью, можно объяснить то, что этотъ великій отрицатель и матеріалистъ указываетъ отцу искать утѣшенія въ религіи: „Вы оба съ матерью",—говоритъ онъ,—„должны теперь воспользоваться тѣмъ, что въ васъ религія сильна. Вотъ вамъ случай поставить ее на пробу". Чѣмъ же, какъ не тою же любовью, объясняется и та заботливость, съ которою онъ пытается хотя нѣсколько облегчить ожидающее ихъ несчастіе? Въ своей предсмертной бесѣдѣ съ Одинцовой онъ говоритъ между прочимъ: „Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человѣка Россія теряетъ... Это—чепуха; но не

разувѣряйте старика... И мать приласкайте. Вѣдь, такихъ людей, какъ они, въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать". Это были послѣднія слова, обращенныя Базаровымъ къ отцу и матери, и въ нихъ прекрасно сказалось его глубокое чувство къ нимъ. А между тѣмъ, какъ онъ все время старался какъ бы подавить въ себѣ проявленіе этого чувства,—какъ онъ боялся, чтобы оно какъ-нибудь не стало замѣтнымъ для другихъ,—какъ онъ, просто, стыдился его, какъ будто бы это было что-нибудь унижающее его достоинство.—И къ чему это? и зачѣмъ?—повторимъ мы свой вопросъ и невольно опять вспомнимъ вздохъ Тимоѳеича и тѣ мысли, которыя должны были прійти ему въ голову,—невольно, слѣдуя ему, скажемъ: „И что это вы, батюшка Евг. Вас., напускали все время на себя?! Вѣдь, видно же, что вы не въ себѣ, не тотъ, что на самомъ-то дѣлѣ,—вѣдь, видно, что вамъ нравится играть въ какую-то яко-бы безчувственность, грубость и матеріальность. Такъ и хочется сказать вамъ: бросьте! будьте настоящимъ человѣкомъ, естественнымъ, неизломаннымъ. Вѣдь, этимъ ломаньемъ вы приближаетесь къ Дм. Ник. Рудину: вѣдь, онъ тоже всю свою жизнь какую-то роль старался играть, хотя и безсознательно; а вы-то дѣлаете это, пожалуй, даже сознательно,—и тѣмъ хуже для васъ".

Та же самая неестественность, натянутая искусственность, какъ бы преднамѣренное желаніе высказывать непремѣнно крайніе взгляды сказывается и во всемъ томъ, что Базаровъ говоритъ о поэзіи, объ искусствѣ, о красотахъ природы и возможности наслаждаться ими. Несомнѣнной односторонностью отличается слѣдующій взглядъ Базарова, который онъ высказываетъ въ спорѣ съ Павломъ Петровичемъ: „Порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта". Невольно вспоминаешь при этомъ извѣстную басню Крылова „Пушки и паруса"

и скажешь: въ глазахъ настоящаго человѣка,—и химикъ и поэтъ одинаково полезные и необходимые члены каждаго благоустроеннаго общества: каждый изъ нихъ вноситъ свою лепту въ сокровищницу общественной мысли и общественнаго благополучія. Въ отвѣтъ на это заявленіе Базарова Павелъ Петровичъ, приподнявъ отъ удивленія брови, спросилъ: „Вы, стало быть, искусства не признаете?"—„Искусство наживать деньги, или нѣтъ болѣе сидячей болѣзни!"—воскликнулъ на это Базаровъ съ презрительной усмѣшкой. А что это не просто шутка, какъ показалось, по крайней мѣрѣ, Павлу Петровичу, можно видѣть изъ извѣстной уже намъ „схватки" между Базаровымъ и тѣмъ же Павломъ Петровичемъ. Характеризуя „заразу", которая охватила всю современную молодежь, Павелъ Петровичъ между прочимъ говоритъ: „Мнѣ сказывали, что въ Римѣ наши художники въ Ватиканъ ни ногой. Рафаэля считаютъ чуть не дуракомъ, потому что это, молъ, авторитетъ; а сами безсильны и безплодны до гадости. По-вашему, они молодцы, не правда-ли?" Базаровъ на это невозмутимо отвѣчаетъ: „По-моему, Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ; да и они не лучше его". Очень энергично, рѣшительно, опредѣленно и смѣло, но, конечно, по меньшей мѣрѣ—наивно, ежели не сказать—дѣтски-задорно и невѣрно. Послѣ такого рѣшительнаго отзыва о Рафаэлѣ и вообще объ искусствѣ насъ уже не удивитъ отношеніе Базарова къ природѣ, къ ея красотамъ. Сраженный рѣшительнымъ приговоромъ своего друга и наставника—„Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки",—Аркадій, задумчиво глядя вдаль на пестрыя поля, красиво и мягко освѣщенныя уже невысокимъ солнцемъ, проговорилъ: „И природа—пустяки?"—„Да, и природа—пустяки, въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее понимаешь. Природа—не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней—работникъ", отвѣтилъ

Базаровъ. А мы скажемъ на это: природа дѣйствительно мастерская, и человѣкъ въ ней дѣйствительно работникъ: онъ работаетъ надъ изслѣдованіемъ этой самой природы, съ цѣлью подчинить ее себѣ, и работаетъ именно, какъ въ мастерской, вооруженный всевозможными приборами. Но въ то же время природа несомнѣнно и храмъ, храмъ красоты, гармоніи, которая разлита и въ неприступныхъ альпійскихъ громадахъ, и въ необозримомъ просторѣ океана, и въ маленькомъ лѣсномъ ручейкѣ, и въ волнующемся поспѣвающимъ хлѣбомъ полѣ. И настоящій, непредубѣжденный, неизломанный какими-нибудь особенными взглядами человѣкъ входитъ въ этотъ храмъ природы, чтобы наслаждаться красотой и гармоніей, очиститься, облагородиться подъ ея благотворнымъ вліяніемъ, научиться понимать красоту, съ тѣмъ между прочимъ, чтобы передать ее другимъ, напр.—въ художественныхъ созданіяхъ слова, какъ именно и дѣлаетъ нашъ писатель хотя бы въ одномъ изъ лучшихъ въ этомъ отношеніи разсказовъ въ „Запискахъ охотника"—„Лѣсъ и степь". Въ другой разъ, именно у себя дома, когда Василій Ивановичъ, нечаянно натолкнувшись на сына и его пріятеля, лежавшихъ подъ стогомъ, сказалъ имъ: „Вы отличное выбрали мѣсто и прекрасному предаетесь занятію: лежа на землѣ, глядѣть въ небо... Знаете-ли, въ этомъ есть какое-то особое значеніе!"—Базаровъ на это проворчалъ: „Я гляжу въ небо только тогда, когда хочу чихнуть". Сказано, конечно, довольно оригинально и съ достаточнымъ тономъ насмѣшки надъ возможностью находить прекрасное въ природѣ и наслаждаться имъ; но опять-таки мы невольно чувствуемъ неестественную крайность взгляда, чувствуемъ, что авторъ этихъ словъ, можетъ быть даже безсознательно въ данный моментъ, уже по привычкѣ, непремѣнно хочетъ казаться кѣмъ-то другимъ, хочетъ выставить это свое равнодушіе къ красотамъ

природы и при томъ выразить его какъ можно рѣзче. И опять мы спросимъ: къ чему это? зачѣмъ? Развѣ это опять не ломанье? развѣ не такое же насиліе надъ чувствомъ, свойственнымъ всякому нормальному, неизломанному человѣку, какое мы видѣли въ томъ же Базаровѣ по отношенію его къ родителямъ?

Но можно возразить: положимъ, въ Базаровѣ чувствуется желаніе, и довольно настойчивое, быть чѣмъ-то, казаться чѣмъ-то, чувствуется именно вслѣдствіе этого неестественное, почти, можно сказать, фальшивое отношеніе къ окружающему; но все это съ излишкомъ искупается тѣмъ, что онъ не говорунъ, а человѣкъ дѣла; онъ говоритъ, что „природа—мастерская, а человѣкъ въ ней—работникъ",—и дѣйствительно поступаетъ такъ: онъ работаетъ надъ природой, серьезно, съ увлеченіемъ изслѣдуетъ ея законы,—онъ человѣкъ дѣла, а не слова. Повидимому, противъ этого ничего нельзя возразить,—но это только такъ кажется съ перваго взгляда.

Разбирая „рудинство", мы указали, какъ на одну изъ наиболѣе характерныхъ чертъ этого типа людей,—ихъ отчужденность отъ нуждъ и запросовъ окружающей дѣйствительной жизни; мы видѣли, что они стоятъ особнякомъ отъ нея, въ своей особенной сферѣ; ихъ умственная работа не имѣетъ непосредственной связи съ жизнью, не вытекаетъ изъ нея и не вызывается ею. И въ этомъ отношеніи имъ совершенно противоположенъ Инсаровъ: мы видѣли, какая тѣсная связь существуетъ не только между его дѣятельностью, но и между всей его личной жизнью и родиной, освобожденію и духовному обновленію которой онъ посвятилъ всѣ свои силы; мы не забыли, конечно, его въ высшей степени характерныхъ въ этомъ случаѣ словъ: „Послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я—мы желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль". Ничего подобнаго Рудинъ, конечно,

не имѣлъ-бы права сказать. Посмотримъ теперь, имѣетъ ли на это право Базаровъ: къ кому онъ ближе: къ Рудину или къ Инсарову?

Чѣмъ занятъ Базаровъ? какую цѣль онъ себѣ ставитъ? какъ онъ относится къ окружающей жизни и людямъ,—связанъ-ли онъ съ ними такъ, какъ связанъ Инсаровъ?

На вопросъ Павла Петровича,—занимается-ли Базаровъ физикой,—тотъ отвѣчаетъ: „Физикой, да; вообще естественными науками". И онъ дѣйствительно все время возится съ лягушками, инфузоріями, микроскопомъ и ланцетомъ. Съ какою цѣлью? Изъ знаменитаго разговора Базарова съ деревенскими мальчишками, закончившагося слѣдующимъ выводомъ одного изъ нихъ: „Васька, слышь, баринъ говоритъ, что мы съ тобой тѣ же лягушки... Чудно!"—мы уже получаемъ понятіе о цѣли, съ которою Базаровъ пластаетъ лягушекъ: „чтобы не ошибиться", говоритъ онъ одному изъ мальчиковъ,—„если ты занеможешь, и мнѣ придется лѣчить тебя". Въ разговорѣ съ Аркадіемъ, на пути къ Одинцовой, онъ прямо говоритъ: „Я будущій уѣздный лѣкарь". Аркадій же, разсказывая о Базаровѣ своему отцу, говоритъ, что Евгеній готовится къ экзамену на доктора медицины. Итакъ, Базаровъ занимается серьезнымъ дѣломъ и стремится къ серьезной цѣли; и самое дѣло и цѣль,—если судить только по тому, что говоритъ о нихъ Базаровъ,—заслуживаютъ такого же уваженія, какъ и то, чѣмъ былъ поглощенъ Инсаровъ: Базаровъ отдаетъ свои силы и способности изученію науки съ цѣлью впослѣдствіи приходить на помощь страждущему человѣчеству,—и, конечно, всѣмъ этимъ онъ стоитъ неизмѣримо выше Рудина.

Но не будемъ спѣшить дѣлать именно это заключеніе, а обратимъ сначала вниманіе на слѣдующіе факты. Базаровъ кончаетъ или, можетъ быть, даже кончилъ

курсъ университета,—онъ даже готовится уже къ экзамену на доктора медицины; слѣдовательно, онъ уже обладаетъ серьезнымъ запасомъ знаній и, по крайней мѣрѣ, клинической опытности, что заставляетъ предположить та серьезность, съ которою онъ относится къ своимъ занятіямъ. А разъ это такъ, то, конечно, Базаровъ имѣлъ полную возможность, по крайней мѣрѣ въ извѣстныхъ предѣлахъ, требуемыхъ осторожностью, — скажемъ: малоопытностью, — все-таки же примѣнять на практикѣ, хотя бы къ тѣмъ же Кирсановскимъ крестьянамъ или къ своимъ же Базаровскимъ, — тѣ знанія, которыми онъ уже обладалъ. Во всякомъ случаѣ, онъ, серьезно слѣдившій за университетской наукой, серьезно работавшій надъ самостоятельными изслѣдованіями, могъ принести несравненно большую пользу, нежели доморощенные лѣкаря-помѣщики и помѣщицы, врачующіе по Леухинскимъ лѣчебникамъ съ Никольской изъ Москвы. А между тѣмъ, у Кирсановыхъ въ Марьинѣ Базаровъ ни единаго разу не подалъ никому,—исключая только Фенечкинаго ребенка,—никакой медицинской помощи; онъ по цѣлымъ днямъ бродилъ по болотамъ за лягушками и инфузоріями, возился въ своей комнатѣ со всевозможными препаратами и не обращалъ никакого вниманія на больныхъ крестьянъ, которые, вѣроятно, какъ это и теперь еще бываетъ, приходили со своими недугами на барскій дворъ. Появилась даже холера въ то время въ окрестностяхъ Марьина и „даже выдернула двухъ людей изъ самаго Марьина", а Базаровъ все-таки продолжалъ упорно стоять за своимъ микроскопомъ. Также и у себя дома онъ только посмѣивался надъ своимъ отцомъ, который, какъ умѣлъ, помогалъ именно безпомощнымъ, и даже въ наше еще время, деревенскимъ больнымъ. Только когда Базарова охватила тоска, онъ, именно ради развлеченія, принималъ иногда участіе въ

практикѣ отца, и мы видѣли, какъ онъ, напр., вырвалъ зубъ у проѣзжаго краснорядца,—но это, повторяемъ, отъ скуки, а вовсе не потому, что онъ дѣйствительно чувствовалъ потребность прійти на помощь страдавшимъ.

— Но позвольте,—возразятъ намъ: вѣдь Базаровъ же умеръ, заразившись отъ тифознаго?!—Это вѣрно; но дѣло-то было вотъ какъ: „Однажды", — разсказываетъ авторъ,—„мужичекъ сосѣдней деревни привезъ къ Васил. Иван. своего брата, больного тифомъ. Вас. Ив. объявилъ, что спасенія нѣтъ, и мужичекъ дѣйствительно умеръ въ телѣгѣ на обратномъ пути. Дня три спустя, Базаровъ вошелъ къ отцу въ комнату и спросилъ, нѣтъ ли у него адскаго камня, чтобы ранку прижечь, а затѣмъ объяснилъ дѣло такъ: „Я сегодня ѣздилъ въ деревню, — знаешь, откуда тифознаго мужика привозили. Они почему-то вскрывать его сибирались, а я давно въ этомъ не упражнялся... ну, и поранился". Базаровъ, стало-быть, погибъ жертвой науки: для него тифозный мужикъ былъ такимъ же научнымъ матеріаломъ, какъ инфузоріи изъ Кирсановскихъ болотъ,—въ немъ онъ видитъ только трупъ, а не человѣка, которому онъ хотѣлъ бы помочь. Мы безъ преувеличенія можемъ сказать, что Базаровъ занимался наукой ради самой науки; своими научными изслѣдованіями онъ такъ же лишь удовлетворялъ жажду знанія, какъ Рудинъ и Лаврецкій,—особенно первый, перечитывая цѣлыя собранія сочиненій нѣмецкихъ философовъ и спеціалистовъ-ученыхъ. Хотя Базаровъ и не одинъ разъ говоритъ, что онъ будетъ уѣзднымъ лѣкаремъ, но очень трудно предположить, чтобы онъ, такъ сказать, слился душой съ страждущимъ человѣчествомъ, чтобы онъ вдохновлялся искреннимъ, глубокимъ желаніемъ дѣятельно помочь ему своими знаніями, — чтобы въ его сердцѣ находилъ горячій откликъ тотъ самый безпомощный больной, у постели котораго должно быть его мѣсто. Мы въ этомъ оконча-

тельно убѣдимся, когда посмотримъ теперь, какъ Базаровъ относится вообще къ окружающимъ его людямъ,— въ частности: къ народу, къ этой безпомощной, особенно въ его-то время, народной массѣ, — къ жизни вообще.

Правда, авторъ говоритъ намъ, что не прошло и двухъ недѣль со времени пріѣзда Базарова въ Марьино къ Кирсановымъ, какъ всѣ слуги уже привязались къ нему: они чувствовали, что онъ все-таки „свой братъ", не баринъ; усовершенствованный слуга Петръ ухмылялся и свѣтлѣлъ, какъ только Базаровъ обращалъ на него вниманіе; дворовые мальчишки бѣгали за „дохтуромъ", какъ собаченки; одинъ только старый дворовый человѣкъ Прокофьичъ называлъ его „живодеромъ" и „прощелыгой", потому что по-своему былъ аристократъ не хуже самого Павла Петровича. И все это происходило не отъ чего другого, какъ только отъ того, что Базаровъ обращался съ ними просто, по-человѣчески, хотя и подтрунивалъ постоянно: вѣдь, всѣмъ этимъ дворовымъ, конечно, въ диковинку было, что человѣкъ, одѣтый въ „господское" платье, такъ же разговариваетъ съ ними, какъ и съ господами. А вотъ какъ собственно Базаровъ относится къ тому самому простому русскому человѣку, который довѣрчиво подходитъ къ нему, наивно предполагая въ немъ „своего", не барина. Припомнимъ уже извѣстный намъ разговоръ Базарова съ Аркадіемъ подъ стогомъ: „Странно! я никого не ненавижу",—промолвилъ подумавши Аркадій.—А я, такъ многихъ,—отозвался на это Базаровъ: ты—нѣжная душа, размазня, гдѣ тебѣ ненавидѣть!.. Вотъ, напримѣръ, ты сегодня сказалъ, проходя мимо избы вашего старосты Филиппа,—она такая славная, бѣлая:— вотъ, сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или

Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть, и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ;—ну, а дальше?—Аркадій на это почти ничего не возразилъ,—да и гдѣ же ему было возразить, когда Базаровъ въ его глазахъ былъ оракуломъ, передъ которымъ онъ смолкалъ въ благоговѣйномъ удивленіи. Ну, а мы немножко посмѣлѣе и, на вопросъ Базарова—„что дальше?"—скажемъ вотъ что: „А дальше вотъ что, Евг. Вас.: вы человѣкъ безспорно неглупый и съ сердцемъ,—да, съ сердцемъ, и не въ смыслѣ мѣшка съ четырьмя отдѣленіями, какъ бы вы сами, конечно, сказали, а съ сердцемъ, которое способно волноваться добрымъ, хорошимъ чувствомъ,—такъ вотъ припомните, пожалуйста, по-истинѣ безсмертныя слова Инсарова: „Послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и я—мы желаемъ одного и того же"—и сравните съ вашими по-истинѣ жестокими словами,—да будьте при этомъ искренни, не ломайтесь своимъ пристрастіемъ къ болотнымъ лягушкамъ и глухимъ лопухамъ, дайте волю, позвольте вашему сердцу свободно забиться отъ этого сравненія, и вы сами, конечно, сдѣлаете тотъ же самый выводъ изъ этого сравненія, какой мы сейчасъ готовы сдѣлать". Но Базаровъ, конечно, не будетъ съ нами откровененъ и искрененъ: въ немъ слишкомъ велико его самолюбіе, въ немъ такъ много этого самолюбія, что даже Аркадій однажды увидалъ „всю бездонную пропасть Базаровскаго самолюбія",—какъ выражается авторъ.

Но объ этомъ Базаровскомъ самолюбіи послѣ; а теперь припомнимъ слѣдующую характерную сцену. Вас. Ив. однажды заговорилъ съ сыномъ, по поводу близкаго освобожденія крестьянъ,—о прогрессѣ: старикъ надѣялся возбудить въ своемъ Енюшѣ сочувствіе; но Енюша равнодушно промолвилъ: „Вчера я прохожу мимо забора и

слышу, здѣшніе крестьянскіе мальчишки, вмѣсто какой-нибудь старой пѣсни, горланятъ: „Время вѣрное приходитъ, сердце чувствуетъ любовь...“—вотъ тебѣ и прогрессъ“.—По-истинѣ классическія слова,—скажемъ мы отъ себя:—Пощадите, Евг. Вас.! Неужели же вамъ то все равно? Вспомните, не вы ли говорили Павлу Петровичу: „Спросите, молъ, любого изъ вашихъ мужиковъ, въ комъ изъ насъ,—въ васъ или во мнѣ,—онъ скорѣе признаетъ соотечественника“. Стало-быть, вы, вѣдь, считаете же этого несчастнаго пѣвца про „Время вѣрное“ своимъ соотечественникомъ. Неужели же вы искренно съ такимъ насмѣшливымъ равнодушіемъ говорите сейчасъ о грустномъ фабрично-заводскомъ прогрессѣ вашего соотечественника? Вѣдь, это же не только грустное, прямо-таки позорное равнодушіе, но еще и оскорбительная для самаго этого соотечественника вашего насмѣшка. Вѣдь, онъ, этотъ ненавидимый и презираемый вами простой русскій человѣкъ, въ правѣ сказать вамъ: „Что же это вы, батюшка, смѣетесь то надо мной?! Для этого-ли вы только науку то вашу произошли, въ университетѣ то побывали? неужели для того только, чтобы для собственнаго развлеченія,—особливо послѣ сердечной неудачи съ г-жей Одинцовой,—лягушекъ пластать! Теменъ я, грубъ, безнравственъ,—такъ помогите мнѣ, поднимите меня, а не толкайте меня, лежачаго, презрительно вашей ногой, не смѣйтесь надо мной!“—А Базаровъ, дѣйствительно, смѣется,—и презрительно смѣется надъ этимъ именно лежачимъ въ темнотѣ, въ убожествѣ русскимъ мужикомъ. Припомнимъ его знаменитую бесѣду съ однимъ мужикомъ: „Ну“,—говорилъ онъ ему,—„излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ: вѣдь, въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, вы намъ дадите и языкъ настоящій, и законы“. Мужикъ робко отвѣчалъ: „А мы могимъ... тоже,—потому, зна-

читъ... какой положенъ у насъ, примѣрно, предѣлъ".— „Ты мнѣ растолкуй, что такое есть вашъ міръ?"—перебивалъ его Базаровъ: „и тотъ ли это самый міръ, что на трехъ рыбахъ стоитъ?"—„Это, батюшка, земля стоитъ на трехъ рыбахъ",—успокоительно, съ добродушной пѣвучестью въ голосѣ объяснялъ мужикъ,—„а противъ нашего, то есть, міру, извѣстно, господская воля; потому,— вы наши отцы. А чѣмъ строже баринъ взыщетъ, тѣмъ милѣе мужику". Выслушавъ эту рѣчь,—разсказываетъ авторъ,—Базаровъ презрительно пожали плечами и отвернулся, а мужикъ побрелъ во-свояси.

Если бы эту сцену видѣлъ Пав. Петр. Кирсановъ, то, конечно, онъ сказалъ бы Базарову съ улыбкой: „Я съ вами совершенно согласенъ теперь, Евг. Вас.: русскій мужикъ, дѣйствительно, долженъ признавать въ васъ своего соотечественника". Очень близкое къ этому сказалъ,—какъ разсказываетъ нашъ авторъ,—и самый русскій мужикъ, отъ котораго только-что съ презрѣніемъ отвернулся Базаровъ: „О чемъ толковалъ",—спросилъ этого мужика другой мужикъ, издали наблюдавшій за бесѣдой его съ Базаровымъ,—„о недоимкѣ чтоль?"—„Какое о недоимкѣ, братецъ ты мой!"—отвѣчалъ тотъ, и въ голосѣ его уже не было слѣда добродушной пѣвучести, а напротивъ, слышалась какая-то небрежная суровость: „такъ, болталъ кое-что; языкъ почесать захотѣлось. Извѣстно, баринъ; развѣ онъ что понимаетъ?"—„Гдѣ понять!" отвѣчалъ другой мужикъ, и, тряхнувъ шапками и осунувъ кушаки, оба они принялись разсуждать о своихъ дѣлахъ и нуждахъ.—„Увы",—прибавляетъ отъ себя авторъ: „презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ,—этотъ самоувѣренный Базаровъ, и не подозрѣвалъ, что онъ въ ихъ глазахъ былъ все-таки чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго".—Ну какъ же не вспомнить рядомъ съ этимъ, что къ Инсарову

постоянно приходили его соотечественники за совѣтами и поддержкой, со всѣми своими нуждами,—какъ не вспомнить его словъ,—да и не словъ только,—что „послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи и онъ—желаютъ одного и того же“?! И какимъ,—говоря словами Елены, Базаровъ при этомъ намъ кажется „маленькимъ“ сравнительно съ болгаромъ Инсаровымъ, и какимъ, прибавимъ, нехорошимъ: вѣдь, оказывается, что русскій мужикъ-то, соотечественникъ-то стоитъ самъ по себѣ, а Евг. Васил. Базаровъ, его соотечественникъ-то, тоже самъ по себѣ,—и мужикъ чувствовалъ это и высказалъ словами: „Извѣстно, баринъ; развѣ онъ что понимаетъ“. И онъ правъ, этотъ философъ, разсуждавшій съ мнимо-добродушной нѣвучестью о трехъ китахъ: въ Базаровѣ дѣйствительно есть барство. Ужъ такова сила этой крѣпостнической, барской заразы, что она, даже и въ малыхъ дозахъ воспринятая, отравляетъ все-таки человѣческую душу и сердце.

Но изъ чего же, однако, видно въ Базаровѣ это барство? Да, во-первыхъ, хотя бы изъ той же только-что приведенной бесѣды его съ мужикомъ; а рядомъ съ ней очень кстати припомнить слѣдующій отрывокъ изъ разговора Базарова съ Аркадіемъ: на замѣчаніе Аркадія, что Базарову нелегко будетъ сообщить отцу и матери извѣстіе о своемъ скоромъ отъѣздѣ, Базаровъ отвѣчаетъ: „Нелегко. Чортъ меня дернулъ сегодня подразнить отца: онъ на-дняхъ велѣлъ высѣчь одного своего оброчнаго мужика,—и очень хорошо сдѣлалъ; да, да,—не гляди на меня съ такимъ ужасомъ,—очень хорошо сдѣлалъ, потому что воръ и пьяница онъ страшный, и отецъ очень сконфузился, когда узналъ, что я объ этомъ, какъ говорится, извѣстенъ сталъ“.— И напрасно,—скажемъ мы,—конфузился Вас. Ив.: вѣдь, Евг. Вас. рѣшительно ничего не имѣетъ противъ „конюшеннаго“ обращенія съ людьми; это совершенно во вкусѣ его презрительнаго отношенія

къ русскому мужику,—и въ этомъ отношеніи онъ, пожалуй, недалеко ушелъ отъ давнишняго нашего знакомца Стегунова изъ „Записокъ охотника". Наконецъ, нужно вспомнить еще знаменитый поединокъ нашего отрицателя и врага аристократовъ съ аристократомъ—Павл. Петр. Кирсановымъ: развѣ этотъ поединокъ не свидѣтельствуетъ воочію о томъ, что нигилистъ нашъ далеко еще не сбросилъ съ себя ветхаго человѣка? Послѣ извѣстнаго „пассажа" съ Ѳеничкой въ бесѣдкѣ, Павелъ Петровичъ явился въ комнату къ Базарову и, послѣ обычныхъ извиненій за причиняемое безпокойство, сказалъ: „Я пришелъ предложить вамъ одинъ вопросъ: сколько мнѣ помнится, ни между нами, ни въ моемъ присутствіи рѣчь никогда не заходила о поединкахъ, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнѣніе объ этомъ предметѣ?"—„Вотъ какое мое мнѣніе",—отвѣтилъ Базаровъ: „съ теоретической точки зрѣнія дуэль—нелѣпость; ну, а съ практической точки зрѣнія это дѣло другое". Павелъ Петровичъ, какъ мы знаемъ, вызвалъ послѣ этого Базарова на дуэль, и дуэль состоялась. Правда, когда Пав. Петр. послѣ вызова вышелъ изъ комнаты Базарова, Базаровъ постоялъ передъ дверью и вдругъ воскликнулъ: „Фу ты, чертъ! какъ красиво и какъ глупо! экую мы комедію отломали! Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ",—а во время самой дуэли стрѣлялъ не цѣлясь; тѣмъ не менѣе, самъ-то въ себѣ онъ былъ серьезно убѣжденъ, что съ практической точки зрѣнія дуэль—комедія разумная и необходимая. Почему? Да все потому же, почему и Онѣгинъ не задумался уложить ни въ чемъ неповиннаго Ленскаго: „А шопотъ, хохотня глупцовъ? и вотъ общественное мнѣнье! пружина чести—нашъ кумиръ! и вотъ на чемъ вертится міръ". Все та же неизмѣнная „княгиня Марья Алексѣевна", передъ которой трепеталъ еще блаженной памяти Пав. Аѳан. Фамусовъ.—„Помилуйте! какъ

же? обо мнѣ, о Базаровѣ, и будутъ говорить, смѣяться, и прежде всего самъ же Павелъ Петровичъ!" Вѣдь, отказаться отъ дуэли,—это значитъ подвергнуть себя цѣлому ряду оскорбленій, выдержать страшную пытку для самолюбія.

А самолюбія у Евг. Васил. Базарова больше, чѣмъ довольно,—цѣлая бездна, какъ выражается авторъ. Одинцова почти съ перваго же знакомства подмѣтила въ Базаровѣ эту черту. Когда на ея вопросъ: „Кто вы?"—Базаровъ отвѣчалъ: „Я уже докладывалъ вамъ, что я будущій уѣздный лѣкарь",—Одинцова, сдѣлавъ нетерпѣливое движеніе, сказала: „Перестаньте, пожалуйста. Зачѣмъ вы это говорите? Вы—съ вашимъ самолюбіемъ—уѣздный лѣкарь!"—А припомнимъ, съ какимъ плохо скрываемымъ оскорбленнымъ завистливымъ самолюбіемъ разсуждаетъ Базаровъ, лежа съ Аркадіемъ подъ стогомъ, о томъ узенькомъ крохотномъ мѣстечкѣ, которое досталось ему въ удѣлъ въ жизни. „Узенькое мѣстечко",—говоритъ онъ,—„которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ, и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; а часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ!"... Да, дѣйствительно: Евг. Вас. Базаровъ,—и вдругъ не титанъ! Нужно замѣтить при этомъ, что Базарова волнуетъ не современный, вновь вызванный въ нашей литературѣ къ жизни Гр. Л. Н. Толстымъ вопросъ о цѣли жизни, о томъ, какъ нужно жить и для чего жить,—нѣтъ, не этотъ вопросъ безпокоитъ Базарова, а вопросъ именно самолюбія: „Я, Базаровъ, и вдругъ долженъ заниматься какой-нибудь наукой, какимъ-нибудь лѣченьемъ больныхъ!" И онъ, какъ бы подсмѣиваясь надъ самимъ собой, какъ бы самъ себя оскорбляя указаніемъ на свою ничтожную роль, иронически назидается примѣромъ муравья, который тащитъ полумертвую муху: „Тащи

ее, братъ, тащи... Пользуйся тѣмъ, что ты, въ качествѣ животнаго, имѣешь право не признавать чувства сострадания, — не то, что нашъ братъ, самоломанный!" — На этотъ разъ, Евг. Васил., вы дѣйствительно правду изволили сказать,—замѣтимъ мы отъ себя: вы дѣйствительно самоломанный, сами себя изволите ломать,—и ваши философскія разсужденія о „крохотномъ мѣстечкѣ" сильно отзываются „рудинствомъ", котораго въ васъ, какъ все намъ показываетъ, и не малая толика заключается.

Но откуда же? откуда эта самоломанность въ Базаровѣ? чѣмъ ее объяснить? Если это въ немъ крайность направленія,—то въ чемъ заключается самое направленіе, и почему Базаровъ вдался въ крайность?

На вопросъ Павла Петровича: „Самъ г. Базаровъ собственно что такое?" — Аркадій отвѣчаетъ: „Онъ — нигилистъ", и затѣмъ поясняетъ: „т. е. человѣкъ, который ко всему относится съ критической точки зрѣнія. Нигилистъ, это—человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ". Самъ Базаровъ опредѣляетъ задачу, дѣятельность нигилистовъ слѣдующимъ образомъ: на вопросъ Павла Петровича,—въ силу чего нигилисты дѣйствуютъ, онъ отвѣчаетъ: „Мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ. Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе,—мы отрицаемъ, и отрицаемъ все",—а на возраженіе Павла Петровича — отрицать все, это значитъ разрушать все, и поэтому необходимо также и строить, — Базаровъ съ своей стороны возражаетъ: „Строить—не наше дѣло... Сперва нужно мѣсто расчистить". Итакъ, девизъ Базарова: все отрицать, вѣрнѣе — разрушать, съ цѣлью расчистить мѣсто. Чѣмъ же оно было засорено? Отвѣчаемъ: барствомъ, „рудинствомъ". И мы видѣли, какъ сильно было засорено мѣсто русской

общественной жизни, русскаго общественнаго развитія этими сорными, барскими, „рудинскими“ травами, и сколько вреда, глубокаго и непоправимаго, причиняли эти травы русскому человѣку. А мы изъ простого опыта обыденной жизни хорошо знаемъ, что, разъ мы убѣдились, что то или другое мѣсто до невозможности грязно,—грязно до того, что далеко во всѣ стороны распространяетъ отъ себя опасную, губительную заразу,—то мы въ подобномъ случаѣ принимаемся дѣйствительно за генеральную чистку и въ своемъ хотя и добромъ усердіи иной разъ впадаемъ въ крайность. То же самое случилось и съ Базаровымъ. Сорныхъ травъ барства и „рудинства“ дѣйствительно накопилось много: мы слишкомъ много и слишкомъ долго занимались краснобайствомъ, прикрывая его пустозвонность ярлычками возвышенныхъ вопросовъ о долгѣ, о чести, о свободѣ, о прогрессѣ и т. п.; мы слишкомъ долго, опять-таки палецъ о палецъ не ударяя, носились съ разглагольствованіями о музыкѣ, о поэзіи, объ искусствѣ, собственно очень мало въ нихъ понимая и только стараясь верхоглядными сужденіями о нихъ наполнить свой безконечный досугъ. И вотъ въ лицѣ Базарова является рѣзкій, безпощадный протестъ противъ всего этого,—протестъ тѣмъ болѣе сильный, тѣмъ болѣе приводившій къ крайностямъ, чѣмъ сильнѣе было впечатлѣніе отъ тѣхъ явленій, противъ которыхъ направлялся этотъ протестъ.

Мы съ своей стороны, конечно, всей душой присоединяемся къ этому протесту, мы не можемъ ему не сочувствовать; мы нисколько не меньше Базарова возмущаемся тѣмъ, чѣмъ онъ возмущается,—мы такъ же, какъ и онъ, негодуемъ на барство и „рудинство“, сгубившія напрасно столько свѣжихъ, молодыхъ силъ, въ которыхъ такъ нуждалась Россія,—мы такъ же, какъ и онъ, стремимся сбросить съ себя „ветхаго человѣка“, съ корнемъ вы-

рвать тлетворную заразу;—но вмѣстѣ съ этимъ мы все-таки скажемъ, что Базаровъ, увлекшись желаніемъ совершенно отрѣшиться отъ недостатковъ „ветхаго" русскаго Рудина-барича, впадаетъ въ другую крайность, а главное—совершенно напрасно возстаетъ противъ того, что естественно отличаетъ собою человѣка, какъ мыслящее, живущее сердцемъ, чувствующее существо, а это, какъ мы видѣли, вредно отражается на отношеніи Базарова къ окружающей жизни: Базаровъ сознательно устраняется отъ нея, напрасно, подобно Рудинымъ, замыкаясь въ кругъ интересовъ, удовлетворяющихъ лишь личную жажду знанія въ извѣстной области науки. Вотъ почему, какъ мы ни сочувствуемъ Базарову въ его желаніи совсѣмъ покончить съ „рудинствомъ", какъ мы ни уважаемъ въ немъ стремленіе къ настоящему, полезному дѣлу, тѣмъ не менѣе мы не можемъ назвать его такимъ русскимъ человѣкомъ, за которымъ могла бы пойти русская Елена, какъ она пошла за болгариномъ Инсаровымъ: передъ этимъ болгариномъ Базаровъ все-таки маленькій: трудомъ, хотя и серьезнымъ самимъ по себѣ, но только какъ трудомъ, не наполнить жизни, если трудъ этотъ не согрѣтъ, не подъятъ во имя чего-то высшаго, а Базаровъ намѣренно забивалъ въ себѣ все общее, высшее, намѣренно суживалъ и сушилъ отъ природы широкую область своего духа. Инсаровъ и при меньшемъ,—говоря по-Базаровски,—развитіи „мозговъ" справедливо представлялся Еленѣ такимъ, что всѣ передъ ними были маленькіе... Онъ всѣхъ переросъ оттого, что человѣкъ растетъ по мѣрѣ того, какъ расширяются его цѣли. Цѣлью же Инсарова было, — страшно сказать, какъ говорила Елена,—счастье его милой, ждавшей себѣ свободы, родины, счастье того народа, съ которымъ неразрывно слилась вся духовная жизнь Инсарова. Базарову же свой родной народъ представлялся таинственнымъ незнаком-

цемъ, котораго онъ не только не хотѣлъ узнать, но даже, какъ мы видѣли, еще и презиралъ.

Нѣтъ, Базаровъ еще не настоящій русскій человѣкъ дѣла. Несомнѣнно, онъ шагнулъ дальше Рудина; но ему остается еще сдѣлать не мало шаговъ впередъ, чтобы быть въ состояніи сказать: „Послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Россіи и я — мы хотимъ одного и того же". Съ Базаровымъ все-таки еще не наступилъ „настоящій день"; въ немъ выразилась лишь заря этого дня: сынъ не слишкомъ далеко ушелъ отъ своихъ отцовъ, въ которыхъ, какъ мы видѣли, далеко не все ужъ такъ плохо.

Не находимъ-ли мы давно желанныхъ нами русскихъ людей „почвы и дѣла" въ болѣе позднемъ произведеніи И. С. Тургенева, именно—въ „Дымѣ"? По указанію самого автора, этотъ романъ относится къ 1867 году: въ немъ, стало-быть, мы ожидаемъ встрѣтить людей, на глазахъ которыхъ совершилось великое дѣло освобожденія, которые могли дѣйствовать уже при другихъ условіяхъ. Мы не будемъ забѣгать впередъ своимъ отвѣтомъ, но не можемъ не указать на то, что самое заглавіе романа „Дымъ" — мало подаетъ надежды. Присмотримся же къ этому „дыму".

Какъ извѣстно, дѣйствіе происходитъ въ Баденъ-Баденѣ, этомъ нѣкогда излюбленномъ курортѣ, куда стекались,— главнымъ образомъ, конечно, къ рулеткѣ,—всѣ наиболѣе типичные питомцы нашихъ прежнихъ „дворянскихъ гнѣздъ", а также статскіе и военные чиновные тузы.

Двѣ группы лицъ главнымъ образомъ выдѣляются изъ того довольно многочисленнаго ряда общественныхъ типовъ, которые по волѣ художника являются представителями русскаго элемента въ общей картинѣ Баденъ-Баденскаго лѣчебно-увеселительнаго сезона: во-первыхъ,

„вся знать и моды образцы“, „fine fleur“ нашего общества,—какъ выражается авторъ,—тѣ самые, которые собирались преимущественно sous l'arbre russe,—подъ русскимъ деревомъ; во-вторыхъ, поклонники Губарева, представители нашей эмиграціи,—Матрена Семеновна Суханчикова и К°.

Первая группа въ одно и то же время и разнообразна и однообразна. Тутъ и графъ X., глубокая музыкальная натура, не умѣющая двухъ нотъ разобрать, не тыкая вкось и вкривь указательнымъ пальцемъ по клавишамъ,—и князь У, другъ религіи и народа, составившій себѣ во время оно, въ блаженную эпоху откупа, громадное состояніе продажей сивухи, подмѣшанной дурманомъ,—и Р. Р., сохранившій преданія эпохи „Героя нашего времени“, свѣтскій левъ, съ походкой враскачку на каблукахъ, съ привычкой зѣвая перебивать чужую рѣчь, смѣяться въ носъ и внезапно передвигать шляпу съ затылка на брови; рядомъ съ дипломатами и тузами съ европейскими именами, съ „мужами совѣта и разума“ графиня Ш., прозванная злыми языками „Медузою въ чепцѣ“,—княгиня Babette, та самая, у которой на рукахъ умеръ Шопенъ (а въ Европѣ считаютъ около тысячи дамъ, на рукахъ которыхъ онъ испустилъ духъ),—и княгиня Pachette, которая вмѣстѣ съ мужемъ потерпѣли крушеніе изъ-за какихъ-нибудь 20 тысячъ рублей казенныхъ денегъ,—и смѣшливая княжна Зизи, и слезливая княжна Зозо. Всѣ они двигались пышно, небрежно, модно, привѣтствовали другъ друга величественно, изящно, развязно, какъ оно и слѣдуетъ „существамъ, находящимся на самой вершинѣ современнаго образованія“; но, сойдясь и усѣвшись, рѣшительно не знали, что сказать другъ другу, и пробавлялись дрянненькимъ переливаньемъ изъ пустого въ порожнее,—„и нѣтъ словъ“,—говоритъ авторъ,—„чтобы выразить важность, съ которою они

сдавали, брали взятки, ходили съ трефъ, ходили съ бубенъ... ужъ точно государственные люди". Между ними было и не безъ либераловъ, и такимъ именно является мужъ героини романа—генералъ Ратмировъ; но онъ, конечно, либераленъ въ своихъ разсужденіяхъ лишь по стольку, по скольку это ему выгодно для составленія карьеры, и этотъ либерализмъ нисколько не помѣшалъ ему наказать розгами 50 человѣкъ крестьянъ въ яко бы взбунтовавшемся Бѣлорусскомъ селеніи, куда его послали въ качествѣ усмирителя. Вотъ какіе господа собирались подъ знаменитымъ „русскимъ деревомъ"—и не въ ихъ средѣ, конечно, искать намъ людей „почвы и дѣла".— „Всѣ они",—говоритъ про нихъ авторъ,—„оставляли въ сторонѣ своихъ земляковъ, немилостиво обходились съ ними... Оставимъ же и мы ихъ въ сторонѣ",—прибавляетъ писатель,—„и отойдемъ отъ знаменитаго дерева, около котораго они сидятъ въ такихъ дорогихъ, но нѣсколько безвкусныхъ костюмахъ, и пошли имъ Господь облегченія отъ грызущей ихъ скуки!"

Не менѣе любопытны,—конечно, въ отрицательномъ смыслѣ,—и представители Губаревскаго кружка въ Баденъ-Баденской картинѣ. Первымъ появляется передъ нами въ романѣ Ростиславъ Бамбаевъ, о которомъ авторъ говоритъ такъ: „вѣчно безъ гроша и вѣчно отъ чего-нибудь въ восторгѣ,—онъ шлялся съ крикомъ, но безъ цѣли, по лицу нашей многосносной матушки-земли". За нимъ Ворошиловъ: разспросивъ Литвинова (героя романа) о родѣ его занятій, онъ принялся высказывать собственныя мнѣнія... не столько объ этихъ занятіяхъ, сколько вообще о разныхъ „вопросахъ". Онъ вдругъ оживился и такъ помчался, какъ добрый конь, лихо и рѣзко отчеканивая каждый слогъ, каждую букву, какъ молодецъ-кадетъ на выпускномъ экзаменѣ, и сильно, но не владъ размахивая руками. Съ каждымъ мгновеніемъ онъ стано-

вился все рѣчистѣе, все бойчѣе, благо никто его не прерывалъ. Имена новѣйшихъ ученыхъ, съ прибавленіемъ года рожденія или смерти каждаго изъ нихъ, заглавія только-что вышедшихъ брошюръ, вообще—имена, имена, имена дружно посыпались съ его языка, доставляя ему самому высокое наслажденіе, отражавшееся въ его пылавшихъ глазахъ. „И все это разомъ, безъ всякаго повода, передъ чужими, въ кофейной",—подумалъ о немъ Литвиновъ. „И все это не что другое, какъ второе, подновленное изданіе Дмитрія Николаевича Рудина",—прибавимъ мы отъ себя. Далѣе, почтенная дама—Матрена Семеновна Суханчикова, которая все знаетъ: и что высокопоставленный князь сказалъ своему лакею, и какъ авторъ „Хижины дяди Тома", т. е. m-me Бичеръ-Стоу, ни съ того ни съ сего дала пощечину г. Тентелееву, и какъ нѣкій Михневъ въ Петербургѣ на Вознесенскомъ проспектѣ всенародно кричалъ, что надо, молъ, всѣхъ либераловъ въ тюрьму,—и какъ Прасковья Яковлевна благородно съ мужемъ разошлась,—и какъ... Но даже Бамбаевъ не вытерпѣлъ и перебилъ Матрену Семеновну восклицаніемъ: „Бросимъ эти дрязги!" Наконецъ, самъ Губаревъ, который прежде всего замѣчателенъ тѣмъ, что только-что пріѣхалъ изъ Гейдельберга и скоро туда, можетъ быть, уже въ сотый разъ уѣзжаетъ. Онъ настолько глубокомысленъ, что на всѣ восторженныя восклицанія своихъ поклонниковъ только философски мычитъ или въ крайнемъ случаѣ удостаиваетъ отрывочными фразами, которыя толкуются окружающими, какъ слова дельфійскаго оракула. Литвинова онъ удостоилъ даже, если не цѣлой рѣчи, то во всякомъ случаѣ полурѣчи объ общинѣ, о пожарахъ, о несогласіи крестьянъ подписывать уставныя грамоты,—и закончилъ своимъ обычнымъ глубокомысленнымъ мычаньемъ, сквозь которое прорывались слова: „Намъ нужно теперь слиться съ народомъ, узнать...

узнать его мнѣніе". Въ концѣ романа мы даже видимъ на дѣлѣ, какъ этотъ мычащій оракулъ сливается съ народомъ: „Па-адлецы, па-адлецы!"—послышался голосъ за дверями, и на крыльцѣ станціи предсталъ самъ настоящій г. Губаревъ",—разсказываетъ писатель: „Мужичье поганое!"—продолжалъ онъ: „бить ихъ надо—вотъ что; по мордамъ бить; вотъ имъ какую свободу—въ зубы!.. Толкуютъ... волостной голова!.. Я бы ихъ!.." И всѣ эти Воропиловы, Суханчиковы и Бамбаевы со своимъ оракуломъ во главѣ ведутъ безконечные разговоры и споры,—и кто во что гораздъ. Напр., Суханчикова говорила о Гарибальди, о какомъ-то Карлѣ Ивановичѣ, котораго высѣкли его собственные дворовые, о Наполеонѣ III, о женскомъ вопросѣ, о купцѣ Плескачевѣ, завѣдомо уморившемъ 12 работниковъ и будто бы получившемъ за это медаль съ надписью: „За полезное",—о пролетаріатѣ, о грузинскомъ князѣ Чукчеулидзевѣ, застрѣлившемъ жену изъ пушки, и о будущности Россіи. Всѣ эти „словоизверженія" покрывались дымомъ отъ сигаръ,—всѣ охрипали,—„Что, бишь, я такое говорилъ?" твердилъ одинъ,—„Да съ кѣмъ же я сейчасъ спорилъ и о чемъ?" спрашивалъ другой,—образовывалась, по выраженію автора, яичница изъ именъ и сплетенъ, отъ которой даже и ночной свѣжій воздухъ нескоро приведетъ въ себя.—„Шумимъ, братецъ, шумимъ!"—невольно припоминаются слова Репетилова.—„Шумите вы,—и только!" отвѣчалъ на это Чацкій.

Нѣсколько особнякомъ отъ этихъ двухъ группъ стоятъ два лица въ романѣ: Литвиновъ и Потугинъ. Не они-ли—преемники Базарова? не въ нихъ-ли сказалось новое слово? не за ними-ли пойдутъ наши Елены и останутся жить и дѣйствовать у себя на родинѣ?

Сначала о Потугинѣ. Первое впечатлѣніе онъ производитъ очень пріятное: онъ называетъ собраніе у Гу-

барева „вавилонскимъ столпотвореніемъ“, совершенно правильно опредѣляетъ характеръ Губаревскихъ преній: „Сойдется десять русскихъ“,— говоритъ онъ,— „и мгновенно возникаетъ вопросъ, вопросъ о значеніи, о будущности Россіи,— да въ такихъ общихъ чертахъ, такъ бездоказательно, безвыходно. Жуютъ, жуютъ они этотъ несчастный вопросъ, словно дѣти кусокъ гумиластику: ни соку, ни толку“. Очень вѣрно также замѣчаніе Потугина о томъ, что хотя „правительство освободило насъ отъ крѣпостной зависимости, но привычки рабства слишкомъ глубоко въ насъ внѣдрились; не скоро мы отъ нихъ отдѣлаемся. Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; бариномъ этимъ бываетъ, большею частью, живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ-называемое направленіе надъ нами власть возымѣетъ: мы всѣ къ нему въ кабалу и записываемся“. Наконецъ, очень правдива и та картинка, въ которой Потугинъ думаетъ изобразить отношеніе нашего интеллигента-либерала къ простому народу: „Право, если бы я былъ живописцемъ, вотъ бы я какую картинку написалъ“,—говоритъ Потугинъ: „образованный человѣкъ стоитъ передъ мужикомъ и кланяется ему низко: вылѣчи, молъ, меня, батюшка мужичекъ, я пропадаю отъ болѣсти; а мужичекъ, въ свою очередь, низко кланяется образованному человѣку: научи, молъ, меня, батюшка баринъ, я пропадаю отъ темноты. Ну и, разумѣется, оба ни съ мѣста“. Не менѣе правдиво и слѣдующее изъ его заключительныхъ въ первой бесѣдѣ съ Литвиновымъ выраженій: „Я и люблю и ненавижу свою Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину“. Онъ ее любитъ, она ему мила и дорога, какъ и каждому изъ насъ она люба, мила и дорога; и онъ же ненавидитъ ее, находитъ странной и скверной за ея слабости, за то темное, мрачное въ ней, что задерживаетъ ея ростъ, что не пропускаетъ настоящаго свѣта въ неподвижную въ

самой женщинѣ!“ Литвиновъ отступилъ шагъ назадъ. „Возможно-ли! что вы сказали!.. Вы... вы... Созонтъ Ивановичъ! Но г-жа Бѣльская... этотъ ребенокъ...“ — „Ахъ не разспрашивайте меня... вѣрьте мнѣ!“—горячо возразилъ на это Потугинъ: „г-жу Бѣльскую я почти не зналъ; ребенокъ этотъ не мой,—я взялъ все на себя, потому... потому, что она этого хотѣла, потому что ей это нужно. Зачѣмъ бы я находился здѣсь, въ вашемъ Баденѣ?“ Эти послѣднія слова Потугина очень важны, особенно въ связи съ разсказомъ автора о томъ, что Потугинъ еще лѣтъ за восемь передъ тѣмъ полюбилъ Ирину и, охваченный этимъ чувствомъ, хотя и безъ взаимности съ ея стороны, довольствовался какъ бы подачками, въ видѣ всевозможныхъ благосклонныхъ порученій нерѣдко далеко не благовиднаго характера, хотя бы, напр., участіе его и содѣйствіе сближенію Ирины съ тѣмъ же Литвиновымъ въ Баденъ-Баденѣ. Въ минуты откровенности самъ Потугинъ, какъ бы сознавая свое по меньшей мѣрѣ унизительное положеніе, говоритъ Литвинову: „Вы ни на одну секунду не согласились бы принять на себя ту роль, которую я разыгрываю, и разыгрываю съ благодарностью“. Итакъ, дѣло просто и ясно: Потугинъ, отсидѣвши 22 года на казенномъ мѣстѣ въ казенномъ заведеніи и, вѣроятно, запасшись свободными матеріальными средствами, на досугѣ слѣдуетъ по пятамъ за любимой, но, собственно, пренебрегающей имъ женщиной и состоитъ при ней какъ бы въ родѣ на посылкахъ, съ умиленіемъ ловя за нихъ ласковый взглядъ и про себя мечтая о возможности какого-то счастья. Какъ видимъ, все это не имѣетъ рѣшительно никакого отношенія къ той ци...ви..ли..заціи, поклонникомъ и цѣнителемъ которой Потугинъ такъ горячо себя выставлялъ. При чемъ же тогда всѣ эти многорѣчивыя и многоумныя разглагольствованія Потугина объ этой самой ци..ви..ли..заціи?

А онъ самъ отвѣчаетъ намъ на этотъ вопросъ: провожая Литвинова, совсѣмъ уѣзжающаго послѣ разрыва съ Ириной изъ Бадена, онъ между прочимъ говоритъ: „Позвольте старому болтуну,—ибо я, увы! болтунъ, и больше ничего, — дать вамъ напутственный совѣтъ". Лучшаго самоопредѣленія трудно подыскать: Потугинъ дѣйствительно тотъ же Рудинъ, только нѣсколько исправленнаго по требованію времени изданія,—онъ дѣйствительно „старый болтунъ и больше ничего". Неудивительно поэтому, что онъ возвратился на родину безъ всякаго багажа, которымъ онъ могъ бы съ пользой подѣлиться: въ самыхъ послѣднихъ строкахъ романа мы читаемъ слѣдующее: „Въ томъ же городѣ, гдѣ проживаетъ Ирина, проживаетъ и нашъ пріятель, Созонтъ Потугинъ: онъ рѣдко съ ней видится, и нѣтъ для нея особенной надобности поддерживать съ нимъ связь: та дѣвочка, которую поручили его попеченіямъ, недавно умерла". Стало быть, Потугинъ на родину вернулся такимъ же и съ тѣмъ же, какимъ и съ чѣмъ мы его видѣли въ Баденъ-Баденѣ: онъ продолжаетъ играть ту же самую унизительную роль, которую, по его же словамъ, мы съ вами не согласились бы принять на себя даже на одну секунду. Таковъ Потугинъ, — и не ему, конечно, быть преемникомъ Базарова.

Остается Литвиновъ, — и мы должны сказать, что очень многое говоритъ въ его пользу. Хотя его мать, „институтка изъ дворянокъ", и поставила свой домъ на европейскую ногу; слугамъ говорила „вы" и никому не позволяла наѣдаться за обѣдомъ до сопѣнія, — тѣмъ не менѣе вообще-то домашняя обстановка первоначальнаго воспитанія далеко не отличалась характеромъ настоящаго барства, и молодой Литвиновъ скорѣе принадлежалъ къ зажиточнымъ „разночинцамъ", нежели къ избалованнымъ богатымъ баричамъ. Потерпѣвъ неудачу съ

своей первой любовью, онъ съ горя бросилъ университетъ и „нѣсколько времени“,—какъ говоритъ авторъ,—„потолокся въ провинціи безъ дѣла, безъ связей, почти безъ знакомыхъ“, участвовалъ въ ополченіи 55 года, потомъ служилъ по выборамъ и, поселившись въ деревнѣ, пристрастился къ хозяйству. Къ этому времени, какъ мы видимъ, Литвиновъ уже достаточно потолкался между людьми, принималъ, такъ сказать, дѣловое участіе въ жизни, а поэтому мы не удивляемся утвержденію автора, что Литвиновъ „понималъ, какъ имѣніе его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлѣвшимъ отцомъ, не давало и десятой доли тѣхъ доходовъ, которые могло бы давать, и что въ опытныхъ и знающихъ рукахъ оно превратилось бы въ золотое дно“. Рядомъ съ этимъ Литвиновъ „понималъ, что именно опыта и знанія ему недоставало, — и онъ отправился за границу учиться агрономіи и технологіи, и учиться съ азбуки“.

— Это уже совсѣмъ не по-рудински,—замѣтимъ мы. Передъ нами человѣкъ, который дѣйствительно стремится къ разумной, полезной дѣятельности,—хотя и для себя прежде всего,—и правильно, умѣло берется за нее: не фантазируетъ, не разглагольствуетъ, а хочетъ учиться, чтобы затѣмъ, вооружившись необходимыми для практической дѣятельности научными знаніями, приняться, какъ слѣдуетъ, за нее.

Четыре года слишкомъ провелъ Литвиновъ въ Мекленбургѣ, въ Силезіи, Карлсруэ, ѣздилъ въ Бельгію, въ Англію, трудился добросовѣстно, пріобрѣлъ познанія. „Нелегко“,—прибавляетъ авторъ,—„они ему давались; но онъ выдержалъ искусъ до конца и, увѣренный въ самомъ себѣ, въ своей будущности, въ пользѣ, которую онъ принесетъ землякамъ, пожалуй даже всему краю, онъ спѣшитъ на родину“. Это не Лаврецкій. Литвиновъ точно, серьезно и опредѣленно ставитъ себѣ цѣль, настойчиво,

серьезно и правильно стремится къ ней; „оттого-то онъ такъ спокоенъ и простъ",—говоритъ авторъ,—„и оттого-то онъ такъ самоувѣренно глядитъ кругомъ, что жизнь его отчетливо ясно лежитъ передъ нимъ, что судьба его опредѣлилась, и что онъ гордится этой судьбой и радуется ей, какъ дѣлу рукъ своихъ". Онъ не ораторствуетъ о необходимости дѣятельности, полезнаго дѣла, а дѣйствительно стремится къ ней и, конечно, будетъ дѣлать дѣло, и дѣлать его съ пользой.

Сама дѣятельность Литвинова, такъ сказать, жизненнѣе, нежели микроскопическія, болѣе чѣмъ на половину эгоистическія занятія съ лягушками Базарова, и въ этомъ отношеніи Литвиновъ, пожалуй, стоитъ выше Базарова: во всякомъ случаѣ, его желаніе быть полезнымъ своимъ землякамъ несравненно привлекательнѣе, нежели презрительное отношеніе Базарова-нигилиста къ тѣмъ же самымъ своимъ землякамъ. Какъ правильно онъ замѣчаетъ Потугину относительно заимствованій у нашихъ старшихъ братьевъ съ Запада: „Какъ же возможно перенимать",—говоритъ онъ,—„не соображаясь съ условіями климата, почвы, съ мѣстными, народными особенностями". Въ этихъ словахъ опять-таки виденъ человѣкъ дѣла, а не фразы,—человѣкъ, уже довольно крѣпко стоящій на практической почвѣ,—и Базарову, конечно, до этого очень далеко.

Не по-рудински и не по-лаврецки относится Литвиновъ и къ любимой женщинѣ. Намъ памятно послѣднее свиданіе Рудина съ Наташей у Авдюхина пруда. А вотъ какая сцена происходитъ между Литвиновымъ и Ириной.—„Ты хочешь, чтобы я бѣжала съ тобою? Я готова...",—говорила Ирина, и Литвиновъ восторженно припалъ къ ея рукамъ,—„я готова, я не отказываюсь отъ своего слова. Но ты самъ обдумалъ-ли тѣ затрудненія... Приготовилъ-ли средства?"—Я еще ничего не успѣлъ ни обдумать, ни приготовить, но скажи только: да,—позволь мнѣ дѣй-

ствовать, и мѣсяца не пройдетъ..."—„Мѣсяца!"—воскликнула на это Ирина: „мы черезъ двѣ недѣли уѣзжаемъ въ Италію".—„Мнѣ и двухъ недѣль достаточно!"—горячо возразилъ Литвиновъ: „о Ирина! ты какъ будто холодно принимаешь мое предложеніе. Быть можетъ, оно кажется тебѣ мечтательнымъ; но я не мальчикъ, я не привыкъ тѣшиться мечтами,—я знаю, какой это страшный шагъ,—я знаю, какую беру на себя отвѣтственность". Въ своемъ рѣшительномъ письмѣ къ Иринѣ онъ между прочимъ пишетъ: „Ты меня знаешь, Ирина, что всякая фраза мнѣ чужда и противна... Знай же, что мое рѣшеніе несомнѣнно: или все, или ничего! Иначе я не могу, Ирина! Я слишкомъ сильно тебя люблю". И Литвиновъ не только говоритъ и пишетъ, но и дѣлаетъ: во-первыхъ, онъ дѣйствительно началъ принимать мѣры къ тому, чтобы обезпечить хотя ближайшее будущее для любимой женщины, а во-вторыхъ, когда Ирина рѣшительно взяла назадъ свое обѣщаніе и предложила ему постыдную роль „друга дома", онъ такъ же рѣшительно и навсегда порываетъ съ ней. Это не Лаврецкій, который, какъ мы видѣли, постоянно нуждается въ посторонней поддержкѣ и руководительствѣ; въ Литвиновѣ мы чувствуемъ силу, которая способна справиться съ самыми рѣшительными минутами жизни.

Но рядомъ со всѣмъ этимъ мы вотъ что читаемъ въ томъ же письмѣ Литвинова къ Иринѣ: „Моя невѣста уѣхала... Она унесла съ собою все, что мнѣ до сихъ поръ казалось желаннымъ и дорогимъ; всѣ мои предположенія, планы, намѣренія исчезли вмѣстѣ съ нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась въ ничто, всѣ мои занятія не имѣютъ никакого смысла и примѣненія; все это умерло, мое я, мое прежнее я умерло и похоронено со вчерашняго дня. Я это ясно чувствую, вижу, знаю... и нисколько объ этомъ не

жалѣю... Изъ всего этого мертваго прошлаго, изъ всѣхъ этихъ въ дымъ и прахъ обратившихся надеждъ и начинаній осталось одно живое, несокрушимое: моя любовь къ тебѣ... Да, любовь твоя все для меня замѣнила—все, все!" И если бы Ирина нашла почему-либо выгоднымъ для себя бросить своего генерала, то Литвиновъ несомнѣнно пустился бы съ ней кочевать по итальянскимъ озерамъ и городамъ, разсаживая въ нихъ свои родовые лѣса и поля и мужицкія деньги. И мы видѣли бы въ немъ того же самаго П. П. Кирсанова или Ѳ. И. Лаврецкаго, которые „всю жизнь свою поставили на карту женской любви". Даже Ирина, и та удивляется той легкой рѣшимости, съ какою Литвиновъ покончилъ со всѣмъ своимъ,—какъ онъ выражается,—„мертвымъ прошлымъ"; она говоритъ ему: „Вотъ, ты пишешь, что моя любовь для тебя все замѣнила, что даже всѣ твои прежнія занятія теперь должны остаться безъ примѣненія; а я спрашиваю себя: можетъ-ли мужчина жить одною любовью? не прискучитъ-ли она ему наконецъ, не захочетъ-ли онъ дѣятельности и не будетъ-ли онъ пенять на то, что его отъ нея отвлекло? Вотъ какая мысль меня пугаетъ!" А Литвинову, какъ мы видимъ, эта мысль даже и въ голову не приходитъ: всѣ свои планы и серьезныя стремленія, весь свой трудъ, весь, такъ сказать, смыслъ своей жизни онъ съ рѣшимостью, достойной лучшей участи, бросаетъ къ ногамъ капризной свѣтской женщины, которая на его же глазахъ, даже больше того—на немъ самомъ показала, что для нея дороже всего великосвѣтская гостиная, роскошь и поклоненіе всевозможныхъ князей Коко и графовъ У.

— Но позвольте,—возразятъ намъ: вѣдь, Литвиновъ все-таки же порвалъ съ Ириной? Припомните послѣдній моментъ передъ тѣмъ, какъ поѣздъ долженъ былъ унести его изъ Бадена, и Ирина стояла на платформѣ и какъ

бы говорила своими померкшими глазами: „Вернись, вернись, я пришла за тобой“. Литвиновъ едва устоялъ на ногахъ, едва не бросился къ ней... Но та волна, которой онъ отдался, взяла свое... Онъ вскочилъ въ вагонъ и, обернувшись, указалъ Иринѣ на мѣсто возлѣ себя; а когда поѣздъ тронулся, онъ откинулся назадъ.

— Вотъ именно въ „волнѣ“ то главное дѣло и есть,— возразимъ мы въ свою очередь. Вспоминая на поѣздѣ все пережитое въ Баденѣ, особенно тѣхъ русскихъ людей, которыхъ ему пришлось наблюдать, Литвиновъ между прочимъ говоритъ: „Другой вѣтеръ подулъ,—и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная и... ненужная игра“. Эти слова, какъ нельзя болѣе, приложимы къ самому Литвинову: набѣжитъ волна,—и онъ броситъ все, чему до сихъ поръ служилъ, и пассивно отдастся теченію; подхватитъ его еще новая волна,—и онъ такъ же пассивно поплыветъ по ней, послушно слѣдуя за перемѣнившимся вѣтромъ. Конечно, не такому человѣку приходить на смѣну Базарова.

И самъ Литвиновъ сознавалъ это. Подавленный сознаніемъ своей „постыдной слабости“, онъ сидѣлъ у окна вагона и въ раздумьѣ смотрѣлъ, какъ дымъ отъ локомотива, безпрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, несся клубами ему навстрѣчу: эти клубы дыма непрестанно мѣнялись и оставались тѣ же, напоминая собою однообразную, торопливую, скучную игру... И странное напало на него размышленіе. „Дымъ, дымъ“, повторялъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все: собственная жизнь, русская жизнь,—все людское, особенно все русское. „Все дымъ и паръ“,—думалъ онъ: „все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же да то же; все торопится, спѣшитъ куда-то,—и все исчезаетъ

безслѣдно, ничего не достигая; другой вѣтеръ подулъ,— и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная и... ненужная игра". Вспомнилось ему многое, что съ громомъ и трескомъ совершалось на его глазахъ въ послѣдніе годы... „Дымъ!"— шепталъ онъ,—„дымъ!" Вспомнились горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ высоко и низкопоставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... „Дымъ!" — повторялъ онъ, — „дымъ и паръ!". Вспомнились ему сужденія и рѣчи ораторствовавшихъ подъ „русскимъ деревомъ" государственныхъ людей, и даже все то, что проповѣдывалъ Потугинъ... „Дымъ! дымъ! и больше ничего!"—шепталъ онъ. „А собственныя стремленія и чувства, и попытки, и мечтанія?" Онъ только рукой махнулъ. Сдѣлаемъ и мы то же самое: дѣйствительно,—„дымъ, дымъ, и больше ничего".

Но мы должны быть справедливы: этотъ удручающій Литвинова и насъ вмѣстѣ съ нимъ дымъ несомнѣнно напоминаетъ собою тотъ дымъ—туманъ, который обыкновенно бываетъ передъ наступленіемъ яснаго, свѣтлаго дня: такъ же, какъ и въ этомъ туманѣ, мы чувствуемъ въ Литвиновскомъ дымѣ, или, точнѣе говоря, въ немъ самомъ несомнѣнные проблески свѣтлаго дня, которые борются съ туманомъ и медленно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и неотразимо выбиваются на свободу, съ тѣмъ чтобы въ недалекомъ будущемъ засвѣтиться яснымъ, радостнымъ, свѣтлымъ днемъ. Въ Литвиновѣ нѣтъ Базаровской отчужденности отъ окружающей жизни, отъ ея настоятельныхъ, насущныхъ нуждъ и запросовъ: Литвиновъ стремится слиться съ этой жизнью почти точно такъ же, какъ и Инсаровъ,—и не только на словахъ, но по мѣрѣ силъ и на дѣлѣ. Въ Литвиновѣ нѣтъ того презрительнаго, непростительно-эгоистическаго отношенія къ народу, которое такимъ мрачнымъ пятномъ выдѣляется въ харак-

терѣ Базарова: онъ искренно хочетъ быть полезнымъ этому самому народу, прійти на помощь своему убогому, темному земляку. Наконецъ, Литвиновъ занимается такимъ дѣломъ, которое имѣетъ весьма важное, непосредственно къ практической жизни приложимое значеніе, и именно на его родинѣ, на Руси: онъ хочетъ помочь своему земляку хоть нѣсколько лучше пахать кормилицу-землю.

Правда, все это въ Литвиновѣ неустойчиво, легко можетъ быть опрокинуто даже, пожалуй, первой волной, измѣнившимся вѣтромъ,—такъ же, какъ и проблески наступающаго свѣтлаго дня нѣтъ-нѣтъ да и заволакиваются туманомъ,—но въ этомъ мы не можемъ винить Литвинова: таково было то время, къ которому онъ принадлежалъ. „Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумѣлый сталкивался съ недобросовѣстнымъ; весь поколебленный бытъ ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, и только одно великое слово „свобода“ носилось, какъ Божій духъ надъ водами... Минулъ годъ, за нимъ минулъ другой, начинался третій. Великая мысль осуществлялась по-немногу, переходила въ плоть и кровь: выступилъ ростокъ изъ брошеннаго сѣмени, и уже не растоптать его врагамъ—ни явнымъ, ни тайнымъ...“

Наступилъ ли „настоящій день“? Нѣтъ, онъ все-таки еще пока не наступилъ...

ПЯТОЕ ЧТЕНІЕ.

„Вешнія воды“ и „Новь“—Тургенева.

Своею повѣстью „Вешнія воды“ И. С. Тургеневъ какъ бы бросаетъ послѣдній, прощальный взглядъ на отживающее свое время русское барство эпохи крѣпостного права: художникъ какъ бы освѣжаетъ для большей яркости отдѣльныя пятна своей картины, желая глубже запечатлѣть въ насъ одно изъ наиболѣе тяжелыхъ послѣдствій вліянія на человѣка настоящей барской, крѣпостнической атмосферы. Жертвой именно этого вліянія является въ повѣсти—Дм. Санинъ.

Не только по своему имени, но и по всей своей судьбѣ, въ ея внутреннемъ, болѣе глубокомъ и при томъ общемъ значеніи, Санинъ очень напоминаетъ намъ Рудина. Когда мы съ первой же страницы повѣсти читаемъ о томъ, какое тяжелое душевное состояніе переживалъ Санинъ, сидя у камина и роясь въ вещественныхъ и невещественныхъ воспоминаніяхъ своего прошлаго, мы невольно вспоминаемъ фигуру Рудина, когда онъ, побитый и измученный жизнью, въ послѣдній разъ бесѣдуетъ въ гостиницѣ губернскаго города съ Лежневымъ. И если намъ тогда сердечно было жаль скитальца-мученика Рудина, то, пожалуй, намъ еще болѣе жаль теперь Санина: Рудинъ, по крайней мѣрѣ, имѣлъ нравственное лично для себя утѣшеніе въ томъ, что, и совершая, съ нашей-то точки зрѣ-

нія, по меньшей мѣрѣ странный, если даже не смѣшной подвигъ на парижскихъ баррикадахъ,—все-таки самъ-то, по своему взгляду, служилъ высокой идеѣ свободы, чувствовалъ, можетъ быть, даже извѣстнаго рода нравственное удовлетвореніе, когда, покинутый всѣми, одинъ размахивалъ краснымъ знаменемъ, самоотверженно подставляя грудь правительственнымъ войскамъ. Совсѣмъ въ другой обстановкѣ мы видимъ нравственно тоже, вѣдь, умирающаго Санина. „Никогда еще отвращеніе къ жизни съ такой неотразимой силой не овладѣвало имъ, не душило его: горечь ѣдкая и жгучая, какъ горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всѣхъ сторонъ обступило его, какъ осенняя темная ночь... Онъ размышлялъ о суетѣ, ненужности, о пошлой фальши всего человѣческаго. Всѣ возрасты постепенно проходили передъ его мысленнымъ взоромъ, и ни одинъ не находилъ пощады передъ нимъ: вездѣ все то же вѣчное переливаніе изъ пустого въ порожнее, то же толченіе воды...“ И его личная жизнь, дѣйствительно, была „переливаніемъ изъ пустого въ порожнее“: въ ящикахъ его письменнаго стола хранились одни лишь женскія письма съ засохшими цвѣтами и полинялыми ленточками...

Передъ нами снова типъ русскаго барича, „поставившаго всю свою жизнь на карту женской любви“,—и Тургеневъ еще разъ, и послѣдній, останавливается въ „Вешнихъ водахъ“ на вопросѣ о томъ, какой гибельно-односторонній взглядъ на личное счастье вырабатывался въ нашей дворянской молодежи подъ вліяніемъ растлѣвающей атмосферы барства, не дававшаго никакого серьезнаго содержанія для жизни. Въ этомъ отношеніи Санинъ стоитъ гораздо ниже всѣхъ своихъ предшественниковъ: Рудинъ и Лаврецкій несомнѣнно превосходятъ его, какъ образованіемъ и развитіемъ, такъ и отношеніемъ къ жизни

и своими стремленіями. Намъ тѣмъ болѣе жаль Санина, что самъ по себѣ онъ натура чистая, неиспорченная, честная, искренняя,—по крайней мѣрѣ, въ періодъ своего сближенія съ Джеммой,—и эти свойства его души, къ сожалѣнію, ему же идутъ во вредъ, такъ какъ онъ почти совершенно не обладаетъ волей: только въ вопросахъ чести онъ еще способенъ проявить нѣкоторую рѣшимость и самостоятельность дѣйствій: припомнимъ, какъ онъ мужественно, стойко, открыто-смѣло и рѣшительно назвалъ нахала-офицера своимъ именемъ и готовъ былъ собственной кровью смыть съ Джеммы оскорбленіе, нанесенное ей этимъ самымъ нахаломъ. Но это только отдѣльный проблескъ. Во всемъ прочемъ Санинъ—жалкая игрушка той же самой житейской „волны", которая, какъ мы видѣли, такъ капризно и властно сбивала съ ногъ Литвинова въ „Дымѣ",—да и не одного его...

И въ самомъ дѣлѣ. Насидѣвшись подъ „русскими деревьями" и наболтавшись по итальянскимъ озерамъ, Санинъ возвращался уже въ отечество, если не спасать его, то во всякомъ случаѣ съ благонамѣренной цѣлью надѣть на себя „казенный хомутъ", безъ котораго немыслимо было его существованіе. И стоило ему только, чуть-ли не въ самый же день отъѣзда изъ Франкфурта, случайно зайти въ „Итальянскую кондитерскую Джіованни Розелли", чтобы сразу быть опрокинутымъ налетѣвшей волной въ образѣ итальянки Джеммы, съ волосами Аллоріевой Юдифи въ Палаццо-Питти. Санинъ быстро забылъ все и всѣхъ и изъ предполагаемаго россійскаго благонамѣреннаго чиновника быстро и легко превратился въ франкфуртскаго кондитерскаго торговца, съ увлеченіемъ отвѣшивавшаго покупателямъ кондитерской Розелли четверть фунта мятныхъ лепешекъ. Почти съ первой же минуты теченіе совершенно овладѣваетъ имъ, и онъ, охваченный чадомъ первой любви, несется

по нему, почти съ дѣтской наивностью рѣшая серьезные вопросы, которые невольно встрѣчались ему на пути: припомнимъ, какъ онъ обсуждаетъ съ „фрау Леноре", своей будущей тещей, какъ они устроятся съ Джеммой,— какъ онъ именно съ дѣтской наивностью толкуетъ и объ наиболѣе выгодномъ устройствѣ своего имѣнія и сейчасъ же о его продажѣ,—и о службѣ въ Россіи, и о дипломатической карьерѣ за границей, — и рядомъ съ этимъ опять о продажѣ имѣнія и о расширеніи кондитерской фирмы Розелли, съ перемѣною дипломатическаго поста на обязанности франкфуртскаго пирожника и кондитерскаго продавца. Дѣло уже почти совсѣмъ налаживалось: „за обѣдомъ Санинъ оффиціально, какъ женихъ, сидѣлъ рядомъ съ Джеммой... а когда уѣзжалъ въ Висбаденъ, чтобы воспользоваться неожиданно представившимся случаемъ продать имѣніе, то увѣрялъ, что никакъ не болѣе трехъ-четырехъ дней пробудетъ тамъ, ни минуты не замѣшкаетъ: „Вѣдь, я душу свою оставляю здѣсь!"— восторженно прибавилъ онъ, прощаясь съ своей невѣстой Джеммой... Даже изъ Висбадена онъ все-таки еще писалъ ей, что черезъ три дня увидится съ ней..." Но вотъ налетѣла новая волна, и голову Санина началъ наполнять новый чадъ; онъ, какъ утопающій, восклицалъ только: „О, если бы Джемма видѣла меня!" Не прошло и нѣсколькихъ дней, какъ Санинъ, точно послушный, глупо, наивно влюбленный мальчикъ, покорно слѣдовалъ за Марьей Николаевной, этой беззастѣнчивой героиней курортныхъ заграничныхъ похожденій нашихъ праздношатающихся баричей: забыта первая, чистая любовь; забыты обѣты; забыта смущенная и ни въ чемъ неповинная дѣвушка; забыто, наконецъ, всякое человѣческое достоинство, — и все это принесено въ жертву „точенымъ" рукамъ, которыя ослѣпительно выдѣлялись въ разрѣзѣ длинныхъ рукавовъ парижскаго пеньюара...

Затѣмъ слѣдовало „дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо къ Джеммѣ... житье въ Парижѣ и всѣ униженія, всѣ гадкія муки раба, которому не позволяютъ ни ревновать, ни жаловаться, и котораго бросаютъ, наконецъ, какъ изношенную одежду...“ И „веселые годы, счастливые дни, какъ вешнія воды, промчались они“, не давъ жизни никакого содержанія, именно вслѣдствіе своей мимолетности, вслѣдствіе полнаго отсутствія чего-либо глубокаго, вызваннаго серьезнымъ чувствомъ, освѣщеннаго свѣтлой мыслью...

Какъ видимъ, передъ нами жалкая жертва „барской“ безсодержательности, полнѣйшей непригодности къ болѣе или менѣе осмысленной жизни, — тѣмъ болѣе жалкая, что, отброшенный, какъ изношенная одежда, Санинъ весь углубился въ мелкіе житейскіе расчеты и заботы, въ результатѣ чего, — какъ намъ говоритъ авторъ, — получилось „значительное состояніе, которое онъ успѣлъ нажить въ теченіе тридцати лѣтъ“ послѣ своихъ франкфуртскихъ похожденій. Рудинъ несомнѣнно выше его: онъ до конца остался вѣренъ тѣмъ неяснымъ, но во всякомъ случаѣ тѣмъ благороднымъ порывамъ, которые характеризуютъ всю его личность.

Трудно объяснить, какими побужденіями руководился Санинъ, „продавая всѣ свои имѣнія и собираясь переселиться въ Америку“,—конечно, въ тотъ самый городъ, гдѣ жила со своей семьей Джемма: вѣдь, его раскаяніе было удовлетворено ласковымъ, милымъ отвѣтнымъ письмомъ Джеммы изъ Нью-Іорка; заботиться же о семьѣ Джеммы, какъ бы въ вознагражденіе за горечь, причиненную ей самой, онъ могъ и изъ Петербурга. Вѣроятнѣе всего, имъ руководило желаніе, просто, перемѣнить обстановку жизни, такъ какъ англійскій клубъ и петербургскіе салоны давно смертельно надоѣли, — съ родной землей, кромѣ чисто финансово-доходной, никакой дру-

той связи не было,—карманы были полные: отчего же и въ Нью-Іоркѣ не пожить, тѣмъ болѣе, что итальянскія озера и висбаденскія „русскія деревья“ тоже давно пріѣлись...

Насколько неизмѣримо выше нашего русскаго „образованнаго“ барича Санина стоитъ полуграмотный итальянецъ юноша Эмиліо, братъ Джеммы! Она пишетъ о немъ: „Эмиліо, нашъ милый, несравненный Эмиліо — погибъ славной смертью за свободу родины въ Сициліи, куда онъ отправился въ числѣ тѣхъ „Тысячи“, которыми предводительствовалъ великій Гарибальди; мы всѣ горячо оплакали кончину нашего безцѣннаго брата, но, и проливая слезы, мы гордились имъ, — и вѣчно будемъ гордиться и свято чтить его память! Его высокая, безкорыстная душа была достойна мученическаго вѣнца!“ Саниинъ же могъ гордиться только воспоминаньемъ о своемъ позорномъ парижскомъ пресмыканьѣ, да развѣ еще умѣньемъ нажить „значительное состояніе...“

Скажемъ: „Миръ праху его!“ и перейдемъ къ послѣднему капитальному произведенію И. С. Тургенева, его роману — „Новь“.

Романъ „Новь“ затрагиваетъ собою одну изъ любопытнѣйшихъ эпохъ въ исторіи нашего общественнаго развитія; эта эпоха извѣстна подъ именемъ „шестидесятыхъ годовъ“.

Если вообще вѣрно то мнѣніе, что война даетъ толчекъ общественной жизни и общественному сознанію, то наши „шестидесятые годы“ какъ разъ слѣдовали за извѣстной одиннадцатимѣсячной геройской обороной Севастополя,—и, если не въ наукѣ, то по крайней мѣрѣ въ обществѣ укрѣпилось мнѣніе, что Крымская кампанія возбудила въ русскомъ обществѣ тотъ подъемъ духа, ко-

торымъ характеризуются наши „шестидесятые годы". Въ этомъ мнѣніи, конечно, есть извѣстная доля правды; но не нужно забывать и другого въ высшей степени важнаго событія — наступленія, какъ разъ наканунѣ этой эпохи, новаго царствованія: русскій престолъ занялъ Государь, имя котораго неизгладимыми золотыми буквами начертано на страницахъ нашей исторіи и, что еще важнѣе,—въ сердцахъ и въ благодарной памяти освобожденнаго имъ народа.

„Шестидесятые годы" не были той неожиданной волной, которая иной разъ вдругъ набѣгаетъ, своею неожиданностью сразу захватываетъ васъ и обыкновенно производитъ цѣлый переполохъ во всемъ окружающемъ. Общественное движеніе 60-хъ годовъ подготавливалось постепенно, и его зародышей слѣдуетъ искать далеко-далеко позади такъ-называемыхъ нигилистовъ, которые представляютъ собою дѣйствительно одну изъ наиболѣе характерныхъ чертъ этой эпохи. Въ художественной лѣтописи разбираемаго нами писателя мы уже не разъ отмѣчали тѣ моменты, въ которыхъ сказывалось поступательное движеніе нашей общественной мысли, — мы не разъ отмѣчали тѣ важнѣйшіе художественные типы, которые знаменовали собою послѣдовательные, правда иной разъ едва замѣтные, шаги нашего общественнаго развитія. И съ каждымъ новымъ изъ этихъ типовъ мы заполучали впечатлѣніе все болѣе и болѣе развивающейся напряженности общественной мысли, которая все замѣтнѣе и все сильнѣе какъ бы выбивается на свободу отъ многолѣтняго ига общественнаго застоя и ищетъ приложенія къ разумной, осмысленной, полезной дѣятельности. Къ 60-мъ годамъ эта напряженность общественной мысли, эта потребность молодыхъ общественныхъ силъ найти себѣ выходъ въ приложеніи къ „настоящему" дѣлу достигаетъ серьезнаго развитія, становится важнымъ явле-

ніемъ общественной жизни, невольно и совершенно естественно находитъ себѣ отраженіе въ литературѣ.

Мы слишкомъ далеко отвлеклись бы отъ нашей главной задачи, если бы захотѣли разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ эту оригинальную и богатую разнообразными чертами эпоху; мы остановимся лишь на одной, несомнѣнно наиболѣе важной сторонѣ, съ которой тѣсно связываются важнѣйшіе общественные типы, изображаемые нашимъ писателемъ въ занимающемъ насъ въ данную минуту романѣ—„Новь“.

Какъ только стихла памятная Севастопольская канонада, какъ только нѣсколько улеглась тревога, вызванная въ обществѣ естественнымъ напряженіемъ силъ въ виду угрожавшей опасности со стороны „союзниковъ“,—такъ все, что только было лучшаго на Руси, живо откликнулось на благодѣтельный призывъ Царя-Освободителя. И дѣйствительно, закипѣла работа среди лучшихъ русскихъ людей, и не только въ столицѣ, но и въ лучшихъ провинціальныхъ центрахъ: готовилась къ проведенію въ жизнь великая освободительная реформа. „Великое слово „свобода“,—говоритъ Литвиновъ въ „Дымѣ“,—„носилось, какъ духъ Божій надъ водами“,—„и возбуждало“,—прибавимъ мы отъ себя,—„особенно въ восторженныхъ молодыхъ сердцахъ, преувеличенныя ожиданія по отношенію къ предстоящему свѣтлому будущему, идеалистическія мечтанія о новыхъ гражданахъ какъ бы совершенно новаго государства. Наконецъ, насталъ великій день 19-го февраля 1861 года, и новая величественная волна ворвалась въ доселѣ покойное, тинистое русло русской народной жизни,—и не столько самый освобожденный народъ захватила собою эта волна, сколько ту, особенно молодую часть нашего общества, которая видѣла въ освободительной крестьянской реформѣ начало новой эры въ русской жизни: молодыя сердца загораются

особенной любовью къ „новымъ свободнымъ гражданамъ“ и чувствуютъ передъ ними долгъ прійти къ нимъ на помощь, помочь имъ сдѣлать первые шаги въ новой, свободной жизни.

Случилось при этомъ то, что бываетъ въ хорошей, дружной семьѣ, когда окончательно выздоравливаетъ и начинаетъ поправляться долго и опасно хворавшій ребенокъ: Митя или Маня дѣлается въ это время божкомъ для всѣхъ окружающихъ; лучше его, совершеннѣе его уже никого больше нѣтъ; всѣ остальные стараются какъ бы уподобиться ему, стараются поддѣлаться подъ его дѣтскую натуру: и говорятъ дѣтскимъ, полукартавымъ языкомъ, и дѣлаютъ разныя дѣтскія глупости; его буквально осыпаютъ заботами, искренними, горячими, любовными, но очень нерѣдко, такъ сказать, мало осмысленными,—хотя бы, напр., съ точки зрѣнія той же гигіены. И ребенокъ, этотъ идеализированный добрыми, любящими сердцами божокъ, нерѣдко по инстинкту, какъ можетъ, отражаетъ эти горячія, любовныя, но неразумныя заботы и даже, пожалуй, засмѣется надъ вами какъ разъ въ ту минуту, когда вы, именно отъ всей души, продѣлываете передъ нимъ какую-нибудь глупость. Васъ даже это можетъ удивить, пожалуй,—оскорбить, и вы, можетъ быть, отойдете отъ вашего божка съ чувствомъ разочарованія и какъ бы оскорбленія, нанесеннаго вашимъ добрымъ, искреннимъ, любовнымъ порывамъ.

Такимъ „выздоравливающимъ ребенкомъ“ въ 60-е года является освобожденный отъ крѣпостного ига простой русскій народъ. Онъ становится именно божкомъ въ глазахъ идеалистически отуманенныхъ освободительной реформой людей этой эпохи. Интересъ къ народу, достигшій значительнаго напряженія ко дню 19-го февраля,—въ первые годы послѣ этого дѣйствительно великаго дня перерождается въ безотчетный восторгъ передъ деревен-

скою жизнью, крестьянскимъ характеромъ и крестьянскими воззрѣніями. „Возникло“,—говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей этой эпохи, — „лирическое народничество, настроенное на высокій тонъ независимо отъ уроковъ дѣйствительности, подъ вліяніемъ однихъ волшебныхъ звуковъ — народъ, деревня, община“. Подъ вліяніемъ этого крайняго увлеченія возникаетъ даже прямо-таки враждебное отношеніе ко всему,—особенно во внѣшней сторонѣ жизни,—что напоминало о цивилизованномъ Западѣ. „Намъ не нужно западныхъ выдумокъ“,—какъ бы слышалось среди этихъ увлеченныхъ народничествомъ молодыхъ головъ: „у насъ свое, русское, гораздо лучшее: община, армякъ, гармоника“. Не смотря, однако, на это, между этими влюбленными этой отвлеченной любовью къ народу и предметомъ ихъ обожанія — самимъ народомъ лежала цѣлая пропасть.

Кто же были эти народолюбцы? на какой почвѣ они воспитались? съ чѣмъ они шли къ народу? чему и какъ они могли научить его?

Наши мечтатели-народники 60-хъ годовъ были питомцами культуры, науки, идей того самаго Запада, отъ котораго, какъ мы сейчасъ только говорили, они такъ старательно открещивались въ пользу національнаго армяка и національной гармоники. Они, вѣдь, прямые потомки Рудиныхъ и Лаврецкихъ, младшіе братья Базаровыхъ: не смотря на то, что они, повидимому, занимались въ большинствѣ случаевъ серьезнымъ дѣломъ — изслѣдованіемъ природы (область естествознанія была въ тѣ годы излюбленною и какъ бы единственно заслуживающею вниманія молодыхъ умовъ сферою положительнаго, полезнаго знанія), не смотря на то, что они не только были далеки отъ Рудинскаго барства, но всячески старались искоренить въ себѣ даже послѣдніе слѣды этой постыдной, оскорбительной слабости, тѣмъ не менѣе,

та же самая исконная черта русскаго культурнаго человѣка—безпочвенность близко роднила ихъ съ Рудинымъ; къ нимъ не только безъ всякой ошибки, но и безъ всякой натяжки приложимы такъ знакомыя намъ слова: „Горе ихъ въ томъ, что они не знаютъ Россіи, и Россія не знаетъ ихъ". Если и теперь еще наша народная масса живетъ какъ бы на другомъ берегу отъ насъ, и все еще плохой перевозъ, да при томъ еще черезъ широкую рѣку, соединяетъ съ нимъ насъ, культурныхъ людей, то во сколько же разъ глубже, непроходимѣе была въ 60-хъ годахъ та пропасть, которая отдѣляла прямыхъ наслѣдниковъ нашихъ русскихъ „гегельянцевъ" отъ только-что и то еще только формально выведеннаго изъ вѣкового рабства простого русскаго народа. Вѣдь, съ чѣмъ же другимъ могли подойти къ этому едва просыпающемуся народу его восторженные поклонники, какъ не съ тѣми же западными отвлеченными идеями о свободѣ, о прогрессѣ, о служеніи народу, которыя они, подобно Щигровскому Гамлету, вычитали изъ книжекъ оригинальныхъ или переводныхъ? Гдѣ же, когда и какъ могли эти любвеобильные и наивные руководители освобожденнаго народа изучить его жизнь, его характеръ, его нужды, когда и по своему общественному положенію, и по характеру образованія, и по своимъ взглядамъ, стремленіямъ и привычкамъ они совершенно расходились съ нимъ,—это во-первыхъ; а во-вторыхъ, самое рабское положеніе-то народа почти не давало возможности точно опредѣлить дѣйствительныя, настоящія его нужды, не изъ книжекъ почерпаемыя, а вытекающія изъ самой живой народной жизни. И. С. Тургеневъ въ своихъ письмахъ говоритъ по этому поводу: „Вѣдь, существуетъ полнѣйшее несходство вкусовъ и идеаловъ крестьянина и его непризваннаго руководителя и обожателя всего народнаго. При настоящихъ условіяхъ мужикъ и политикъ-народникъ

прямо не поймутъ другъ друга: это два существа двухъ совершенно различныхъ міровъ". Но мечтатели-руководители и влюбленные въ своего питомца—простого русскаго мужика восторженные народолюбцы не хотѣли, а вѣрнѣе—и не могли этого знать: переполненные своими туманными идеалами, охваченные тѣмъ представленіемъ о русской народной жизни, которое рисовало имъ ихъ развитое на отвлеченныхъ соціальныхъ идеяхъ воображеніе, они съ ревностью и настойчивостью, достойными лучшей участи, спѣшили къ народу и „въ народъ",—какъ тогда говорили,—чтобы самоотверженно отдать ему всѣ свои силы, всѣ свои знанія, свою душу, свое сердце, всего себя. Что изъ всего этого выходило, намъ покажетъ „Новь"—И. С. Тургенева, къ которой мы теперь и переходимъ.

Сдѣлаемъ сначала два, такъ сказать, предупредительныхъ замѣчанія.

Первое замѣчаніе заключается въ слѣдующемъ. На цѣломъ рядѣ произведеній И. С. Тургенева мы успѣли достаточно убѣдиться, между прочимъ, въ томъ, что онъ тщательно слѣдилъ за всѣми вновь зарождавшимися теченіями среди русской образованной молодежи и наиболѣе характерныя, по его мнѣнію, струи этого теченія заносилъ въ свою поэтическую лѣтопись. Въ нашемъ поэтѣ все болѣе и болѣе крѣпло, опредѣлялось и, такъ сказать, просилось наружу свое, выработанное путемъ долгихъ, серьезныхъ художественныхъ наблюденій воззрѣніе на истинныя задачи русскаго культурнаго общества по отношенію къ народу; многолѣтняя работа его художественнаго творчества все болѣе и болѣе освѣщалась слѣдующимъ идеаломъ, который онъ страстно желалъ видѣть осуществленнымъ въ самой русской жизни: „Воспитать въ народѣ сознательную потребность гражданственныхъ благъ, изъ стихійной косной массы превратить его въ

мыслящее человѣческое общество и достигнуть этого упорнымъ мирнымъ трудомъ, безграничнымъ терпѣніемъ, незамѣтной, менѣе всего героической работой, въ основѣ которой должна быть положена забота распространить просвѣщеніе"—вотъ идеалъ Тургенева,—и мы чувствовали присутствіе этого идеала во всѣхъ его общественныхъ романахъ и повѣстяхъ. Русское общество, и въ особенности молодая его часть, раздражаясь отрицательнымъ изображеніемъ культурнаго русскаго человѣка въ каждомъ вновь выходившемъ произведеніи И. С. Тургенева, какъ бы не хотѣла понять этого идеала, а это, конечно, раздражало поэта,—и вотъ онъ, послѣ долгаго терпѣнія, захотѣлъ начистоту высказаться, пользуясь привычной для него формой общественной повѣсти. Разбираемая нами „Новь" и имѣетъ именно это, такъ сказать, практическое назначеніе. Не художественные образы волновали поэта, когда онъ писалъ эту повѣсть, а скорѣе желаніе ясно, опредѣленно и рѣшительно высказать свой взглядъ на тѣ явленія русской общественной жизни, которыя онъ считалъ наиболѣе характерными для своей эпохи. Не живые художественные образы вели за собою, невольно, какъ бы сами собой приводили къ извѣстному выводу, къ извѣстному взгляду на теченіе общественной жизни, а именно этотъ заранѣе строго сложившійся и вполнѣ созрѣвшій взглядъ подчинялъ себѣ эти художественные образы, которые, такимъ образомъ, оказывались какъ бы съ умысломъ подобранными, — съ единственной заботой о томъ, чтобы они непремѣнно выражали собою взглядъ автора на интересующія его общественныя явленія.

Другое замѣчаніе необходимо вытекаетъ изъ только что сказаннаго. Разбирая „Новь", вовсе не приходится говорить объ этой повѣсти, какъ о цѣльномъ законченномъ и именно художественномъ произведеніи, — и это чувствовалось съ первыхъ же минутъ появленія „Нови"

въ свѣтъ. И. С. Тургеневъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: „Я никогда не подвергался такому единодушному порицанію въ журналахъ". И это совершенно заслуженно,—прибавимъ мы отъ себя: все произведеніе, и въ особенности главный типъ—Нежданова положительно производитъ впечатлѣніе чего-то искусственно подобраннаго или, по крайней мѣрѣ, до того исключительнаго, что не представляется никакой возможности смотрѣть на него, какъ на выраженіе преобладающаго общественнаго типа. Невольно чувствуется, что художникъ не воспроизводилъ безпристрастно жизнь такою, какою она есть, чтобы она сама, независимо отъ автора, говорила сама за себя и дѣйствительно раскрывала бы передъ нами господствующія въ ней теченія и окончательно сложившіеся типы новыхъ людей;—нѣтъ, видимо авторъ съ нетерпѣливой горячностью старается прежде всего высказать свой взглядъ,—и не только высказать, а главное—убѣдить, и съ этой именно цѣлью преднамѣренно выбираетъ изъ несущейся мимо него жизни только то, что болѣе подходитъ къ его преднамѣренной цѣли, причемъ и это-то преднамѣренно отобранное онъ къ тому же еще освѣщаетъ именно такъ, какъ ему это необходимо для большей убѣдительности высказываемаго имъ взгляда. Обдумывая,—именно „обдумывая", а не создавая, свою „Новь", И. С. твердо рѣшилъ высказать, наконецъ, точно, опредѣленно и по-возможности убѣдительно слѣдующій свой взглядъ: „хожденіе въ народъ" есть не больше, не меньше, какъ трагикомическій фарсъ; стремленіе къ героической преобразовательной роли есть не что иное, какъ преступленіе передъ духомъ и потребностями времени: нужна мелкая, темная и даже жизненная работа, т. е. самая будничная и незамѣтная, вродѣ обученія мужика грамотѣ, основанія больницъ и т. п. И вотъ къ этой основной мысли, взгляду авторъ подби-

раетъ иллюстраціи,—и въ повѣсти ихъ главнымъ образомъ двѣ: Нежданов ъ, долженствующій, какъ теперь видимъ, доказать, что хожденіе въ народъ—трагикомическій фарсъ,—и Соломинъ, имѣющій своимъ назначеніемъ наглядно разъяснить собою русскому культурному человѣку, въ чемъ заключается его настоящее дѣло, его истинныя обязанности передъ народомъ. А разъ подбираются иллюстраціи, то, конечно, чѣмъ онѣ ярче, чѣмъ сильнѣе бьютъ въ глаза тѣми своими сторонами, на которыя, по замыслу ихъ автора, должно быть привлечено главное вниманіе зрителя, тѣмъ лучше. И именно такъ поступаетъ Тургеневъ: въ герои „хожденія въ народъ" онъ выбираетъ именно Нежданова, человѣка съ необыкновенно тонкой, художественной организаціей, существо почти женственное, до болѣзненности впечатлительное и въ заключеніе всего безнадежно заѣдаемое рефлексіей. Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, онъ силился быть циничнымъ и грубымъ на словахъ; идеалистъ по натурѣ, страстный и цѣломудренный, смѣлый и робкій въ одно и то же время, онъ, какъ позорнаго порока, стыдился и этой робости своей, и своего цѣломудрія, и считалъ долгомъ смѣяться надъ идеаломъ. И вотъ на такого-то человѣка, — вдобавокъ еще поставленнаго въ болѣе или менѣе исключительное по отношенію къ окружающему обществу положеніе незаконнаго сына, насильственно выброшеннаго изъ соотвѣтствующей ему общественной аристократической сферы,—возлагается бремя, именно бремя, тяжелое, неудобоносимое и совершенно несоотвѣтствующее ни силамъ, ни врожденнымъ склонностямъ, ни нравственной и умственной подготовкѣ: авторъ заставляетъ Нежданова быть нигилистомъ, въ не менѣе радикальномъ смыслѣ нежели Базаровъ,—да еще продѣлать трагикомическій фарсъ „хожденія въ народъ", и все это съ тою цѣлью,

чтобы на себѣ наглядно и блистательно доказать „банкротство молодой Россіи“, какъ удачно выражается одинъ изъ нашихъ молодыхъ критиковъ. Здѣсь, какъ видимъ, нѣтъ мѣста творчеству, а поэтому мы и не можемъ говорить о Неждановѣ, какъ о художественномъ общественномъ типѣ, точно такъ же какъ и о Соломинѣ.

Но все это нисколько намъ не мѣшаетъ воспользоваться въ повѣсти тѣмъ, что имѣетъ ближайшее отношеніе къ нашей задачѣ,—фактами, характеризующими собою новое теченіе въ общественной жизни, новое направленіе и, такъ сказать, приложеніе общественной мысли.

Остановимся сначала на самомъ заглавіи повѣсти, вызвавшемъ въ свое время въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже превратное толкованіе. Авторъ озаглавилъ свою повѣсть словомъ „Новь“. Въ прямомъ, буквальномъ смыслѣ, на языкѣ нашихъ обыкновенныхъ сельскихъ хозяевъ, этимъ именемъ называется обыкновенно новая, только-что призываемая къ дѣятельной жизни земля. И совершенно согласно именно съ этимъ смысломъ, И. С. и ставитъ эпиграфомъ къ своей повѣсти слѣдующія слова изъ записокъ какого-то хозяина-агронома: „Поднимать слѣдуетъ новь не поверхностно-скользящей сохой, но глубоко забирающимъ плугомъ“. Раскрывая эту аллегорію, мы получаемъ слѣдующее: новь, т. е. новая, только-что призванная къ дѣятельной жизни земля, есть не что иное, по смыслу повѣсти, какъ только-что освобожденный, только-что призываемый къ дѣятельной жизни простой русскій народъ; пахари—это тѣ страстно, беззавѣтно, безъ всякихъ необходимыхъ и при томъ покойно-здравыхъ обсужденій отдающіеся дѣлу служенія народу мечтатели-идеалисты, которые, по выраженію автора, разыгрываютъ гибельный и для себя и для обожаемаго ими народа трагикомическій фарсъ; поверхностно скользящая соха—это тотъ легкій, съ точки зрѣнія практической

дѣятельности поверхностный, отвлеченно-идеальный запасъ средствъ, съ которыми пахари-народолюбцы выступаютъ на облюбованную ими новь; наконецъ, глубоко забирающій плугъ—это именно та мелкая, терпѣливая, незамѣтная, негероическая, но зато жизненная, именно благотворная работа, къ которой такъ презрительно относятся трагикомическіе народолюбцы.

Посмотримъ же теперь, какъ артоъ указанное имъ въ эпиграфѣ прозаическое сельскохозяйственное правило олицетворяетъ въ литературныхъ образахъ Нежданова и Маркелова, Маріанны и Соломина.

Нежданов и Соломинъ—вотъ два лица, на которыхъ сосредоточивается главное вниманіе автора. Посмотримъ же, что и какъ они дѣлаютъ, какое новое теченіе русской общественной жизни въ нихъ отражается, чѣмъ они связаны съ прошлымъ, и какими чертами своего характера и дѣятельности они знаменуютъ слѣдующую сравнительно съ этимъ прошлымъ ступень въ поступательномъ движеніи нашего общественнаго развитія.

Съ первой же сцены романа мы чувствуемъ, что авторъ вводитъ насъ въ совершенно особую сферу людей, съ которыми до сихъ поръ мы почти не встрѣчались, если, конечно, не считать заграничнаго кружка Губарева въ „Дымѣ". Разсказчикъ заставляетъ насъ подняться по черной лѣстницѣ на пятый этажъ дома почти на окраинѣ Петербурга. Онъ вводитъ насъ въ низкую, неопрятную, со стѣнами, выкрашенными мутно-зеленой краской, едва освѣщенную двумя запыленными окошками комнату. Только и было въ ней мебели, что желѣзная кроватка въ углу, да столъ по серединѣ, да нѣсколько стульевъ, да этажерка, заваленная книгами. Какъ видимъ, это не только далеко не великосвѣтскій салонъ, но даже больше того: это, несомнѣнно, болѣе чѣмъ скромный уголъ бѣднаго рабочаго человѣка.

Мы входимъ въ комнату съ однимъ изъ такихъ рабочихъ людей и застаемъ въ ней дѣвушку. Изъ ихъ хотя и отрывочнаго разговора мы все-таки узнаемъ, что оба они поглощены какимъ-то серьезнымъ дѣломъ и вотъ-вотъ ждутъ только распоряженія, чтобы энергично приняться за него. Дѣвушка эта—Машурина,—года полтора тому назадъ, бросивъ свою родную дворянскую небогатую семью въ южной Россіи, прибыла въ Петербургъ съ шестью цѣлковыми въ карманѣ и неустаннымъ трудомъ добилась подлѣкарскаго аттестата. Ея 28-лѣтній собесѣдникъ служитъ въ частной конторѣ, гдѣ онъ, послѣ многочисленныхъ довольно тяжелыхъ передрягъ, добился порядочнаго жалованья и на свои трудовыя деньги кормитъ себя самого, больную тетку да горбатую сестру. Вскорѣ появляется и хозяинъ комнаты—одинъ изъ главныхъ героевъ романа, если только вообще можно назвать героемъ такого человѣка, каковъ Неждановъ. Съ его появленіемъ мы еще болѣе убѣждаемся, что мы находимся не среди какихъ-нибудь поддонковъ общества, которые часто ютятся въ подобныхъ русскихъ мансардахъ.

Первое привѣтствіе одного изъ присутствующихъ, обращенное къ Нежданову, сразу отмѣчаетъ дѣйствительно одну изъ наиболѣе характерныхъ чертъ въ его личности. Незадолго до Нежданова пришедшій Паклинъ обращается къ нему съ слѣдующимъ вопросомъ: „Что съ тобой, Алексѣй Дмитріевичъ, россійскій Гамлетъ?“ Эти два послѣднія слова невольно напоминаютъ намъ о нашемъ старомъ знакомцѣ — Щигровскомъ Гамлетѣ, а вслѣдъ за нимъ, конечно, и о его младшемъ двоюродномъ братѣ—Рудинѣ. И мы не ошибемся въ нашемъ предположеніи, что передъ нами одинъ изъ тѣхъ хорошо знакомыхъ намъ „лишнихъ людей“, — только, какъ это чувствуемъ по окружающей обстановкѣ, поставленный въ иныя условія, нежели его близкіе предки. Неждановъ, дѣйствительно, по-

гамлетовски подавленъ всѣмъ, что ему приходится видѣть вокругъ себя. Съ горячностью глубоко взволнованнаго человѣка указываетъ онъ на то, что̀ въ его время возбуждало молодежь его пошиба: „Полъ-Россіи съ голода помираетъ, „Московскія Вѣдомости“ торжествуютъ, классицизмъ хотятъ ввести, студенческія кассы запрещаютъ, вездѣ шпіонство, доносы, ложь и фальшь,— шагу намъ ступить некуда!..“ И, конечно, Неждановъ призванъ бороться со всѣмъ этимъ; въ этой борьбѣ онъ видитъ свое настоящее дѣло, и этому дѣлу онъ готовъ жертвовать всѣмъ: на заявленіе Остродумова и Машуриной, что имъ нужны деньги, чтобы ѣхать на опредѣленное мѣсто и дѣйствовать тамъ, Неждановъ говоритъ, что онъ съ этою цѣлью возьметъ впередъ часть пенсіи, которую онъ получаетъ отъ братьевъ по своему отцу. Съ этою же именно цѣлью онъ принимаетъ затѣмъ предложеніе Сипягина отправиться къ нему въ качествѣ домашняго учителя. И вотъ тамъ-то, въ деревнѣ, мы видимъ Нежданова на его настоящемъ,—по крайней мѣрѣ, съ его точки зрѣнія,—дѣлѣ.

Попробуемъ сначала хотя въ общихъ чертахъ опредѣлить, въ чемъ заключается то дѣло, которому съ такимъ самоотверженіемъ отдаются Неждановы; воспользуемся для этого собственными ихъ словами. Маркеловъ, котораго глава мечтателей-народолюбцевъ, Василій Николаевичъ, рекомендуетъ какъ человѣка, вполнѣ заслуживающаго довѣрія, какъ одного изъ „своихъ“, говоритъ между прочимъ Нежданову: „Народъ теменъ. Поучать надо. Бѣдность большая, а растолковать некому, отчего эта самая бѣдность происходитъ“. Гораздо позднѣе въ романѣ Соломинъ, этотъ, по замыслу автора, настоящій человѣкъ „почвы и дѣла“, на вопросъ Коломѣйцева, какъ смотритъ онъ на народъ, говоритъ: „Народъ—соня, и разбудить его было бы не худо“. Итакъ, разбудить

народъ отъ вѣкового, глубокаго, тяжелаго сна, пробудить въ немъ сознательное отношеніе къ собственной жизни, къ настоящимъ своимъ нуждамъ, помочь ему разобраться въ нихъ, растолковать ему ихъ и, конечно, вмѣстѣ съ этимъ именно помочь народу выйти на настоящую, свѣтлую дорогу и, какъ слѣдуетъ, по-человѣчески устроить свою жизнь — вотъ то дѣло, которому хотятъ самоотверженно служить Неждановы и Маріанны.

Какъ же мы съ своей стороны отнесемся къ этой цѣли? Да какъ же иначе отнестись, какъ не съ полнымъ сочувствіемъ? Мы-то всѣ развѣ не къ этому стремимся? Развѣ смыслъ всей нашей дѣятельности на разныхъ поприщахъ не заключается въ томъ, чтобы по мѣрѣ силъ содѣйствовать нравственному и экономическому поднятію нашего народа? Въ предѣлахъ именно этой, именно такъ опредѣленной цѣли, мы всѣ, конечно, отъ души протянемъ руку Неждановымъ и скажемъ имъ: „И мы къ тому же стремимся, и насъ волнуетъ то же, и мы иначе не понимаемъ смысла нашей жизни,—у насъ одна съ вами цѣль, цѣль высокая, благородная, для которой дѣйствительно отрадно хотя бы даже пожертвовать собою,—но мы въ то же время совершенно расходимся съ вами по многимъ другимъ вопросамъ, которые имѣютъ самое ближайшее отношеніе къ этой безспорно великой цѣли“. Въ чемъ же? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо выслушать опять-таки самихъ Неждановыхъ: спросить ихъ, какими способами они думаютъ достигнуть своей цѣли,—необходимо всмотрѣться въ нихъ самихъ, этихъ самоотверженныхъ дѣятелей, есть-ли въ нихъ то, что безусловно необходимо для успѣха дѣла, какъ они въ дѣйствительности поступаютъ, къ какимъ они приходятъ результатамъ.

Что Неждановы, Остродумовы и Маркеловы дѣйствительно съ самоотверженіемъ относятся къ осуществленію

своей цѣли, въ этомъ, конечно, нельзя сомнѣваться. „Остродумовъ собой пожертвовать сумѣетъ“, — говоритъ про него Неждановъ: „если нужно, онъ и на смерть пойдетъ“. И это не фраза. Въ этомъ насъ убѣждаютъ факты сравнительно недавняго прошлаго, которое происходило на глазахъ многихъ изъ насъ. А вотъ что Неждановъ пишетъ своему другу Силину: „Другъ Владиміръ!... мы съ Маріанной не ищемъ счастья; не наслаждаться мы хотимъ, а бороться вдвоемъ, рядомъ... Протяни намъ обоимъ издалека руки и пожелай намъ терпѣнья, силы, самопожертвованія и любви... больше любви. А ты, невѣдомый намъ, но любимый нами всѣмъ нашимъ существомъ, всею кровью нашего сердца, русскій народъ, прими насъ!..“ И это опять не фраза. Съ нашей точки зрѣнія, безразсудно, даже нелѣпо было со стороны Нежданова окликать, останавливать по дорогѣ проходившихъ мужиковъ и держать имъ „несообразныя“,—какъ выражается авторъ,—рѣчи; еще нелѣпѣе было бросаться въ толпу и призывать „за свободу впередъ двинуться грудью“,—но въ данномъ случаѣ дѣло не въ нелѣпости самаго поступка, а въ томъ, что человѣкъ до полнаго самозабвенія дѣйствительно жертвуетъ собою, нисколько не заботясь о томъ, что можетъ ожидать его впереди. Этой способности беззавѣтно, самоотверженно отдаваться своему дѣлу мы, конечно, можемъ только позавидовать. Настоящее дѣло, несомнѣнно, требуетъ для себя всего человѣка,—и счастливъ тотъ, кто дѣйствительно отдаетъ любимому дѣлу всю свою душу: выигрываетъ и дѣло, въ которое какъ бы вливается сама жизнь; выигрываетъ и самъ человѣкъ, переживая дѣйствительно однѣ изъ лучшихъ минутъ разумнаго, истинно-человѣческаго существованія. Мы и въ этомъ пока не расходимся съ Неждановыми; теперь посмотримъ, съ чѣмъ и какъ они берутся за дѣло, и какъ они его дѣлаютъ.

Первый вопросъ, съ которымъ Маркеловъ обращается къ Нежданову, слѣдующій: „Вы съ здѣшними (т. е. въ имѣніи Сипягина) крестьянами успѣли уже сблизиться?" Позднѣе Маріанна, наканунѣ своего бѣгства отъ Сипягиныхъ, проситъ пріѣхавшаго къ нимъ Соломина: „Вы только скажите намъ, куда намъ итти... Пошлите насъ... Вѣдь, вы пошлете насъ?"—Куда?—спросилъ Соломинъ. „Въ народъ... Куда же итти, какъ не въ народъ". Но мы съ своей стороны спросимъ: съ чѣмъ же итти въ народъ? что вы, Маріанна и Неждановъ, можете дать, принести съ собой этому народу? кто вы сами? кто и что васъ подготовило къ этой сложной и серьезной дѣятельности? да, наконецъ, знаете-ли вы, къ кому вы идете?—это все важные и наиболѣе существенные по отношенію къ мечтателямъ-народолюбцамъ вопросы.

Сначала о томъ, кто сами Неждановы и Маріанны, и подъ вліяніемъ чего они готовились къ жизни. Оставляя въ сторонѣ исключительное положеніе незаконнаго сына, мы можемъ принять въ Нежданове типичными слѣдующія черты: онъ вышелъ не изъ народа,—онъ во всякомъ случаѣ баринъ, хотя бы даже въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого слова. Маріанна тоже „господскаго" происхожденія. Оба они—питомцы той же самой книжной науки, на которой воспитывались и Рудины, и Лаврецкіе, и даже Базаровы. Правда, они уже не ломаютъ головы надъ туманными измышленіями Гегеля: Маріанна, напр., „занимается естественными науками",—какъ ее рекомендуетъ Коломѣйцеву г-жа Сипягина, — „и интересуется женскимъ вопросомъ"; но во всякомъ случаѣ они—люди книжки: изъ нея они почерпаютъ и свои цѣли и средства къ ихъ достиженію; не жизнь и, что самое главное,—не близкое съ нею знакомство, не изученіе жизни указываетъ имъ, что надо дѣлать и какъ дѣлать, а книжка, и только одна книжка, въ которую они такъ же

крѣпко вѣруютъ и которой такъ же крѣпко подчиняются, какъ въ былое время Рудины. И Паклинъ тысячу разъ правъ, говоря Нежданову: „Въ томъ-то наша и бѣда, Алексѣй Дмитріевичъ, что мы никого не знаемъ! Хотимъ дѣйствовать, хотимъ цѣлый міръ кверху дномъ перевернуть, а живемъ въ сторонѣ отъ этого самаго міра... Въ 1862 году поляки уходили „до лясу"—въ лѣсъ;—и мы уходимъ теперь въ тотъ же лѣсъ, т. е. въ народъ, который для насъ глухъ и теменъ не хуже любого лѣса".

Что же удивительнаго, что люди, воспитавшіеся на книжкѣ, ничего другого и дать не могутъ, какъ только то, что они вычитали изъ этихъ книжекъ, или самыя эти книжки,—можетъ быть, только нѣсколько приспособленныя для болѣе чѣмъ обыкновеннаго читателя. Отправляясь „на дѣло", „въ народъ", Неждановъ запихиваетъ себѣ въ задній карманъ нѣсколько брошюръ, въ которыхъ развиваются идеи о безусловной народной свободѣ, о раздѣлѣ земли исключительно между крестьянами, о несправедливомъ распредѣленіи богатства и т. д. Неждановъ раздаетъ затѣмъ эти брошюры первымъ встрѣчнымъ, тайкомъ оставляетъ ихъ въ горницахъ, засовываетъ въ крестьянскія телѣги. Мы видѣли уже, что́ и какъ говорилъ онъ въ толпѣ,—и ничего другого Неждановъ, конечно, и не могъ дать народу, который для него теменъ и глухъ не хуже любого лѣса.

Невольно сами чувствуя ту пропасть, которая отдѣляетъ ихъ отъ народа, Нежданов стараются хотя внѣшнимъ образомъ приблизиться къ народу, хоть своимъ внѣшнимъ обликомъ походить на него, наивно думая, что народъ, тотъ самый народъ, который, слава Богу, довольно имѣлъ времени, чтобы присмотрѣться къ барину и тотчасъ же признать его, — неправильно сочтетъ ихъ за „своихъ". И вотъ Неждановъ и Маріанна разы-

грываютъ „водевиль съ переодѣваньемъ". Собираясь итти „въ народъ", Неждановъ прежде всего совершенно преобразился по внѣшности. Когда Маріанна вышла къ нему, то невольно ахнула и въ первую минуту даже не узнала его: на немъ былъ истасканый, желтоватый, нанковый кафтанъ съ крошечными пуговками и высокой тальей; волосы онъ причесалъ по-русски, съ прямымъ проборомъ; въ рукѣ держалъ картузъ съ изломаннымъ козырькомъ; на ногахъ у него были нечищенные выростковые сапоги. „Все тутъ въ полномъ составѣ — ступай щеголять, народъ удивлять!"—какъ выражается Татьяна,— и говоритъ она, дѣйствительно, умныя слова: несомнѣнно, Неждановъ въ этомъ такъ не идущемъ къ его барскому обличью костюмѣ, весьма естественно, долженъ былъ показаться заправскому мужику такъ же, какъ и Базаровъ показался въ свое время, — „чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго". Снарядившись въ путь-дорогу, Неждановъ досталъ нѣсколько брошюръ, запихнулъ ихъ себѣ въ задній карманъ и произнесъ вполголоса: „Штошъ... робята... іефто... ничаво... потому-шта...",—и при этомъ подумалъ: „Кажется, похоже".

— „Эхъ, голубчики мои! Берете вы на себя тяготу не въ моготу!" восклицаетъ умная Татьяна, съ грустью посматривая на „тѣхъ, что опроститься хотятъ". И глубокая правда заключена въ этихъ немногихъ простыхъ словахъ. Дѣло, которое берутъ на себя Неждановы и Маркеловы, дѣйствительно оказывается болѣе чѣмъ не по силамъ для нихъ. Вотъ что разсказываетъ о своемъ „хожденіи въ народъ" Маріаннѣ самъ Неждановъ: „Въ пропагандѣ я оказался швахъ... Четыремъ человѣкамъ предлагалъ брошюры. Одинъ спросилъ, божественная-ли эта книга,—и не взялъ; другой сказалъ, что не знаетъ грамотѣ,—и взялъ для дѣтей, потому что на обложкѣ есть рисунокъ; третій сперва мнѣ все поддакивалъ—„тэ-акъ,

тэ-акъ...", потомъ вдругъ выругалъ меня самымъ неожиданнымъ образомъ,—и тоже не взялъ; четвертый, наконецъ, взялъ и много благодарилъ меня, — но, кажется, ни бельмеса не понялъ изъ того, что я говорилъ ему. Кромѣ того, одна собака укусила мнѣ ногу; одна баба съ порога своей избы погрозилась мнѣ ухватомъ, прибавивъ: „У! постылый! Шалопуты вы московскіе! Погибели на васъ нѣтути!" А вотъ что пишетъ по тому же поводу Неждановъ своему другу: „Вотъ на какого я наскочилъ: „Ужъ ты", — говоритъ, — „баринъ, не размазывай, а прямо скажи, отдаешь-ли ты всю свою землю, какъ есть, аль нѣтъ?"—Что ты,—отвѣчаю я ему,—какой я баринъ! — „А коли ты изъ простыхъ", — говоритъ,— „такъ какой въ тебѣ толкъ? И оставь ты меня, сдѣлай милость!" Прекраснымъ дополненіемъ ко всему этому можетъ служить разсказъ Маркелова о томъ, какъ онъ тоже „ходилъ въ народъ". Маркеловъ вздумалъ разъяснить крестьянамъ принципъ ассоціаціи и ввести ее у себя,—а они упирались. Одинъ изъ нихъ даже сказалъ по этому поводу: „Была яма глубока... а теперь и дна не видать...",—а всѣ прочіе крестьяне испустили глубокій дружный вздохъ. Таковы результаты,—и чего-нибудь другого и ожидать, конечно, было нельзя, потому что, говоря словами Паклина,—Неждановы и Маркеловы шли въ народъ, который „для нихъ былъ глухъ и теменъ не хуже любого лѣса". Въ этомъ именно и заключается главная причина того, что безспорно искреннее, доброе, горячее намѣреніе ограничивается „водевилемъ съ переодѣваньемъ", возбуждающимъ смѣхъ или по меньшей мѣрѣ недоумѣніе въ томъ самомъ народѣ, для котораго онъ предпринимается, — для самихъ же дѣйствующихъ лицъ этотъ водевиль заканчивается нерѣдко и очень трагично...

Вотъ относительно этого „водевиля съ переодѣ-

ваньемъ“ мы, несомнѣнно, расходимся съ Неждановыми. Мы возразимъ словами самого Нежданова: „Да, нашъ народъ спитъ; но намъ сдается, если что его разбудитъ,— это будетъ не то, что вы (т. е. Неждановъ) думаете“. Наши мечтатели-народолюбцы дѣлали именно не то, что дѣйствительно могло бы разбудить народъ,—а разбудить его, несомнѣнно, есть долгъ, святой долгъ каждаго изъ насъ. Но что же они должны были дѣлать, чтобы какъ можно производительнѣе примѣнить къ дѣлу тѣ силы, то искреннее, горячее желаніе служить народу, которымъ было переполнено ихъ сердце?

Соломинъ отвѣчаетъ намъ на это: „Да позвольте“,— говоритъ онъ Маріаннѣ: „какъ вы себѣ это представляете: начать? Не баррикады же строить со знаменемъ наверху — да: ура! за республику! А вотъ вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите;— и трудно вамъ это будетъ, потому что нелегко понимаетъ Лукерья, и васъ чуждается, да еще воображаетъ, что ей совсѣмъ не нужно то, чему вы ее учить собираетесь;— а недѣли черезъ двѣ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь;—а пока вы ребеночка помоете, или азбуку ему покажете, или больному лѣкарство дадите... вотъ вамъ и начало... Вамъ хочется собой пожертвовать для народа? Знаете-ли что, Маріанна... Вы извините неприличность выраженія... но, по-моему: шелудивому мальчику волосы расчесать—жертва, и большая жертва, на которую немногіе способны“.. Той же самой Маріаннѣ, на ея восторженныя слова: „Мы служить народу хотимъ“,—Татьяна говоритъ: „Какъ такъ служить? Учите его; вотъ вамъ и служба“...

— Да! да! тысячу разъ да!—скажемъ мы отъ себя: учите его—вотъ вамъ и служба, вотъ вамъ и настоящее дѣло, и это остается важнѣйшимъ долгомъ, первой, главной, насущной потребностью и въ наше время... Учите

сами и всѣми силами содѣйствуйте тому, чтобы и другіе его учили;—учите просто, но толково, не спѣша, не перескакивая прямо къ „принципамъ ассоціаціи". А для этого не нужно никакого „водевиля съ переодѣваніемъ", особенно теперь, въ наше время, когда типъ барина-крѣпостника уже значительно поблѣднѣлъ въ представленіи народа, и уже по крайней мѣрѣ три поколѣнія поднялось при новыхъ, некрѣпостническихъ условіяхъ жизни. Ни грязныхъ выростковыхъ сапогъ, ни старой фуражки съ ломанымъ козырькомъ, ни „што", ни „іефто",—ничего этого не нужно, а нужно только толковое, разумное участіе къ народнымъ нуждамъ, умѣнье передать простому русскому человѣку то, что ему по силамъ, съ чѣмъ онъ можетъ справиться, что дѣйствительно при существующихъ условіяхъ жизни можетъ быть имъ проведено въ собственную жизнь, можетъ послужить для него дѣйствительнымъ средствомъ сдѣлать хотя маленькій шагъ впередъ на пути его пробужденія отъ вѣкового невѣжества. Идите въ школу, и прежде всего въ школу: тамъ первое и по-истинѣ священное мѣсто для каждаго истиннаго друга народа. Учите ребятъ, учите взрослыхъ, присматривайтесь къ жизни народа, ищите гдѣ и чѣмъ вы могли бы помочь этому безпомощному даже въ самыхъ обыкновенныхъ случаяхъ жизни простому люду,—помогите совѣтомъ, личнымъ трудомъ,—да, именно: ребеночка помойте, азбуку ему покажите, лѣкарство больному дайте... Идите въ больницы: облегчайте страданія и предупреждайте ихъ разумнымъ совѣтомъ... Собственнымъ своимъ примѣромъ или при содѣйствіи другихъ, если имѣете на это средства, научите мужичка хоть ту же кормилицу-землю лучше пахать... Помогите ему разумно устроить кредитъ, развить или даже основать какой-нибудь промыселъ... Не „разговоры говорите", не „брошюрки" ему непонятныя давайте, а помогите ему, считаясь съ существующими условіями, улучшить свое положеніе, разумно-

сознательно къ нему отнестись и, хотя медленно, а все-таки выбираться на болѣе широкую, болѣе свѣтлую, настоящую человѣческую дорогу... А для всего этого, конечно, нужно, какъ слѣдуетъ, самихъ себя приготовить: не брошюрокъ въ карманъ напихать, а во-первыхъ—родную грамоту, какъ слѣдуетъ, знать да умѣть ее толково передать другому; во-вторыхъ—съ народной жизнью поближе познакомиться да запастись такими знаніями, пользуясь которыми, дѣйствительно, можно было бы разумно, съ пользой прійти „темному" человѣку на помощь въ этой самой жизни...

Мечтатели-народолюбцы были далеки отъ этого, и мы знаемъ, почему. Больше, чѣмъ на половину, безплодно гибли молодыя силы, не будучи въ состояніи справиться со своей безпочвенностью, со своимъ, такъ сказать, отвлеченнымъ увлеченіемъ безспорно высокой идеей служенія народу, — съ тѣмъ своимъ горячимъ увлеченіемъ, которое какъ бы закрывало имъ глаза на истинныя причины ихъ трагической судьбы...

Когда мы думаемъ обо всемъ этомъ, слѣдя по роману за судьбою Нежданова, наши взоры невольно обращаются въ сторону другого дѣйствующаго лица, которое, — особенно рядомъ поставленное съ неудачникомъ Неждановымъ, — по крайней мѣрѣ, при первомъ, такъ сказать, общемъ взглядѣ, какъ бы заставляетъ насъ невольно заволноваться надеждой, что у насъ на Руси наступилъ наконецъ настоящій день, и среди насъ уже появились настоящіе люди „почвы и дѣла". Это другое, такъ много обѣщающее лицо—Соломинъ. Не онъ-ли русскій Инсаровъ? не съ нимъ-ли наступаетъ настоящій день? Авторъ, повидимому, склоненъ отвѣтить на это утвердительно; тѣмъ любопытнѣе поэтому поближе познакомиться съ этимъ новымъ и уже „настоящимъ" человѣкомъ.

Въ первый разъ мы слышимъ имя Соломина изъ устъ

Сипягина: на обѣдѣ въ день Колиныхъ именинъ онъ упомянулъ объ одномъ молодомъ русскомъ, нѣкоемъ Соломинѣ, который, по слухамъ, на отличную ногу поставилъ фабрику купца. Страницъ черезъ двадцать мы во второй разъ слышимъ о Соломинѣ отъ Маркелова: „Мы его еще не раскусили"—говоритъ Маркеловъ,—„но дѣльный, дѣльный человѣкъ". Еще черезъ двадцать страницъ мы видимъ наконецъ самого Соломина. Авторъ, уже на этотъ разъ самъ, разсказываетъ намъ про него такъ: „На первый взглядъ Соломинъ производилъ впечатлѣніе чухонца, или скорѣе шведа. Онъ былъ высокаго роста, бѣлобрысъ, сухопаръ, плечистъ; лицо имѣлъ длинное, съ широкимъ и короткимъ носомъ,—глаза очень небольшіе, зеленоватые, взглядъ спокойный;—губы крупныя и выдвинутыя впередъ: зубы бѣлые, тоже крупные, и раздвоенный подбородокъ, чуть-чуть обросшій пухомъ".—„Да, это не нашъ братъ, тепличная нѣженка, дворянская косточка",—невольно скажемъ мы,—тѣмъ болѣе, что и одѣтъ Соломинъ,—какъ разсказываетъ дальше авторъ, ремесленникомъ, кочегаромъ: на туловищѣ старый пиджакъ съ отвислыми карманами, на головѣ клеенчатый помятый картузъ, на шеѣ шерстяной шарфъ, на ногахъ дегтярные сапоги. Пришелъ онъ прямо „съ дѣла", изъ фабричнаго корпуса, подошелъ къ своимъ гостямъ Нежданову и Маріаннѣ, молча „даванулъ" руку каждаго изъ нихъ своей мозолистой, костлявой рукой, потянулся, крякнулъ, сбросилъ картузъ съ затылка долой однимъ взмахомъ руки и, присѣвъ на деревянный крашеный стульчикъ, сказалъ только имъ: „Прошу!" — „Дѣльный, очень дѣльный человѣкъ",—невольно припоминаемъ мы при этомъ слова Маркелова. Соломинъ говорилъ замѣчательно мало... такъ мало, что почти, можно сказать, постоянно молчалъ: но слушалъ пристально, и, если произносилъ какое-либо сужденіе или замѣчаніе, то оно

было и дѣльно, и вѣско, и очень коротко.—„Слава Богу!“ —воскликнемъ мы при этомъ: „мы, должно быть, уже пережили блаженныя времена нашихъ милыхъ говоруновъ Рудиныхъ“. И улыбается Соломинъ особенно: Паклинъ, кивнувъ головой на Соломина, говоритъ Нежданову: „Чудесный! какъ это онъ славно улыбается!.. Я замѣтилъ, что такъ улыбаются только такіе люди, которые выше другихъ, а сами этого не знаютъ“.

Соломинъ вышелъ изъ народа. Писатель разсказываетъ намъ про него, что „онъ сынъ дьячка; у него было пять сестеръ—всѣ замужемъ за попами и дьяконами; съ согласія отца, степеннаго и трезваго человѣка, онъ бросилъ семинарію, сталъ заниматься математикой и особенно пристрастился къ механикѣ; попалъ на заводъ къ англичанину, который полюбилъ его, какъ сына, и далъ ему средства съѣздить въ Англію, гдѣ онъ пробылъ два года и выучился англійскому языку. Возвратившись изъ-за границы, онъ поступилъ на бумагопрядильную фабрику одного купца.—„Да“,—скажемъ мы: „этотъ человѣкъ не изъ московской или берлинской студенческой говорильни вышелъ, не изъ однѣхъ отвлеченно-философскихъ книжекъ уму-разуму научился: онъ, во-первыхъ, спеціальную теоретическую подготовку получилъ, а во-вторыхъ, самъ цѣлыхъ два года на станкахъ работалъ дѣло на немъ самомъ, на самомъ живомъ дѣлѣ изучалъ,— и, конечно, не только само дѣло изучилъ, но и тѣ живыя машины, въ рукахъ которыхъ кипитъ это дѣло, и съ которыми нужно умѣть жить и работать“. И писатель по этому поводу прибавляетъ: „Хотя Соломинъ съ подчиненныхъ и взыскивалъ, потому что въ Англіи на эти порядки насмотрѣлся, но пользовался ихъ расположеніемъ: свой, дескать, человѣкъ!“ Они уважали его, какъ старшаго, и обходились съ нимъ, какъ съ равнымъ, какъ съ своимъ. А это, конечно, значитъ: Соломинъ самъ

можетъ стать наравнѣ съ каждымъ рабочимъ у станка и помочь еще ему осмыслить его трудъ. Когда посѣтившій Соломинскую фабрику англійскій мануфактуристъ пришелъ въ восторгъ отъ знаній Соломина и на глазахъ рабочихъ восклицалъ: „Караша оу васъ эта. Оу! караша!“ —рабочіе не безъ гордости говорили между собою про Соломина: „Вотъ нашъ-то каковъ! нашъ-то!“

Почти съ перваго же знакомства своего съ Соломинымъ еще у Синягиныхъ, Неждановъ думаетъ про него: „Уравновѣшанный характеръ; обстоятельный, свѣжій, крупный человѣкъ; спокойная, крѣпкая сила; знаетъ, что ему нужно,—и себѣ довѣряетъ, и въ другихъ возбуждаетъ довѣріе“. И дѣйствительно, Соломинъ знаетъ, что ему нужно,—онъ знаетъ дѣло. Припомнимъ, какъ Соломинъ, по просьбѣ Синягина, осматривалъ его писчебумажную фабрику. Авторъ говоритъ намъ по этому поводу: „Не только Синягинъ, даже Коломѣйцевъ чувствовалъ, что Соломинъ на фабрикѣ, какъ дома, что ему тутъ все извѣстно и знакомо, до послѣдней мелочи; что онъ тутъ хозяинъ. Онъ клалъ руку на машину, какъ ѣздокъ на шею лошади, тыкалъ пальцемъ колесо, — и оно останавливалось или начинало вертѣться; бралъ на ладонь изъ чана того мѣсива, изъ котораго выдѣлывается бумага,— и оно тотчасъ показывало всѣ свои недостатки“. При этомъ мы должны сказать, что Соломинъ не узкій спеціалистъ механикъ-фабрикантъ,—нѣтъ: онъ заводитъ на фабрикѣ школы, больницы, онъ входитъ въ жизнь рабочаго.

Какъ все это насъ радуетъ! — „Вотъ“, — готовы мы сказать,—„настоящій, не самоломанный, не вывихнутый человѣкъ,—и человѣкъ не фразы, а дѣла, не выдуманнаго какого-нибудь дѣла, а настоящаго, жизненнаго дѣла!“

Еще больше возбуждаетъ въ насъ къ себѣ сочувствіе

Соломинъ, когда мы прислушаемся къ его взгляду на Неждановское дѣло. Авторъ говоритъ: „Соломинъ не вѣрилъ въ близость революціи въ Россіи. Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ, ибо былъ самъ изъ народа, но онъ понималъ что еще долго надо готовить народъ,—да и не такъ и не тому, какъ тѣ", т. е. революціонеры. Когда Неждановъ и Маріанна заявили ему, что они хотятъ бѣжать отъ Сипягиныхъ, чтобы скорѣе приняться за дѣло, Соломинъ говоритъ имъ: „Послушайте: если у васъ нѣтъ другой причины, то бѣжать вамъ отсюда еще не для чего. Дѣло это еще не такъ скоро начнется, какъ вы думаете. Тутъ нужно еще нѣкоторое благоразуміе. Нечего соваться впередъ зря. Повѣрьте мнѣ". Позднѣе, уже у себя на фабрикѣ, когда Неждановъ и Маріанна преобразились въ пригородныхъ мѣщанъ, Соломинъ посмотрѣлъ на нихъ, слегка прищурясь, и вдругъ захохоталъ". Изъ всего этого достаточно ясно, что Соломинъ, строго говоря, не сочувствуетъ Неждановымъ, не сочувствуетъ ихъ способу дѣйствій, и поэтому держится въ сторонѣ,—„не какъ хитрецъ и виляка",—говоритъ авторъ,—„а какъ малый со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя ни другихъ". Онъ хорошо понимаетъ, что Неждановы не знаютъ истинной сущности настоящаго дѣла, совершенно неподготовлены къ нему, не умѣютъ взяться за него. Его въ особенности возмущаетъ, что они „зря суются", вѣрнѣе: „рвутся" впередъ, наивно думая все передѣлать въ какіе-нибудь два-три года. Въ разговорѣ съ Маркеловымъ и Неждановымъ Соломинъ замѣтилъ между прочимъ, что „есть двѣ манеры выжидать: выжидать и ничего не дѣлать,—и выжидать, да подвигать дѣло впередъ". А когда Маркеловъ на это возразилъ: „Намъ не надо „постепеновцевъ",—Соломинъ прямо заявилъ о себѣ, что онъ именно постепеновецъ,—но „по-

степеновцы до сихъ поръ шли сверху",—прибавилъ онъ, —„а мы попробуемъ снизу". Въ самомъ концѣ романа авторъ, устами Паклина, самъ дѣлаетъ какъ бы общее заключеніе о характерѣ и личности Соломина слѣдующими словами: „Такіе, какъ Соломинъ, они то вотъ и есть настоящіе. Это не герои: это крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно! Вы смотрите на Соломина: уменъ, какъ день, — и здоровъ, какъ рыба. Какъ же не чудно! Вѣдь, у насъ до сихъ поръ на Руси какъ было: коли ты живой человѣкъ, съ чувствомъ, съ сознаніемъ, — такъ непремѣнно больной! А у Соломина сердце то, пожалуй, тѣмъ же болѣетъ, чѣмъ и наше,—и ненавидитъ онъ то же, что мы ненавидимъ,—да и нервы у него молчатъ, и все тѣло повинуется, какъ слѣдуетъ... значитъ: молодецъ! Помилуйте: человѣкъ съ идеаломъ,—и безъ фразы; образованный,—и изъ народа; простой,—и себѣ на умѣ... Какого вамъ еще надо?.."

Не правда-ли, — лучшаго аттестата и выдать нельзя. Остается только запаковать его въ конвертъ и надписать: „Г. русскому Инсарову—Вас. Ѳедот. Соломину, — человѣку почвы и дѣла, безъ фразы и молодцу". Но мы еще не подписали этого аттестата; подписать же его по-Фамусовски у насъ рука не поднимается: мы непремѣнно должны его разсмотрѣть и сличить съ тѣмъ, кому онъ выдается.

Если мы сами подведемъ итогъ тому, что мы успѣли на протяженіи всего романа узнать о Соломинѣ, то окажется, что, — по увѣренію автора, — школа, больницы, нравственное сближеніе съ народомъ, черная работа культуры, вродѣ расчесыванія волосъ шелудивому мальчику— вотъ практическія стремленія Соломина, а то, о чемъ мечтаютъ герои-народолюбцы, вызываетъ у Соломина одно лишь чувство состраданія. Авторъ говоритъ намъ, что Соломинъ просвѣщаетъ народъ, облегчаетъ ему условія труда, лѣчитъ его отъ нравственныхъ и физическихъ

недуговъ. Онъ превосходно знаетъ крестьянъ, и въ то же время онъ выученикъ европейской цивилизаціи. Однимъ словомъ,—„какого же еще вамъ надо?!"—повторимъ мы восклицаніе Паклина.

— Конечно, конечно. Но слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на что: собирая на страницахъ романа характерныя черты Соломина, мы неоднократно употребляли выраженія: „по увѣренію автора", — „какъ говоритъ намъ авторъ",—и это очень важное обстоятельство. Въ романѣ мы не находимъ положительно ни одной сцены, въ которой мы могли бы видѣть почтеннѣйшаго Василія Ѳедотыча не говорящимъ только, а дѣйствительно дѣлающимъ то, что онъ самъ говоритъ о себѣ, а еще больше — что говоритъ о немъ самъ авторъ. Мы, искушенные горькимъ опытомъ судьбы нашихъ Рудиныхъ, окончательно, вѣдь, извѣрились въ слова, какъ бы они просто и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокомысленно ни были сказаны. Мы невольно готовы сказать Соломину: „Василій Ѳедотычъ! мы не имѣемъ основанія вамъ не довѣрять, но все-таки позвольте взглянуть, какъ это у васъ выходитъ на дѣлѣ,—и прежде всего ради того, чтобы поучиться у васъ уму-разуму". Соломинъ же,—по крайней мѣрѣ, на страницахъ романа,—не въ состояніи удовлетворить наше вполнѣ законное желаніе. За него какъ бы выступаетъ впередъ авторъ и говоритъ намъ: „Смѣю васъ увѣрить, господа, что мой Вас. Ѳедот. именно таковъ и именно все такъ и дѣлаетъ, какъ я вамъ докладываю". Но, вѣдь, этими авторскими увѣреніями мы удовлетвориться не можемъ и въ отвѣтъ на нихъ все же скажемъ: „Вы намъ на дѣлѣ все покажите, и тогда мы не только признаемъ вашего Соломина настоящимъ человѣкомъ, но и пойдемъ за нимъ". Еще больше укрѣпляется въ насъ сомнѣніе относительно художественной правдивости Соломина, какъ общественнаго типа, когда мы обратимъ вниманіе хотя бы на слѣ-

дующіе два факта: во-первыхъ, какъ это Соломинъ,— такой, какимъ его старается отрекомендовать авторъ,— можетъ серьезно слушать, даже какъ бы съ уваженіемъ, по-истинѣ дѣтски-наивные разговоры Нежданова и Маріанны; во-вторыхъ, какъ это онъ не удерживаетъ Нежданова отъ рискованной, а главное — безцѣльной пропаганды въ народѣ?

Все это, конечно, происходитъ оттого, что, подобно Нежданову, образъ Соломина не данъ въ своемъ цѣломъ самою жизнью, а созданъ,—если не сказать: сочиненъ,— писателемъ по заранѣе обдуманному плану. А замыселъ автора намъ уже извѣстенъ: Неждановъ своей печальной судьбой, во что бы то ни стало, долженъ посрамить молодыхъ мечтателей-народолюбцевъ, какъ защитниковъ извѣстнаго политическаго идеала; Соломинъ же, въ противоположность Нежданову, долженъ воплотить въ своей личности „положительныя стремленія сильнѣйшей и разумнѣйшей части русской молодежи". Съ такимъ именно заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ и приступилъ нашъ писатель не „къ созданію",—скажемъ мы,—а „къ искусственной формировкѣ",—и не общественныхъ типовъ, а только героевъ своей заранѣе обдуманной, а не изъ жизни выхваченной картины. И получилось то, что должно было въ подобномъ случаѣ получиться: въ Соломинѣ, какъ и въ Неждановѣ, мы не можемъ признать жизнью даннаго человѣка,—по крайней мѣрѣ, въ томъ смыслѣ, какъ, напр., Рудина.

Такимъ образомъ „Инсаровскій" вопросъ остается для насъ открытымъ, и мы по-прежнему не можемъ утвердительно отвѣчать на давно уже волнующій насъ вопросъ: „Наступилъ-ли наконецъ у насъ на Руси настоящій день?"

Но приблизились-ли мы, по крайней мѣрѣ, къ нему еще хотя на шагъ послѣ трагической кончины Базарова? На этотъ вопросъ мы можемъ отвѣтить.

Заканчивая въ нашей прошлой бесѣдѣ характеристику Базарова, мы между прочимъ сказали вотъ что: Базаровъ сознательно устраняется отъ окружающей жизни, напрасно, подобно Рудину, замыкаясь въ кругъ интересовъ, удовлетворяющихъ лишь личную жажду знанія въ извѣстной области науки. Трудомъ, хотя и серьезнымъ самимъ по себѣ, но только трудомъ, не наполнить жизни, если трудъ этотъ не согрѣтъ, не подъятъ во имя чего-то высшаго; а Базаровъ намѣренно забивалъ въ себѣ все общее, высшее, намѣренно суживалъ и сушилъ отъ природы широкую область своего духа. Ему далеко до Инсарова главнымъ образомъ потому, что его дѣятельность не освѣщается горячимъ желаньемъ слиться съ жизнью своей родины, прійти, насколько только онъ въ состояніи, на помощь своему народу. Мы видѣли, что Базарову свой родной народъ представлялся таинственнымъ незнакомцемъ, котораго онъ не только не хотѣлъ узнать, но даже еще и презиралъ.

Конечно, было бы въ высшей степени несправедливо приложить это все къ Неждановымъ. Если Базаровы съ пренебреженіемъ отвертывались отъ народа, то Нежданов, напротивъ, такъ сказать, протягивали къ нему свои объятія; они не только не говорятъ: „Мнѣ какое дѣло до этого самаго Филиппа? Ну, онъ будетъ въ бѣлой избѣ сидѣть, а изъ меня будетъ лопухъ расти“,—какъ это говорятъ Базаровы,—нѣтъ, Неждановы дѣйствительно жаждутъ слиться съ народомъ, съ искреннею любовью стремятся войти въ его жизнь, помочь ему выбраться къ свѣту, сбросить съ себя оковы культурнаго рабства,—они дѣйствительно хотятъ служить народу, служить беззавѣтно, самоотверженно, именно совсѣмъ не думая о своей личной судьбѣ, готовые принести въ жертву своему дѣлу даже собственную жизнь. Правда, они безсильны, безпомощны на избранномъ ими трудномъ пути, не подготовлены къ нему, непосильную для себя тяготу поднимаютъ

на свои плечи,—они болѣе, чѣмъ на половину, гибнутъ безплодно для того самаго дѣла, которому они такъ самоотверженно служатъ — все это такъ; но во всякомъ случаѣ ихъ, — скажемъ даже,—полусознательное, безпочвенное, дѣтски-наивное стремленіе въ народъ, навстрѣчу хотя и малоизвѣстному для нихъ простому русскому человѣку, безспорно, несравненно привлекательнѣе сухого Базаровскаго эгоизма, хотя и окрашеннаго стремленіемъ къ широкому точному знанію. Неждановы все-таки ближе, нежели Базаровы, къ тому идеалу общественнаго дѣятеля, тѣсно связаннаго съ окружающей его жизнью, почерпающаго изъ нуждъ и запросовъ этой самой жизни основаніе всѣмъ своимъ стремленіямъ, всей своей дѣятельности, художественный набросокъ (въ Инсаровѣ, какъ въ художественномъ образѣ, несомнѣнно много недостатковъ) котораго даетъ намъ нашъ писатель въ своемъ болгаринѣ Инсаровѣ.

Если бы авторъ не поддался своей предвзятой цѣли, во что бы то ни стало, посрамить въ лицѣ Нежданова нашихъ мечтателей-народолюбцевъ; если бы онъ для этого не поставилъ своего героя въ слишкомъ исключительное положеніе незаконнаго сына завзятаго аристократа; если бы онъ не надѣлилъ его при этомъ „проклятой эстетикой"; если бы авторъ объективнѣе, покойнѣе, безпристрастнѣе отнесся къ явленіямъ наблюдаемой имъ жизни,—то, конечно, мы еще лучше почувствовали бы, что съ Неждановымъ еще болѣе отходитъ въ исторію Рудинская праздная болтовня, эгоистическое мечтаніе Лаврецкаго о личномъ счастьѣ, эгоистическая же самоломанность и какъ бы преднамѣренная отчужденность Базарова отъ жизни,—мы сильнѣе бы почувствовали, что наше русское культурное молодое поколѣніе уже сознательно начинаетъ становиться на настоящую дорогу, по крайней мѣрѣ по тѣмъ общимъ цѣлямъ—служить народу,

его духовному и экономическому развитію, которыми оно искренно и съ увлеченіемъ проникается. Рядомъ съ этимъ, если бы нашъ писатель поближе, а не изъ своего „прекраснаго далека"—Баденъ-Бадена или Парижа, присмотрѣлся къ безспорно нарождавшимся среди русской культурной молодежи Соломинымъ; если бы онъ опять-таки не слишкомъ, такъ сказать, торопился высказать,—именно высказать, а не воплотить въ художественные образы,—свои мысли и взгляды, то, несомнѣнно, въ лицѣ Соломина мы дѣйствительно почувствовали бы „уравновѣшеннаго человѣка почвы и дѣла",—если и не въ полномъ жизненномъ развитіи, такъ какъ этого въ началѣ 70-хъ годовъ, пожалуй, нельзя еще было и ожидать, то во всякомъ случаѣ въ болѣе опредѣленномъ и жизненно-правдивомъ изображеніи, нежели то вышло въ разбираемомъ нами произведеніи. А что болѣе уравновѣшенные русскіе люди почвы и дѣла начали уже приходить въ это время на смѣну почти безплодно и нерѣдко трагично погибавшимъ Неждановымъ,—на это намъ указываетъ самая возможность зарожденія въ фантазіи поэта такого образа, какъ Соломинъ: при всей, какъ мы видѣли, преднамѣренности замысла, авторъ „Нови", все-таки обладавшій въ высокой степени художественнымъ чутьемъ, не могъ, конечно, исключительно „отъ себя" сочинить то, чего совершенно не давала бы жизнь: для этого нашъ писатель былъ слишкомъ художникъ, и при томъ художникъ, достигнувшій полнаго развитія своего глубокаго и сильнаго таланта.

Заключительными страницами, къ сожалѣнію, такъ неудавшейся „Нови", строго говоря, и заканчивается поэтическая лѣтопись Тургенева. Приближающійся къ закату художественный геній поэта-лѣтописца сказался въ „Нови" послѣднимъ, какъ бы замирающимъ аккордомъ, и художникъ уступаетъ свое творческое перо своимъ младшимъ преемникамъ...

Передъ нами теперь цѣлый рядъ поколѣній на протяженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ; передъ нами большая, сложная художественная историческая картина, написанная рукою дѣйствительно великаго мастера. До настоящей минуты мы старались какъ можно ближе стоять къ этой картинѣ, чтобы, такъ сказать, непосредственнѣе воспринять отъ нея съ большей силой, съ большей подробностью производимое ею впечатлѣніе. Мы подробно останавливались не только на цѣлыхъ фигурахъ, сценахъ, явленіяхъ, но внимательно всматривались и вдумывались въ каждый отдѣльный штрихъ. И мы должны сознаться: далеко не отрадное чувство все болѣе и болѣе овладѣвало нашимъ сердцемъ. Оно невольно сжималось отъ жгучей, острой боли, когда передъ нами выдѣлялись мрачными пятнами въ картинѣ такія подробности, какъ вечеръ у Ласунской, сцена на баррикадахъ въ Парижѣ, послѣднее посѣщеніе Лаврецкимъ дома Калитиныхъ, разговоръ Базарова съ Аркадіемъ по поводу русскаго мужика, столпотвореніе Вавилонское у Губарева въ Баденъ-Баденѣ, безпомощность Литвинова противъ первой встрѣчной „волны", и рядомъ съ этимъ постыдное рабство Потугина,—наконецъ, не менѣе позорная исторія гранатоваго крестика Джеммы. „Дымъ! дымъ! и дымъ!"—невольно съ грустью, вполголоса восклицали мы, подавленные мрачностью, но въ то же время и жизненной правдивостью кисти художника, и съ этимъ именно чувствомъ мы заканчивали изученіе положительно приковывавшей насъ къ себѣ картины.

Но теперь отойдемъ нѣсколько подальше отъ нея: дадимъ нѣсколько сгладиться передъ нашимъ мысленнымъ взоромъ всѣмъ слишкомъ мрачнымъ подробностямъ; взглянемъ разомъ на всю картину, попробуемъ схватить ея общее и при этомъ постараемся, насколько возможно, отрѣшиться отъ овладѣвшаго нами подъ вліяніемъ мрач-

ныхъ подробностей тяжелаго чувства. — Да, — скажемъ мы, — дѣйствительно мрачна та атмосфера, въ которой выступаютъ передъ нами Рудины, Лаврецкіе, Литвиновы и Санины, — дѣйствительно слабы, безпомощны, безпочвенны и болѣе чѣмъ жалки по своей судьбѣ они сами, — дѣйствительно какимъ-то „дымомъ" окутаны и нерѣдко однимъ также дымомъ разсѣеваются всѣ ихъ по отвлеченнымъ цѣлямъ собственно добрыя начинанія, безплодно гибнутъ ихъ свѣжія молодыя силы, тщетно обращаетъ къ нимъ свои взоры все-таки нерѣдко самоотверженно любимая ими родина, — все это такъ. Но мы не можемъ не чувствовать, что въ этихъ слабыхъ, безпомощныхъ, вывихнутыхъ и самоломанныхъ русскихъ Гамлетахъ, отрицателяхъ, мечтателяхъ-народолюбцахъ все-таки теплится искра Божія, и эта искра, — правда, медленно, но несомнѣнно разгорается, наполняя ихъ сердце все болѣе и болѣе сознательнымъ стремленіемъ къ настоящему свѣту, къ настоящему дѣлу, къ настоящей жизни. Мы не можемъ не простить имъ тѣхъ слабостей, которыми они совершенно естественно были тѣсно связаны съ воспитавшей ихъ средой: они все-таки не только сознавали ихъ, но по мѣрѣ силъ старались отдѣлаться отъ нихъ; мы не можемъ не простить имъ ихъ заблужденій и ошибокъ, потому что они, вѣдь, пролагали новый путь, пытались выйти на новую дорогу, — и самыя ошибки свои они, вѣдь, глубоко чувствовали, съ искреннимъ горячимъ желаніемъ, хотя и съ нѣкоторой крайностью, свойственной молодости, старались исправить ихъ. Наши Гамлеты, отрицатели и мечтатели-народолюбцы все-таки знаменуютъ собою несомнѣнное поступательное движеніе въ развитіи нашего общественнаго сознанія, — и именно въ этомъ несомнѣнномъ прогрессѣ общественной мысли, общественныхъ взглядовъ на жизнь, достоинства и обязанности человѣка и заключается то отрадное, что вноситъ

радостное, ободряющее настроеніе въ нашу душу и сообщаетъ всей картинѣ художника-поэта особое освѣщеніе, какъ бы указывающее на близкое наступленіе „настоящихъ“, лучшихъ дней...

ЖЕНСКІЕ ТИПЫ

въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева.

Каждому изъ насъ приходилось пережить и не одинъ, конечно, ненастный осенній день. И день, а все-таки какой-то полумракъ. Отъ земли поднимается какой-то дымъ, и, окутанные этимъ дымомъ-паромъ, даже живые люди кажутся какими-то неопредѣленными силуэтами, самыя ихъ движенія какъ бы расплываются въ этомъ сгущающемся мѣстами туманѣ. Изрѣдка лишь и опять-таки мѣстами какъ будто бы даже разойдется этотъ надоѣдливый дымъ-паръ, блеснетъ сквозь него лучъ солнца, на мгновенье радостнѣе станетъ на душѣ, движущіеся по своимъ дѣламъ люди получатъ болѣе правильныя очертанія, — а потомъ опять сгустится паръ, пожалуй даже темнѣе на время сдѣлается,—вамъ холодно, именно холодно, грустно, даже тяжело, словно сама жизнь замираетъ передъ вами, и васъ поддерживаетъ только надежда, что ненастный осенній день все же естественное явленіе въ жизни природы, и за нимъ непремѣнно настанетъ свѣтлый, солнечный день, въ который окружающая жизнь предстанетъ въ своемъ настоящемъ и несомнѣнно въ лучшемъ видѣ.

И вотъ, представьте себѣ, что именно въ такой ненастный день вы вошли въ совсѣмъ простую комнату.

Въ ней нѣтъ ничего особеннаго, но она освѣщена ровнымъ, мягкимъ свѣтомъ, въ ней разлита пріятная теплота, кругомъ порядокъ. Люди, которые васъ встрѣчаютъ, собственно самые обыкновенные люди, какъ и все то, что ихъ окружаетъ въ этой комнатѣ; но у нихъ ясный, открытый взоръ, простая, но разумная, дѣловитая рѣчь, въ ихъ движеніяхъ чувствуется увѣренность, они просто, но сознательно-дѣловито берутся за все, съ любопытствомъ выслушаютъ васъ, примутъ въ васъ участіе. И вамъ хорошо среди этихъ людей, въ этой, собственно, самой простой обстановкѣ; вы какъ бы отдыхаете душой и невольно думаете: „Вѣдь, тамъ, въ этомъ дымѣ-парѣ я видѣлъ, собственно, такихъ же людей, какихъ я вижу и здѣсь, при этомъ ровномъ, мягкомъ свѣтѣ; вѣдь, это только дымъ-паръ придаетъ имъ самимъ и ихъ движеніямъ неправильныя, уродливыя формы. Но вотъ разсѣется дымъ,—а онъ, конечно, разсѣется, — и люди предстанутъ настоящими людьми, ихъ освѣтитъ солнышко: оно укажетъ имъ настоящія дорожки къ ихъ цѣлямъ, и люди пойдутъ по этимъ дорожкамъ правильнымъ, увѣреннымъ шагомъ...

Именно такія мысли, именно такія чувства невольно наполняютъ наше сердце, когда мы изъ среды тургеневскихъ „лишнихъ“ людей, нашихъ россійскихъ Гамлетовъ, отрицателей и народолюбцевъ мужчинъ перейдемъ въ міръ женскихъ образовъ, созданныхъ художественнымъ геніемъ того же поэта.

Мы разсмотримъ эти образы въ томъ же порядкѣ, въ какомъ они предстаютъ передъ нами послѣдовательно на страницахъ художественной лѣтописи нашего писателя. Мы всмотримся въ каждую отдѣльную черту лица тургеневской женщины, постараемся проникнуть въ ея душу, въ ея сердце, прислушаемся къ тому, что волнуетъ первую, чѣмъ бьется второе,—прислушаемся къ каждому

ихъ отдѣльному слову, вдумаемся въ каждый ихъ отдѣльный шагъ: Наташа, Лиза, Елена, Маріанна, Ася—безусловно заслуживаютъ этого и сами по себѣ, и по той теплотѣ чувства, съ которой рисуетъ ихъ художникъ.

— Но позвольте! позвольте!—возразятъ намъ: кто же не знаетъ, что если говорятъ—„тургеневская женщина", то это уже непремѣнно что-нибудь такое, что „не отъ міра сего"? кто же не знаетъ, что если Державина еще при его жизни называли „пѣвцомъ Екатерины", то Тургенева—„пѣвцомъ русской женщины"? Что же можетъ быть послѣ этого дурного въ этихъ Наташахъ, Лизахъ и Еленахъ? Онѣ, конечно, одно сплошное совершенство!

На это возраженіе необходимо отвѣтить,—и прежде всего скажемъ по поводу того, что если мы беремъ женскій типъ изъ художественныхъ созданій Тургенева, то это непремѣнно уже что-нибудь „не отъ міра сего". Такое мнѣніе по меньшей мѣрѣ несправедливо. И въ самомъ дѣлѣ: начиная съ „Записокъ охотника" и кончая „Вешними водами", мы видимъ не одну, а цѣлый рядъ такихъ женщинъ, которыя самымъ тѣснымъ образомъ связаны именно съ „нашимъ міромъ" своими нерѣдко болѣе чѣмъ выдающимися недостатками. Припомнимъ г-жу Звѣркову изъ „Записокъ охотника", ту самую почтенную г-жу Звѣркову, которая была возмущена черной неблагодарностью своей горничной, вздумавшей, какъ будто бы и настоящій человѣкъ, съ настоящимъ человѣческимъ сердцемъ, полюбить и желать соединиться съ любимымъ человѣкомъ: припомнимъ, какія были послѣдствія этого высокаго господскаго гнѣва. А г-жа Ласунская съ ея салономъ, съ ея отношеніемъ къ окружающимъ ее крѣпостнымъ и ко всей жизни? А Варвара Павловна изъ „Дворянскаго гнѣзда"? Достаточно припомнить хотя бы дѣйствительно возмутительную сцену

примиренія, подстроенную Марьей Дмитріевной совершенно неожиданно для Лаврецкаго,—особенно заключительную картину, когда Варвара Павловна, въ отвѣтъ на восклицаніе Марьи Дмитріевны, что всѣ мужчины безчувственны, промолвила: „Зато женщины умѣютъ цѣнить доброту и великодушіе“, при этомъ тихонько опустилась на колѣни передъ Марьей Дмитріевной, охватила ея станъ обѣими руками и прижалась къ ней лицомъ,—и „это лицо“,—прибавляетъ авторъ,—„втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитріевны опять закапали слезы“. Не многимъ, пожалуй, уступаетъ Варварѣ Павловнѣ Ирина въ „Дымѣ“. Вотъ отрывокъ изъ ея послѣдняго, рѣшительнаго письма къ Литвинову: „О, мой другъ, считай меня пустою, слабою женщиной, презирай меня, но не покидай меня, не покидай твоей Ирины!... Оставить этотъ свѣтъ я не въ силахъ, но и жить въ немъ безъ тебя не могу. Мы скоро вернемся въ Петербургъ; пріѣзжай туда, живи тамъ: мы найдемъ тебѣ занятіе; твои прошедшіе труды не пропадутъ: ты найдешь для нихъ полезное примѣненіе... только живи въ моей близости, только люби меня, какова я есть, со всѣми моими слабостями и пороками, и знай, ничье сердце никогда не будетъ такъ нѣжно тебѣ предано, какъ сердце твоей Ирины“... Читая эти строки, Литвиновъ почувствовалъ, какъ молотомъ ударила ему кровь въ голову, а потомъ медленно и тяжело опустилась на сердце и такъ камнемъ въ немъ и застыла. „Поѣзжай за нами въ Петербургъ!!“—повторялъ онъ съ громкимъ внутреннимъ хохотомъ: „мы тамъ найдемъ тебѣ занятіе!.. Въ столоначальники меня что-ли произведутъ? И кто это мы? Вотъ когда сказалось ея прошедшее! Вотъ то темное, безобразное, котораго я не знаю... Вотъ тотъ міръ интригъ, темныхъ отношеній и всевозможныхъ исторій... И какая будущность, какая прекрасная роль меня ожидаетъ!

Жить въ ея близости, посѣщать ее, дѣлить съ ней развращенную меланхолію модной дамы... быть домашнимъ другомъ ея... пока... пока минетъ капризъ, и пріятель-плебей потеряетъ свою пикантность...“ Въ душѣ Литвинова поднимались, какъ мгновенные удары вѣтра передъ грозой, внезапные, бѣшеные порывы... „Этого нельзя такъ оставить“,—воскликнулъ онъ: „я не позволю ей такъ безжалостно играть моею жизнью!..“ Такова Ирина. Такова же и Марья Николаевна въ „Вешнихъ водахъ“. И не только мы, но Литвиновъ, даже Санинъ не назвали бы ихъ ангелами: онѣ больше, чѣмъ „отъ міра сего“.

Теперь два слова по поводу того, что Тургеневскія Лизы, Наташи и Елены — сплошное совершенство. Мы сейчасъ перейдемъ къ разбору ихъ характеровъ и тогда воочію убѣдимся, что это дѣйствительно живые, правдивые, жизненные типы,—съ своими безспорными достоинствами и не менѣе безспорными недостатками,—живые люди, а не Фонвизинскія Софьи съ ярлычками, объявляющими ихъ недосягаемыми совершенствами. Наконецъ, замѣтимъ, что Тургеневскія Лизы, Наташи и Елены взяты художникомъ изъ того же круга людей, къ которому принадлежатъ Рудины, Лаврецкіе, Берсеневы и Литвиновы: ихъ воспитала и приготовила къ жизни та же самая среда крѣпостническаго общества; онѣ, какъ женщины, тѣснѣе связанныя съ окружающей средой, конечно, должны были находиться подъ вліяніемъ менѣе благопріятныхъ для своего развитія условій, нежели Дмитріи Рудины и Ѳедоры Лаврецкіе.

Мы начинаемъ съ Наташи изъ „Рудина“.

Если бы мы въ дѣйствительности встрѣтились съ Тургеневской Наташей, то,—по увѣренію самого автора,—она съ перваго взгляда могла бы намъ даже не понравиться. Хотя и съ правильными, даже красивыми чертами лица, Наташа была худа, не вполнѣ еще физически раз-

вита, смугла, держалась нѣсколько сутуловато, говорила мало, производила впечатлѣніе холодной дѣвушки-ребенка. Но, по мѣрѣ того, какъ мы присматривались бы къ ея лицу, оно все болѣе и болѣе привлекало бы насъ къ себѣ,—и прежде всего своими большими, темными, выразительными глазами, сверху обрамленными тонкими, какъ бы надломленными по серединѣ бровями, надъ которыми возвышался чистый, ровный лобъ.

Вотъ вы заговорили съ Наташей, заговорили о жизни, о людяхъ, о томъ, чѣмъ нужно жить, въ чемъ находить цѣль и смыслъ жизни, въ чемъ и гдѣ искать для себя настоящаго дѣла,—и вы сейчасъ же замѣтите, какъ все лицо Наташи все болѣе и болѣе озаряется внутренней работой мысли. Чѣмъ дальше, тѣмъ съ большей жадностью она ловитъ каждое ваше слово, пристально смотритъ на васъ, внимательно слушаетъ,—едва замѣтная улыбка вдругъ появится на полуоткрытыхъ губахъ и скроется, большіе темные глаза опустятся, какъ бы подавленные думой, и опять полувопросительно поднимутся на васъ. Время отъ времени она прерветъ вашу рѣчь несмѣлыми, короткими, но умными, серьезными и именно глубокими вопросами, и вы невольно почувствуете, что каждое ваше слово, можетъ быть, даже и безъ особенной цѣли, невольно сказанное, даже и оно проникаетъ въ самую душу вашей собесѣдницы, тонко, глубоко волнуетъ ее, подвергается самому строгому анализу,—и прежде всего съ точки зрѣнія нравственныхъ понятій объ истинныхъ обязанностяхъ и назначеніи человѣка. Но вотъ вы кончили съ Наташей вашу бесѣду, удалились, чтобы отдаться другимъ интересамъ, можетъ быть, даже сейчасъ же и позабыли, о чемъ вы съ ней только-что бесѣдовали,—а она, оставшись одна, тамъ у себя, въ своей комнаткѣ, долго еще будетъ думать о каждомъ вашемъ словѣ, и множество новыхъ вопросовъ поднимется въ

ея душѣ, и она нетерпѣливо будетъ ждать новаго случая видѣться съ вами, чтобы разрѣшить эти новые, волнующіе ее вопросы. Новая бесѣда,—новые вопросы: вы сами невольно увлекаетесь этими вопросами, говорите горячо, съ искреннимъ, глубокимъ убѣжденіемъ,—и вотъ лицо вашей собесѣдницы покрылось алой краской, взоръ ея, неподвижно устремленный на васъ, потемнѣлъ и заблисталъ: она восторженно внимаетъ каждому слову,—и долго, долго, послѣ, ночью, не можетъ уснуть: подперши руками голову, она пристально смотритъ въ темноту; лихорадкой бьются ея жилы, тяжелый вздохъ часто приподнимаетъ ея грудь. Лежневъ говоритъ о ней Волынцеву: „Наташа не ребенокъ: она, повѣрьте, чаще и глубже размышляетъ, нежели мы съ вами". Авторъ же говоритъ, что, послѣ одной изъ такихъ полубезсонныхъ ночей, Наташа машинально брала аккорды на фортепіано и думала—не о Рудинѣ, а о какомъ-нибудь словѣ, имъ сказанномъ, и задумывалась глубоко.

Наташа чувствовала глубоко и сильно, но тайно,—тайно потому, что она была совершенно одинока въ своей семьѣ: мать ее не понимала и вовсе не интересовалась ея внутренней жизнью, исполняя лишь внѣшнія обязанности относительно ея воспитанія; гувернантки были обыкновенныя француженки, которыя только формально исполняли возложенныя на нихъ матерью обязанности. Наташа почти съ ранняго дѣтства жила своей собственной, скрытой отъ другихъ жизнью. Она прилежно училась и много читала: читала историческія книги, путешествія, французскія книжки своей гувернантки, знала, хотя и тайкомъ отъ нея, наизусть Пушкина. Каждая книга возбуждала въ ней цѣлый рядъ вопросовъ, глубоко волновала ее: надъ каждой новой мыслью глубоко задумывалась она, и эта сосредоточенность мысли, не отвлекаемая никакими посторонними вліяніями, постепенно

приводитъ Наташу къ основнымъ вопросамъ, къ основнымъ взглядамъ на жизнь и обязанности человѣка: для нея: жить,—это значитъ: дѣлать; для нея: сказать,—это значитъ: и исполнить.

Такою именно Наташа и встрѣчается съ Рудинымъ. Его вдохновенная, высокая по своему содержанію рѣчь сразу же увлекла ее: она впервые услышала отъ живого человѣка, да еще въ такомъ горячемъ, увлекательномъ изложеніи, тѣ самыя идеи, которыя до сихъ поръ смутно волновали ее, а теперь вдругъ становятся все яснѣе и яснѣе и, конечно, этимъ самымъ еще болѣе волнуютъ ее. Авторъ говоритъ намъ, что послѣ перваго дебюта Рудина въ гостиной у Ласунскихъ, Наташа хотя и раздѣлась и легла въ постель, но ни на минуту не уснула и не закрывала даже глазъ: она вся была подъ впечатлѣніемъ только-что слышаннаго. И авторъ правъ, утверждая, что Наташа въ это время думала не о самомъ Рудинѣ, а о какомъ-нибудь словѣ, имъ сказанномъ: вѣдь, Рудину было уже 35 лѣтъ, и онъ, высокій, сутуловатый, съ неправильнымъ, хотя и выразительнымъ, умнымъ лицомъ, далеко не могъ назваться тѣмъ обольстительнымъ героемъ, который, во времена Татьяны Лариной, могъ съ перваго взгляда именно „побѣдить“ 18-ти-лѣтнюю дѣвочку,—да и Наташа очень мало имѣетъ общаго съ подобными, легко побѣждаемыми, созданіями. Первая же воодушевленная рѣчь Рудина взволновала Наташу надеждой, что она теперь все себѣ уяснитъ,—и именно поэтому Наташа идетъ навстрѣчу желанію Рудина чаще бесѣдовать съ нею. Рудинъ тайкомъ даетъ ей книги, повѣряетъ ей свои планы, читаетъ ей первыя страницы своихъ предполагаемыхъ статей и сочиненій. И Наташа, не какъ дѣвочка, болтаетъ съ Рудинымъ: она жадно внимаетъ его рѣчамъ, она старается вникнуть въ ихъ значеніе, она повергаетъ на судъ его свои мысли, свои

сомнѣнія: въ ея глазахъ онъ все болѣе и болѣе дѣлается ея наставникомъ, ея вождемъ. Рудинъ увлекалъ ее германскимъ философскимъ и романтическимъ міромъ, его возвышенными идеями. Невѣдомыя, прекрасныя, раскрывались онѣ передъ ея внимательнымъ взоромъ. Со страницъ книги, которую Рудинъ держалъ въ рукахъ, дивные образы, новыя свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями въ ея душу,—и въ сердцѣ ея, потрясенномъ благородною радостью великихъ ощущеній, тихо всплывала и разгоралась святая искра восторга. И именно эти дивные образы, новыя свѣтлыя мысли прежде всего влекли къ себѣ Наташу въ Рудинѣ,—а затѣмъ, конечно, и самъ человѣкъ, такъ увлекательно раскрывавшій передъ ней эти дивные образы и новыя свѣтлыя мысли, естественно, долженъ былъ постепенно заставить ея юное, чистое, неопытное сердце впервые заволноваться новымъ для нея чувствомъ.

Мы хорошо помнимъ, съ какимъ непростительнымъ легкомысліемъ относился къ развивавшемуся въ Наташѣ чувству Рудинъ; мы помнимъ также и то, почему онъ поддавался этому легкомыслію: какъ во всѣхъ другихъ случаяхъ, такъ и теперь, съ Наташей, Рудинъ привычно увлекался ролью божка, на котораго къ тому же молится и которому готово пожертвовать собою такое дѣйствительно милое, чистое существо, какимъ была Наташа. А теперь посмотримъ, какъ относилась Наташа къ тому, что все болѣе и болѣе овладѣвало ея сердцемъ.

Прежде всего отвѣтимъ себѣ на вопросъ: что привлекало Наташу въ Рудинѣ? за что она полюбила его? какого человѣка она въ немъ полюбила? Мы уже видѣли, съ какимъ восторгомъ внимала Наташа увлекательнымъ и дѣйствительно высокимъ по своему содержанію рѣчамъ Рудина; мы видѣли, какое сильное, глубокое, почти потрясающее впечатлѣніе производили на нее раскрывае-

мые передъ ней Рудинымъ „дивные образы и свѣтлыя новыя мысли". И именно эти дивные образы и свѣтлыя новыя мысли прежде всего, главнымъ образомъ, и влекли къ себѣ Наташу въ Рудинѣ. А что это дѣйствительно такъ, въ этомъ насъ убѣждаетъ знаменитое свиданіе у Авдюхина пруда.

Еще до знакомства съ Рудинымъ привыкшая думать, что говорить высокія слова, произносить высокія мысли,— это въ то же время значитъ: дѣлать, примѣнять эти слова и проводить эти мысли въ самой жизни, Наташа, чѣмъ больше слушала Рудина, чѣмъ больше увлекалась такъ горячо высказываемыми имъ идеями, тѣмъ сильнѣе,— можетъ быть, даже незамѣтно для самой себя, невольно,— проникалась особенно теплымъ чувствомъ къ нему самому: послѣ каждаго новаго разговора Рудинъ все болѣе и болѣе становился въ ея глазахъ тѣмъ настоящимъ человѣкомъ, какимъ она привыкла представлять себѣ этого настоящаго человѣка. Именно поэтому Наташа такъ вѣрила Рудину: вѣдь для нея: говорить, — это въ то же время значитъ: и дѣлать такъ, какъ говоришь. Вотъ почему она такъ чутка къ каждой обмолвкѣ Рудина. Когда, напр., Рудинъ сказалъ ей, что ему уже „пора отдохнуть",—Наташа изумилась и спросила робко: „Неужели вы находите, что вамъ пора отдыхать?.. Отдыхать могутъ другіе, а вы... вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ. Кому же, какъ не вамъ?.." Да, Наташа полюбила въ Рудинѣ человѣка, его внутренній, нравственный обликъ, все то высокое, что приводило ее въ восторгъ въ его воодушевленныхъ рѣчахъ,—и, разъ сознавъ въ себѣ это чувство, она въ высшей степени серьезно отнеслась къ нему. Вотъ факты.

Вызываемая Рудинымъ на признаніе, Наташа долго не рѣшается сказать ему роковое слово. Авторъ говоритъ: „Ей самой стало страшно всего того, что она вдругъ

почувствовала въ себѣ". Полюбить человѣка, — для Наташи это вопросъ всей жизни, шагъ рѣшительный, безповоротный, шагъ, отъ котораго зависитъ вся остальная жизнь. Вотъ почему Наташа такъ нерѣшительно, робко, неопредѣленно отвѣчаетъ на вопросъ Рудина, — любитъ-ли она его; она говоритъ: „Мнѣ кажется... да". Сказать: „Я люблю васъ", — для Наташи это значитъ окончательно и безповоротно рѣшить важнѣйшій жизненный вопросъ, — это значитъ: начать совершенно новую жизнь, и не на словахъ только, а на дѣлѣ. На восторженныя восклицанія Рудина о томъ, какъ онъ счастливъ, — въ отвѣтъ на его желаніе, чтобы Наташа повторила еще разъ свое робкое „да", — она какъ бы еще разъ провѣряетъ, дѣйствительно-ли серьезно то, что между ними происходитъ, и именно поэтому спрашиваетъ Рудина: „Вы говорите, вы счастливы?" — Я? Нѣтъ человѣка въ мірѣ счастливѣе меня! Неужели вы сомнѣваетесь? — восторженно и какъ бы съ легкимъ упрекомъ отвѣтилъ Рудинъ. И тогда Наташа произнесла: „Знайте же, — я буду вашa". И для Наташи это было Цезаревскимъ Рубикономъ: этими словами она тоже какъ бы сказала: „Жребій брошенъ: я начинаю новую жизнь". Разъ перейдя этотъ жизненный Рубиконъ, Наташа уже энергично вступаетъ на новую дорогу и рѣшительно идетъ къ своей цѣли: для нея нѣтъ сомнѣній, нѣтъ колебаній, нѣтъ препятствій. Недаромъ она Рудину говоритъ: „Повѣрьте, женщина не только способна понять самопожертвованіе: она сама умѣетъ пожертвовать собою". И Наташа именно такъ и поступаетъ. Когда Дарья Михайловна, извѣщенная о случившемся въ бесѣдкѣ, потребовала объясненій отъ Наташи и объявила ей, что согласится скорѣе видѣть ее мертвою, чѣмъ женою Рудина, — Наташа отвѣчала, что скорѣе умретъ, чѣмъ выйдетъ замужъ за другого. Послѣ этого разговора съ матерью, которая, вѣдь, не знала ея,

да и не могла понять ея души, ея сердца, ея стремленій, Наташа рѣшаетъ дѣйствовать самостоятельно: она рѣшается сейчасъ же отдать Рудину свою руку и поэтому пишетъ ему записку, въ которой говоритъ: „это будетъ наше послѣднее свиданіе, и все будетъ кончено, если... Приходите. Надо будетъ рѣшиться". А когда Наташа на слѣдующее утро выходила изъ дому, чтобы спѣшить къ ожидавшему ее у Авдюхина пруда Рудину, то,—по ея собственнымъ словамъ,—она мысленно прощалась со своимъ домомъ, со всѣмъ своимъ прошедшимъ. И она поступала такъ, конечно, потому, что серьезно любила, что видѣла въ Рудинѣ настоящаго человѣка, который можетъ ей дать настоящую жизнь. Прощаясь со своимъ домомъ, со своимъ прошлымъ, она смѣло и покойно, даже радостно шла къ Авдюхину пруду, потому что была убѣждена, что тамъ ее ожидаетъ настоящій человѣкъ, на руку котораго она дѣйствительно можетъ опереться. Именно поэтому она, — можетъ быть, на пути къ пруду размышляя о томъ, что Рудинъ можетъ ей сказать: „Я тебя люблю; но я жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее; дай мнѣ руку и ступай за мной", — рѣшила, что и въ этомъ случаѣ она пойдетъ за нимъ: она,—до рокового свиданія у Авдюхина пруда,—не могла сомнѣваться въ томъ, что, разъ она пожертвуетъ для Рудина всей своей судьбой, то и онъ, такъ много и горячо говорившій о самопожертвованіи, конечно, сумѣетъ и для нея пожертвовать всѣмъ.

Но вотъ и Авдюхинъ прудъ, — вотъ и Рудинъ. Наташа подходитъ къ нему съ такимъ серьезнымъ выраженіемъ лица, что Рудинъ остановился передъ ней въ изумленіи: брови ея были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядѣли прямо и строго. И это потому, что она пришла не на обыкновенное свиданіе съ понравившимся ей молодымъ человѣкомъ, а пришла рѣшать серьезный жизнен-

все была готова..." Въ этихъ послѣднихъ словахъ вся Наташа: серьезно дойдя до извѣстнаго рѣшенія, она приводитъ его въ исполненіе; она не говоритъ словъ на вѣтеръ. Сознавъ свою ошибку, Наташа такъ же тверда и въ томъ рѣшеніи, которое естественно должно было быть вызвано этимъ горькимъ сознаніемъ: она сейчасъ же называетъ вещи своими именами, и не изъ одного раздраженія: „Я помню всѣ ваши слова, — говоритъ она Рудину: „помните, вы мнѣ говорили, безъ полнаго равенства нѣтъ любви... Вы для меня слишкомъ высоки, вы не мнѣ чета... Я поставлю наказанье. Вамъ предстоятъ занятія, болѣе достойныя васъ... Да, надо опомниться... Кого я встрѣтила здѣсь? Малодушнаго человѣка!.. „Ваша матушка несогласна... Это ужасно!.." — вотъ все, что я слышала отъ васъ. Вы ли это, вы ли это, Рудинъ? Прощайте!.." — „Какова!" думалъ Рудинъ, идя къ дому послѣ своего позора у Авдюхина пруда: „нѣтъ, я ея не зналъ... Она замѣчательная дѣвушка! Какая сила воли!.. Она права; она стоитъ не такой любви, какую я къ ней чувствовалъ..." А Елена Ивановна прибавила бы къ этимъ праведнымъ словамъ Рудина: „И какой вы, Дм. Ник., маленькій, совсѣмъ маленькій сравнительно съ этой 18-тилѣтней Наташей!" Вслѣдъ за Еленой и мы съ своей стороны скажемъ то же самое Рудину...

Наташа не получила не только серьезнаго, но и болѣе или менѣе правильнаго образованія, — она и воспиталась какъ бы сама собой. Она не была на курсахъ, естественными науками не занималась, о политикѣ совсѣмъ ничего не слыхала, гражданской скорбью не волновалась: она, съ точки зрѣнія „передовыхъ", пожалуй, даже самая заурядная дѣвушка, — и, конечно, далека отъ идеала; — но... но... она несомнѣнно выше, — и гораздо выше какихъ угодно Рудиныхъ: они, дѣйствительно, передъ ней такіе маленькіе. И одинъ изъ этихъ Рудиныхъ,

Дм. Ник. Рудинъ, невольно самъ почувствовалъ это: „Она—замѣчательная дѣвушка!“ восклицаетъ онъ: „какая сила воли!“—Да и не одна сила воли,—прибавимъ мы,—а еще важнѣе въ Наташѣ то, что она серьезно смотритъ на жизнь, на человѣка и на отношеніе человѣка къ этой самой жизни. Смыслъ жизни и самаго существованія человѣка она справедливо видитъ въ дѣятельности, въ дѣятельности разумной и полезной,—и она стремится къ ней всѣми силами души. Она стремится къ знанію, она жадно ловитъ каждую отдѣльную мысль, каждую новую идею, но не ради нихъ самихъ, а потому, что ими надѣется воспользоваться на дѣлѣ, примѣнить ихъ къ жизни. Она какъ бы съ благоговѣніемъ относится къ воспринимаемымъ ею идеямъ; она чувствуетъ, что, воспринимая ихъ, она вмѣстѣ съ тѣмъ налагаетъ на себя обязанность дать имъ возможность исполнить свое назначеніе—войти въ жизнь людей и послужить основаніемъ для ея разумности. И Наташа не на вѣтеръ, осторожно высказываетъ ихъ вслухъ, отъ себя, въ видѣ своего убѣжденія, потому что твердо проникнута убѣжденіемъ, что разъ она высказываетъ эти убѣжденія отъ себя, какъ свое убѣжденіе, тѣмъ самымъ, стало быть, она показываетъ, что именно эти идеи она проводитъ и въ жизнь, безусловно руководится ими въ своей дѣятельности. Какъ далеко до этого Рудину, мы въ этомъ достаточно убѣдились. Что же говорить о томъ, что Рудинъ представится намъ еще болѣе маленькимъ, когда мы вспомнимъ, какъ Наташа способна любить, какъ она понимаетъ это чувство и какъ она отдается ему. Она любитъ человѣка, любитъ въ немъ то, что его возвышаетъ, какъ нравственную личность,—она любитъ въ немъ душу, сердце, умъ, его высокія стремленія выполнить своею жизнью свое истинно-человѣческое назначеніе. Сознавъ въ себѣ это глубокое, серьезное чувство, укрѣпившись въ вѣрѣ въ любимаго

человѣка, она дѣйствительно соединяетъ свое сердце съ его сердцемъ, свою душу съ его душой, она не отдѣляетъ себя отъ него,—въ немъ всѣ ея желанія, всѣ ея надежды, вся ея жизнь... И невольно мы съ горечью, съ глубокой грустью повторимъ слова Лежнева: „И надобно же, чтобы этакая честная, страстная и горячая натура натолкнулась на такого актера, на такую кокетку!..“ Да, Наташа достойна не такой любви, не такого человѣка...

Теперь о Лизѣ.

Мы въ гостиной Марьи Дмитріевны Калитиной. На порогѣ двери, ведущей въ другія комнаты, показывается стройная, высокая, черноволосая дѣвушка, лѣтъ 19-ти. Это Лиза. Лаврецкій слѣдующимъ образомъ дорисовываетъ ея внѣшній обликъ: „Она и собой хороша. Блѣдное, свѣжее лицо, глаза и губы такіе серьезные, и взглядъ честный и невинный. Ростъ славный, и такъ легко она ходитъ, и голосъ тихій... Очень я люблю, когда она вдругъ остановится, слушаетъ со вниманіемъ, безъ улыбки, потомъ задумается и откинетъ назадъ свои волосы“. „Лиза была очень мила“,—говоритъ нашъ авторъ,—„сама того не зная. Въ каждомъ ея движеніи высказывалась невольная, нѣсколько неловкая грація. Малѣйшее ощущеніе удовольствія возбуждало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокій блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. Они и обыкновенно свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой“.

Почти съ перваго же появленія Лизы въ романѣ, мы уже знакомимся съ одной изъ наиболѣе выдающихся чертъ ея характера. Когда Паншинъ, съ развязностью великосвѣтскаго остряка, сказалъ ей по поводу Лемма: „Что прикажете дѣлать, Лиз. Мих.! Отъ младыхъ ногтей не могу равнодушно видѣть нѣмца: такъ и подмываетъ меня его подразнить“,—Лиза вотъ что ему отвѣ-

гила: „Что вы это говорите, Влад. Ник.! Этотъ нѣмецъ— бѣдный, одинокій, убитый человѣкъ,—и вамъ его не жаль? Вамъ хочется дразнить его?..“ Эта любовь, нѣжность, самое глубокое сочувствіе ко всѣмъ сиротамъ, огорченнымъ, одинокимъ, обездоленнымъ жизнью людямъ, всегда волновало Лизу, и волновало особеннымъ образомъ, возбуждало въ ней особое чувство, особыя мысли. И это особое чувство, и эти особыя мысли у Лизы свои: онѣ возникали въ ея душѣ, крѣпли и развивались самостоятельно. Лиза выносила ихъ въ своемъ сердцѣ, и онѣ постепенно прочно легли въ основаніе ея нравственнаго существа. Всѣмъ этимъ Лиза обязана нѣкоторымъ особенностямъ своей воспитательной обстановки, которая, однако, какъ сейчасъ убѣдимся, вовсе не представляетъ собою какого-нибудь исключительнаго явленія, особенно для той эпохи, къ которой относится содержаніе „Дворянскаго гнѣзда“.

Послѣ отца Лиза осталась десяти лѣтъ,—но эта потеря не имѣла почти никакого вліянія на ея воспитаніе, потому что отецъ очень мало ею занимался. Мать не много больше интересовалась этимъ вопросомъ: она одѣвала Лизу, какъ куклу, при гостяхъ гладила ее и въ глаза называла ее умницей и душкой. Сотрудница ея, гувернантка изъ Парижа, лакомка и картежница, съ пошлымъ скептицизмомъ (по поводу всего она обыкновенно говорила: „Tout ça c'est des bêtises“), не больше самой матери могла дать своей питомицѣ. Главной, настоящей воспитательницей Лизы была няня Агафья Власьевна. Эта женщина пережила глубокое нравственное потрясеніе: скорѣе невольно сдѣлавшись виновницей семеннаго разлада, Агафья Власьевна была за это наказана нѣсколькими годами униженія и подъ вліяніемъ его глубоко сознала свое преступленіе. Цѣлые 15 лѣтъ послѣ этого провела она и среди людей, но молчальницей, ни съ кѣмъ

не ссорясь, всѣмъ уступая: нагрубитъ ей кто, а она только поклонится и поблагодаритъ за ученіе. Досугъ свой она отдавала душеспасительному чтенію и храму Божію. Лизу сначала испугало серьёзное и строгое лицо Аг. Власьевны, но она скоро привыкла къ ней и полюбила: она была сама серьезнымъ ребенкомъ. Маленькая Лиза задумывалась не часто, но почти всегда не даромъ;—помолчавъ, она обращалась къ кому-нибудь изъ старшихъ съ вопросомъ, который показывалъ, что голова ея работала надъ новымъ впечатлѣніемъ. Вся въ черномъ, съ похудѣвшимъ, прозрачнымъ, какъ воскъ, и выразительнымъ лицомъ сидитъ Аг. Власьевна прямо и вяжетъ чулокъ; а у ногъ ея, на маленькомъ креслицѣ, сидитъ Лиза и тоже трудится надъ какой нибудь работой, или, важно подчивши свѣтлые глазки, слушаетъ, что разсказываетъ ей Агафья. А Агафья разсказываетъ ей не сказки: мѣрнымъ и ровнымъ голосомъ разсказываетъ она житіе Пречистыя Дѣвы, угодниковъ, отшельниковъ, мучениковъ, какъ они жили въ пустынѣ, мучились, голодали, терпѣли нужду, царей не боялись, Христа исповѣдывали; какъ ихъ птицы кормили, и звѣри слушали; какъ на томъ мѣстѣ, гдѣ ихъ кровь проливалась, цвѣты выростали. Лиза ее слушала, и образъ Вездѣсущаго, Всемогущаго Бога съ какой-то сладкою силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ. Агафья и молиться ее научила. Иногда она будила Лизу рано на зарѣ, торопливо ее одѣвала и уводила ее тайкомъ въ заутренѣ. Лиза шла за ней на цыпочкахъ, едва дыша. Холодъ и полусвѣтъ утра, свѣжесть и пустота церкви, самая таинственность этихъ неожиданныхъ отлучекъ, осторожное возвращеніе въ домъ,—вся эта смѣсь запрещеннаго, страннаго, святого потрясала дѣвочку, проникала въ самую глубь ея существа. И послѣ, уже

безъ Агафьи, Лиза шла къ обѣднѣ, какъ на праздникъ, молилась съ наслажденіемъ, съ какимъ-то сдержаннымъ и стыдливымъ порывомъ. Марѳа Тимофѣевна говоритъ про Лизу Лаврецкому: „Да, она очень богомольна. Больше насъ съ тобой". Сама же Лиза очень удивилась, когда Лаврецкій спросилъ ее, бываетъ-ли она въ церкви. Всепрощеніе въ образѣ Страдальца Богочеловѣка на крестѣ; высочайшее смиреніе и полнѣйшее укрощеніе не только страстей, но и обыкновенныхъ человѣческихъ желаній, въ образѣ отшельниковъ и подвижниковъ; пренебреженіе къ самой жизни земной, въ виду райскаго блаженства въ загробномъ мірѣ, въ образѣ мучениковъ за Христа; безусловная покорность волѣ Всемогущаго; непрестанное памятованіе о томъ, что каждому человѣку предстоитъ дать Ему отвѣтъ за порогомъ этой жизни—все это постепенно сдѣлалось для Лизы высочайшимъ и единственнымъ идеаломъ, къ которому она старается приблизиться въ каждомъ своемъ отдѣльномъ поступкѣ. Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, Лиза любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога—восторженно, робко, нѣжно. И мысль о Богѣ, о томъ, что Онъ все видитъ, все знаетъ и каждому воздастъ по дѣламъ его,—это было въ Лизѣ господствующею мыслью, которою она, какъ бы уже по инстинкту, въ силу привычки, руководилась во всемъ и вездѣ; ей всегда представлялся вопросъ: „А что я должна буду отвѣтить за это тамъ?"—„Христіаниномъ нужно быть",—говоритъ она Лаврецкому,—„не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть", т. е.: всегда нужно стараться жить истиннымъ христіаниномъ, потому что послѣ смерти придется за все дать отвѣтъ.

Леммъ говоритъ про Лизу: „Она—дѣвица справедли-

вая, серьезная, съ возвышенными чувствами; она чиста сердцемъ и можетъ любить одно прекрасное". И дѣйствительно, она въ высшей степени чутка ко всякой даже самой незначительной несправедливости; она боится даже заочно оскорбить, обидѣть кого-нибудь несправедливостью. Лиза очень любила и уважала старика Лемма, но и ему она замѣтила по поводу Паншина: „Вы къ нему несправедливы"; Паншину же съ упрекомъ выговариваетъ за то, что онъ огорчилъ Лемма своимъ отзывомъ о его кантатѣ. Позднѣе Лаврецкому она говоритъ по поводу Паншина: „Вы привыкли строго судить людей". Не только въ самой себѣ она не допускала никакой несправедливости, никакого уклоненія отъ нравственнаго Божескаго закона, но и въ другихъ людяхъ не могла равнодушно видѣть его. Въ одномъ изъ первыхъ же разговоровъ съ Лаврецкимъ она рѣшается выяснить и, можетъ быть, даже постараться помочь исправить уже сильно волновавшее ее, такъ сказать, незаконное, противорѣчащее установленнымъ даже самимъ Богомъ нравственнымъ понятіямъ, отношеніе Лаврецкаго къ своей женѣ.— „Вы — такіе добрые", — говоритъ она Лаврецкому: „вы извините меня... я бы не должна была смѣть говорить объ этомъ съ вами... но какъ могли вы... отчего вы разстались съ вашей женой?.. Я знаю, она передъ вами виновата, я не хочу ее оправдывать... Но какъ же можно разлучать то, что Богъ соединилъ... Вы должны простить, если хотите, чтобы и васъ Богъ простилъ". Когда же Лаврецкій возразилъ ей: „Помилуйте! Варв. Павл. совершенно довольна своимъ положеніемъ... Вы слишкомъ чисты, вы не въ состояніи даже понять такое существо",— Лиза, какъ бы испуганная смѣлостью Лаврецкаго, который рѣшается такъ осуждать другого человѣка, уже восклицаетъ: „Зачѣмъ оскорблять!" Разъясняя Лизѣ, почему онъ женился на Варварѣ Павловнѣ, Лаврецкій,

какъ бы оправдываясь, сказалъ между прочимъ: „Дай вамъ Богъ заключить болѣе счастливый братъ! Но повѣрьте, ни за что нельзя ручаться". Лиза на это замѣтила: „И я могу также быть несчастной: но тогда надо будетъ покориться..."

Итакъ,—не допускать даже и тѣни несправедливости или оскорбленія по отношенію къ другому человѣку, всѣхъ прощать и во всемъ покоряться волѣ Божіей, управляющей жизнью человѣка; беречь свою душу, памятуя объ ожидающей насъ впереди вѣчности—вотъ тѣ нравственные устои, на которыхъ покоится душа Лизы, зиждется вся ея жизнь, основываются всѣ ея поступки. Насколько эти устои прочно заложены въ ея душѣ, мы сейчасъ это увидимъ, когда всмотримся въ грустную исторію ея любви къ Лаврецкому. Эта краткая и вмѣстѣ съ тѣмъ грустная исторія поражаетъ насъ цѣльностью нравственнаго характера дѣвушки,—точностью, ясностью и опредѣленностью тѣхъ нравственныхъ началъ, руководясь которыми, она идетъ по своему, прямому, опредѣленному пути,—наконецъ, той нервной чуткостью, съ которой она слѣдитъ за каждымъ своимъ шагомъ на этомъ пути.

Изъ собственныхъ словъ Лизы, сказанныхъ ею Лаврецкому по поводу Варвары Павловны: „Я знаю, она виновата передъ вами, и я ее не оправдываю",—видно, что Лизѣ еще до встрѣчи съ Лаврецкимъ была хорошо извѣстна исторія его неудачной женитьбы, и она уже питала къ нему чувство состраданія, видѣла въ немъ существо, которое нуждается въ сочувствіи, въ поддержкѣ. И она именно поэтому, конечно, сказала ему при его первомъ отъѣздѣ въ Васильевское: „Смотрите, не забывайте насъ". Когда же Лаврецкій сказалъ ей на это между прочимъ: „Вы идете въ церковь: помолитесь кстати и за меня", — Лиза невольно остановилась (она

шла въ церковь), обернулась и, прямо глядя ему въ лицо, сказала: „Извольте, я помолюсь и за васъ". И, конечно, въ эту минуту она еще сильнѣе почувствовала въ немъ человѣка, который нуждается въ сочувствіи и поддержкѣ. „Случается иногда",—говоритъ авторъ, — „что два уже знакомыхъ, но не близкихъ другъ другу человѣка внезапно и быстро сближаются въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній; и сознаніе этого сближенія тотчасъ же выражается въ ихъ взглядахъ, въ ихъ дружелюбныхъ и тихихъ усмѣшкахъ, въ самыхъ ихъ движеніяхъ. Именно это случилось съ Лаврецкимъ и Лизой". Разъ почувствовавъ это, Лиза рѣшается, такъ сказать, вмѣшаться въ то, что, по ея мнѣнію, должно было камнемъ лежать въ разбитомъ сердцѣ Лаврецкаго, — съ тѣмъ, чтобы помочь ему разобраться въ этомъ тяжеломъ для него, правильнѣе въ нравственномъ смыслѣ отнестись къ нему и этимъ облегчить самую горечь своего сердца. И Лиза не безъ нѣкоторой запинки объявила Лаврецкому, что давно имѣетъ на сердцѣ сказать ему что-то, но боится его разсердить. „Не бойтесь, говорите",—промолвилъ на это Лаврецкій. Лиза подняла на него свои ясные глаза. „Вы—такіе добрые",—начала она и въ то же время подумала: „Да, онъ точно добрый". И именно поэтому,— прибавимъ мы отъ себя, — Лиза и хочетъ скорѣе объяснить себѣ, какъ это могло случиться, что такой дѣйствительно добрый по сердцу и хорошій по общему впечатлѣнію человѣкъ могъ разстаться, разойтись со своей женой. Она рѣшилась спросить его объ этомъ также потому, что почувствовала въ немъ родственнаго себѣ по душѣ человѣка. И Лиза поблѣднѣла, все тѣло ея слегка затрепетало, когда въ отвѣтъ на ея мысль, что нельзя разлучать того, что Богъ соединилъ, Лаврецкій возразилъ: „Наши убѣжденія на этотъ счетъ слишкомъ различны, Лизавета Михайловна,—мы не поймемъ другъ

друга". Она промолвила на это тихо: „Вы должны простить", — а затѣмъ, когда Лаврецкій, очевидно, подъ вліяніемъ тяжелыхъ воспоминаній, рѣзко сказалъ: „Да что тутъ толковать! Имя ея (т. е. Варв. Павл.) не должно быть произносимо вами. Вы слишкомъ чисты, вы не въ состояніи даже понять такое существо", — Лиза съ усиліемъ проговорила: „Зачѣмъ оскорблять!" при чемъ дрожь ея рукъ становилась видимой. „Надо покоряться, если человѣка постигаетъ несчастіе", — вотъ ея заключительныя слова въ этомъ разговорѣ съ Лаврецкимъ, и она поторопилась извиниться передъ нимъ. Когда же Лаврецкій, переговоривъ съ Марьей Дмитріевной о поѣздкѣ въ Васильевское, все еще взволнованный, подошелъ къ Лизѣ и украдкой шепнулъ ей: „Спасибо, вы — добрая дѣвушка; я виноватъ..." — ея блѣдное лицо заалѣлось веселой и стыдливой улыбкой; глаза ея тоже улыбнулись: она до того мгновенія боялась, не оскорбила-ли она его. Ей и хорошо становилось отъ устремленнаго на нее взгляда Лаврецкаго, и стыдно немножко, и жалко его. Послѣднее, конечно, потому, что она, послѣ этого перваго и, какъ видимъ, очень важнаго разговора съ Лаврецкимъ, еще болѣе почувствовала въ немъ дѣйствительно хорошую душу, хорошее сердце, которое, мало того, что не сумѣли оцѣнить, но еще и безжалостно разбили, — и это собственно неповинное, разбитое сердце дѣйствительно нуждается въ сочувствіи и дѣйствительно можетъ исцѣлиться отъ того раздраженія, даже озлобленія, по поводу котораго Лаврецкій и призналъ себя виновнымъ, сказавъ Лизѣ: „Я виноватъ!" Лиза почувствовала отзывчивость этого добраго разбитаго сердца; послѣ этого перваго серьезнаго разговора она увидѣла, какъ благотворно можетъ она вліять на него, — она какъ бы почувствовала въ себѣ долгъ, — именно съ цѣлью этого благотворнаго вліянія, — не только не оттал-

кивать отъ себя этого разбитаго сердца, но еще энергичнѣе пойти ему навстрѣчу... И Лиза пошла Лаврецкому навстрѣчу и, какъ молодое существо, съ плотью и кровью, не могла, конечно, не оказаться во власти другого, не менѣе, нежели христіанское состраданіе, сильнаго чувства: она полюбила Лаврецкаго.

За что?—Лиза полюбила Лаврецкаго за то, что у него дѣйствительно было доброе, нѣжное сердце,—за то, что это сердце способно было откликаться на добрый, высокій призывъ къ нравственному просвѣтлѣнію,—за то, что душа Лаврецкаго была родственна ея душѣ по чуткости къ высокому, нравственному; полюбила Лиза Лаврецкаго и за то, что онъ несчастенъ и несчастенъ невинно,—за то, что онъ выше, несомнѣнно лучше окружающихъ,—наконецъ, конечно, и за то, что онъ, обладая прекрасной, чистой душой, въ то же время былъ полонъ силъ, жажды счастья, и именно въ ней, въ Лизѣ, стремился найти для себя это такъ страстно желаемое счастье. И Лиза глубоко, сильно полюбила Лаврецкаго: мы это чувствуемъ въ тѣхъ страданіяхъ, которыя она переживала во все время возмутительной комедіи примиренія Варвары Павловны съ ея мужемъ, надъ которой такъ наивно хлопотала Марья Дмитріевна.

Но, какъ ни сильно Лиза любитъ Лаврецкаго, для нея на первомъ планѣ всегда стоитъ забота о томъ, чтобы ни одинъ ея шагъ даже на этомъ отуманивающемъ самый разсудокъ пути горячаго, глубокаго чувства ни на одну іоту не отклонялся отъ основныхъ ея понятій о нравственномъ. И Лиза дѣйствительно твердо, сурово-неуклонно слѣдуетъ указаніямъ „своихъ мыслей“.

Впервые Лиза почувствовала зарожденіе въ своемъ сердцѣ особеннаго чувства къ Лаврецкому послѣ того уже извѣстнаго намъ разговора, который закончился знаменательнымъ признаніемъ Лаврецкаго: „Спасибо! вы—

добрая дѣвушка; я виноватъ". Прощаясь съ ней, Лаврецкій крѣпко пожалъ ей руку: она задумалась, оставшись одна. Когда, два дня спустя, Лиза съ матерью и сестрой пріѣхала къ Лаврецкому въ гости въ усадьбу, то Лаврецкій съ удовольствіемъ замѣтилъ, что сближеніе между нимъ и Лизой продолжалось: она, какъ только вошла, дружелюбно протянула ему руку. Вотъ она стоитъ на плоту, вся залитая горячими лучами летняго солнца, веселая, улыбающаяся. Человѣкъ, къ которому ее невольно влечетъ, здѣсь, рядомъ, около нея; она чувствуетъ на себѣ его особенный взглядъ; она между слоцъ какъ бы слышитъ его вопросъ о томъ, отзовется-ли она на его чувство; она сама невольно признается ему, что ей очень весело теперь, т. е. переживая все, что она теперь видитъ и слышитъ. Но въ эти же самыя минуты она твердо, съ убѣжденіемъ высказываетъ Лаврецкому важнѣйшій изъ своихъ основныхъ взглядовъ: „Христіанинъмъ нужно быть,—не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть". Какъ видимъ, Лиза никогда и нигдѣ не теряетъ изъ своего мысленнаго взора того свѣточа, который ярко освѣщаетъ ей ея жизненный путь. И вотъ черезъ два дня ее ожидаю первое серьезное испытаніе, на которомъ она должна была испробовать стойкость своихъ нравственныхъ убѣжденій.

Пріѣхавшій въ какомъ-то особенномъ настроеніи Лаврецкій передалъ Лизѣ роковой фельетонъ французской газеты, въ которомъ сообщалось, что „прелестная, очаровательная москвитянка, одна изъ царицъ моды, украшеніе парижскихъ салоновъ, m-me Lavretzki, скончалась почти внезапно". Важное, въ высшей степени важное извѣстіе, отъ котораго 19-тилѣтней, впервые и дѣйствительно сознательно, горячо полюбившей дѣвушкѣ легко было потерять голову и жадно отдаться свѣтлымъ на

деждамъ, особенно въ виду той плохо скрываемой радости, которая невольно свѣтилась въ глазахъ любимаго ею человѣка. И что же? Прочитавъ у себя, наверху, фельетонъ, Лиза возвратилась въ гостиную и сѣла въ уголъ, ни разу не взглянувъ на Лаврецкаго. Онъ прочелъ недоумѣніе и какой-то тайный упрекъ на ея лицѣ. Прощаясь съ нимъ, она отвѣтила ему: „Приходите!“ съ тѣмъ же недоумѣніемъ. Но чѣмъ же вызвано это недоумѣніе? Отвѣтъ на это даетъ намъ разговоръ, который происходилъ между Лизой и Лаврецкимъ на другой день послѣ этого. Лиза была спокойна по обыкновенію, но болѣе обыкновеннаго блѣдна, — и мы сейчасъ увидимъ, почему. Отдавая Лаврецкому листъ журнала, она промолвила: „Это ужасно!“—„И вы не огорчены нисколько?“— прибавила она, немного погодя, вызываемая на этотъ вопросъ вчерашнимъ выраженіемъ его лица. Когда же Лаврецкій сказалъ: „Она (т. е. Варв. Павл.) не теперь для меня умерла“,—Лиза тотчасъ же его какъ бы остановила: „это грѣшно, что вы говорите... Мнѣ, право, даже страшно... Вчера у васъ такое нехорошее было лицо. Помните, недавно, какъ вы жаловались на нее?— а ея уже тогда, можетъ быть, на свѣтѣ не было. Это страшно. Точно это вамъ въ наказаніе послано“. Именно объ этомъ Лиза мучительно и думала, можетъ быть, даже всю ночь послѣ того, какъ прочитала въ фельетонѣ роковое извѣстіе: она, вѣдь, была блѣднѣе обыкновеннаго. Лиза испугалась, конечно, не за Лаврецкаго только, который выраженіемъ своего лица показалъ ей, какое, съ ея точки зрѣнія, нехорошее чувство овладѣло его сердцемъ; — Лиза не менѣе испугалась и за себя: ее испугала мысль, что она, можетъ быть, недостаточно сдержаннымъ сочувствіемъ поощрила въ Лаврецкомъ развитіе его нехорошаго настроенія, что она, такъ сказать, участница, а можетъ быть, и главная

виновница этого. И Лиза, на замѣчаніе Лаврецкаго, что онъ, по крайней мѣрѣ, теперь свободенъ, слегка вздрогнувъ, говоритъ: „Полноте, не говорите такъ", т. е.: что это вы такъ радуетесь смерти человѣка, — да и я то не совсѣмъ чиста въ этомъ отношеніи.—„На что вамъ ваша свобода?"—продолжала она: „вамъ не объ этомъ теперь думать, а о прощеніи..." — да и мнѣ самой тоже, — мысленно прибавила, конечно, Лиза. Она до конца разговора сохраняетъ это настроеніе души,—она, слушая Лаврецкаго, какъ бы продолжаетъ свои собственныя размышленія,—и поэтому именно въ отвѣтъ на признаніе Лаврецкаго, что онъ все-таки былъ счастливъ, какъ бы просто къ слову, говоритъ: „Мнѣ кажется, Ѳед. Ив., счастье на землѣ зависитъ не отъ насъ"; Лиза продолжаетъ быть охваченной мыслью о томъ, что все, а стало быть, и личное счастье необходимо ставить въ зависимость отъ высшей правды, отъ высшей справедливости, отъ того, что „каждый человѣкъ долженъ умереть", т. е. неизбѣжно долженъ предстать предъ Высшимъ Судіей съ отвѣтомъ за всѣ свои дѣянія.—„Перестаньте, что это за разговоръ",—останавливаетъ она въ концѣ концовъ Лаврецкаго: „мнѣ все мерещится ваша покойная жена, и вы мнѣ страшны",—другими словами: меня все волнуетъ упрекъ, что мы съ вами внутренно какъ бы желали ея смерти и, ведя теперь этотъ разговоръ, радуемся укрѣпляющейся надеждѣ, что она, можетъ быть, и дѣйствительно умерла. И по отъѣздѣ Лаврецкаго Лиза продолжаетъ быть все въ томъ же настроеніи: она старается вернуть себѣ ту нравственную безупречность, безъ которой она не допускаетъ настоящей жизни. Пріѣхавшій черезъ нѣсколько дней Лаврецкій застаетъ ее охваченной именно этимъ желаніемъ: съ большею, нежели обыкновенно, задумчивостью она спросила его, не пойдетъ-ли онъ на другой день къ обѣднѣ.—„Ступайте",—ска-

зала она прежде, чѣмъ онъ успѣлъ отвѣтить: „мы вмѣстѣ помолимся за упокой ея души". Именно „вмѣстѣ",— и это „вмѣстѣ" окончательно убѣждаетъ насъ въ томъ, что Лиза считала себя соучастницей того нехорошаго, ненравственнаго настроенія, которое переживалъ въ послѣдніе дни Лаврецкій: общей молитвой, общимъ искреннимъ раскаяніемъ она хочетъ облегчить, очистить свое и его сердце отъ тѣхъ непростительныхъ помысловъ и желаній, которыя закрались въ него подъ вліяніемъ развивающагося чувства. Лиза начала какъ бы избѣгать Лаврецкаго. Когда же ей случалось оставаться съ нимъ наединѣ, въ ней, вмѣсто прежней довѣрчивости, проявлялось замѣшательство. Въ ея движеніяхъ, голосѣ, самомъ смѣхѣ замѣчалась тайная тревога, небывалая прежде нервность. И Лаврецкій своей чуткой, отзывчивой душой понялъ истинную причину этого душевнаго состоянія Лизы: онъ не разъ упрекнулъ себя въ томъ, что показалъ Лизѣ полученный имъ номеръ журнала: онъ не могъ не сознаться, что въ его душевномъ состояніи было что-то возмутительное для чистаго чувства. И это именно такъ было. Привыкшая съ дѣтства находить въ молитвѣ поддержку во всѣхъ сомнѣніяхъ и душевныхъ тревогахъ, Лиза идетъ въ церковь, по ея желанію служатъ всенощную на дому. Во время службы она стояла, не двигаясь съ своего мѣста, не шевелилась; по сосредоточенному выраженію ея лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась. По окончаніи всенощной Лаврецкій подсѣлъ было къ Лизѣ, но она держалась строго и ни разу не взглянула на него. Она какъ будто съ намѣреніемъ его не замѣчала; какая-то холодная, важная восторженность нашла на нее. Въ Лизѣ несомнѣнно разгоралась глубокая душевная борьба между все болѣе и болѣе охватывавшимъ ее чувствомъ къ Лаврецкому и сомнѣніемъ, прямо-таки боязнью, не совершаетъ-

ли она чего-нибудь противнаго крѣпко заложеннымъ въ ея душѣ понятіямъ объ истинной христіанской нравственности. Даже въ минуты рѣшительнаго свиданія поздно вечеромъ въ паркѣ, когда Лаврецкій восторженно произносилъ передъ ней слова любви, и когда сама она невольно отдалась вырвавшемуся изъ ея сердца въ радостныхъ слезахъ чувству къ нему, — даже и тогда она остановила первыя ласки любимаго человѣка словами: „Встаньте, Ѳед. Иван.! что мы это дѣлаемъ съ вами... Мнѣ страшно; что это мы дѣлаемъ съ вами?“ На восклицаніе же Лаврецкаго: „Я готовъ отдать вамъ всю жизнь мою!“—она вздрогнула,—какъ будто бы ее что-то ужалило,—и, поднявъ взоры къ небу, промолвила: „Это все въ Божіей власти... — „Но вы меня любите, Лиза? Мы будемъ счастливы?“ Она опустила глаза. Онъ тихо привлекъ ее къ себѣ, и голова ея упала къ нему на плечо... Онъ отклонилъ немного свою голову и коснулся ея блѣдныхъ губъ... И это были единственныя счастливыя минуты, которыя выпали на долю Лизы,—и дорого она за нихъ заплатила...

Лишь нѣсколько болѣе, чѣмъ черезъ сутки, Леммъ уже передалъ Лизѣ записку Лаврецкаго съ извѣстіемъ о пріѣздѣ Варвары Павловны. Лиза вся похолодѣла отъ ужаса. Но не разбитыя радостныя надежды заставили похолодѣть ея сердце. „Внезапный переломъ въ ея судьбѣ“,— говоритъ авторъ,—„потрясъ ее до основанія; въ два какихъ-нибудь часа ея лицо похудѣло; но она и слезинки не проронила“.—„Подѣломъ“,—говорила она себѣ и рѣшила не избѣгать Варвары Павловны, — въ наказаніе своимъ „преступнымъ“, — какъ она называла, — надеждамъ. — „Ну, надо итти!“ — подумала она, какъ только узнала о пріѣздѣ Варвары Павловны. Долго стояла она передъ дверью гостиной, прежде чѣмъ рѣшилась отворить ее. Съ мыслью: „Я передъ нею виновата“,—пере-

ступила Лиза порогъ и заставила себя посмотрѣть на нее, заставила себя улыбнуться... „И эту женщину любилъ онъ",—подумала она, склонившись надъ пяльцами послѣ первыхъ тяжелыхъ привѣтствій Варвары Павловны,—но тотчасъ же изгнала изъ головы самую мысль о Лаврецкомъ: она боялась потерять власть надъ собою; она чувствовала, что голова у нея тихо кружилась... Но она не вышла изъ гостиной... сидѣла вмѣстѣ со всѣми за обѣденнымъ столомъ и осталась бы, конечно, до самаго конца вечера, если бы Марѳа Тимофѣевна сама, чуть не насильно, не увела ее къ себѣ наверхъ, сказавъ, что на ней лица нѣтъ, что у нея, должно быть, болитъ голова. Войдя въ теткину комнату, Лиза въ изнеможеніи опустилась на стулъ... Безмолвныя слезы лились въ отвѣтъ на ласки доброй старушки. Но это были только отдѣльныя минуты совершенно естественнаго человѣческаго изнеможенія отъ слишкомъ тяжелаго нравственнаго бремени. Можетъ быть, только черезъ какой-нибудь часъ въ комнату вошелъ посланецъ снизу, отъ Марьи Дмитріевны, съ приглашеніемъ Лизѣ спуститься, такъ какъ „изволили прибыть Влад. Ник. Паншинъ". Даже Марѳа Тимофѣевна считала это требованіе матери для Лизы непосильнымъ въ данную минуту, — но сама Лиза, не смотря на энергичныя попытки старушки удержать ее у себя наверху, сказала, что сейчасъ придетъ, — и она пошла: „она рѣшилась выдержать испытаніе до конца". Именно „испытаніе", т. е. нравственное наказаніе, вполнѣ, безспорно, съ ея точки зрѣнія, заслуженное, которое могло бы вернуть ея душѣ прежнюю чистоту и непорочность. И Лиза съ удивительной стойкостью выдерживаетъ это испытаніе. Она вошла въ гостиную, въ которой какъ бы продолжали еще носиться послѣднія ноты только-что спѣтаго Паншинымъ и Варварой Павловной романса, и на вопросъ Паншина,—какъ ея здоровье,—

твердо отвѣтила: „Мнѣ лучше теперь, благодарствуйте!“ Но Паншинъ не успокоился на этомъ и черезъ нѣсколько времени опять ее спросилъ: „Вы больны?“—„Да, я нездорова“,—невольно отвѣтила Лиза, потому что физическія,—не нравственныя, а прямо-таки физическія силы дѣйствительно покидали ее.—„Я понимаю васъ“,—промолвилъ онъ на это послѣ довольно продолжительнаго молчанія: „да, я понимаю васъ“.—„Какъ?“—съ естественнымъ полуиспугомъ быстро спросила его Лиза.—„Я понимаю васъ“,—повторилъ значительно Паншинъ, который, просто, не зналъ, что сказать. Лиза сначала смутилась, а потомъ подумала: „Пусть!“—т. е.: такъ, такъ, подѣломъ мнѣ,—именно мнѣ это и нужно.—А Варвара Павловна тутъ же присутствовала вблизи ея, бросала на нее взгляды; Марья Дмитріевна грустно вздыхала, поглядывая на Паншина и на нее, Лизу,—и Лиза оставалась среди нихъ до самаго конца вечера... Авторъ заканчиваетъ эту главу романа слѣдующими словами: „Марѳа Тимофѣевна всю ночь просидѣла у изголовья Лизы“. Прибавлять къ этимъ словамъ нечего... Но это опять была слабость молодого, хрупкаго тѣла, а не души: она все болѣе и болѣе закалялась и крѣпла въ испытаніи.—Во время своего послѣдняго свиданія съ Лаврецкимъ въ комнатѣ Марѳы Тимофеевны Лиза предстаетъ передъ нами совершенно просвѣтленною даже и отъ своего,—съ нашей-то точки зрѣнія,—совершенно безгрѣшнаго поступка: она положительно поднимается почти на недосягаемую нравственную высоту; ея образъ возбуждаетъ въ насъ и изумленіе и благоговѣніе передъ той несокрушимой нравственной силой, которою дышетъ каждое ея слово, каждая ея мысль. Передъ нами, безспорно, живое по своей художественной правдѣ существо, въ которомъ воплотился идеалъ высокой нравственной чистоты, духовной силы, цѣльности и несокрушимой крѣпости нравственныхъ воззрѣній. Лиза дѣйстви-

тельно знаетъ, куда и къ чему ей итти, и идетъ по своему пути твердо, сознательно, неуклонно.—„Мы скоро были наказаны", — сказала она глухо, когда заперлась за Марьей Дмитріевной дверь, и Лаврецкій проговорилъ: „Вотъ какъ мы должны были увидѣться!"—„Это все надо забыть", — прервала она затѣмъ его грустныя замѣчанія: „намъ обоимъ остается исполнить нашъ долгъ". Лиза говоритъ: «намъ». Она любитъ Лаврецкаго, — и мы знаемъ, за что Она не отдѣляетъ его отъ себя въ своемъ тяжеломъ испытаніи; она не сомнѣвается въ томъ, что его сердце непремѣнно отзовется на ея призывъ къ полному нравственному просвѣтлѣнію, — и поэтому она сейчасъ же говоритъ: „Вы, Ѳед. Ив., должны примириться съ вашей женой". Въ это мгновеніе Лиза мысленно, конечно, повторила про себя то, что уже разъ говорила Лаврецкому: „Какъ же можно разлучать то, что Богъ соединилъ". Гораздо менѣе сильный духомъ Лаврецкій, соглашаясь съ этимъ мнѣніемъ Лизы, все-таки восклицаетъ: „Ахъ, Лиза! Лиза! какъ бы мы могли быть счастливы!" Лиза его прерываетъ: „Теперь вы сами видите, Ѳед. Ив., что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога". Въ послѣднія мгновенія этого послѣдняго свиданія Лиза почти уже готова была уступить умолявшему ее Лаврецкому и дать ему на прощанье свою руку... но она рѣшительно отвела назадъ уже протянутую руку и сказала: „Нѣтъ, не дамъ я вамъ моей руки. Къ чему? Отойдите, прошу васъ. Вы знаете, я васъ люблю... да, я люблю васъ",—прибавила она съ усиліемъ,—„но нѣтъ, нѣтъ..." Лиза позволила себѣ только одну уже вполнѣ невинную уступку дѣйствительно совершенно убитому горемъ любимому ею человѣку: платокъ, который она прижала къ своимъ губамъ, невольно выскользнулъ изъ ея рукъ, и, прежде чѣмъ онъ успѣлъ упасть на полъ, Лаврецкій подхватилъ его и быстро сунулъ его въ бо-

ковой карманъ... Вошла Марѳа Тимофѣевна, — и Лиза тотчасъ же вышла изъ комнаты... Свое послѣднее „прости!“ Лиза сказала Лаврецкому на другой день, когда онъ догналъ ее по пути изъ церкви и попросилъ позволенія довести ее до дома. Лиза шла быстро, спустивъ вуаль на лицо и низко склонивъ голову. Она отвѣчаетъ Лаврецкому, что довольна имъ, проситъ поскорѣе привести въ исполненіе его рѣшеніе относительно жены и, наконецъ, замѣчаетъ: „Ѳед. Ив.! вы теперь идете возлѣ меня... А ужъ вы такъ далеко, далеко отъ меня. И не вы одни, а...“

И Лиза, дѣйствительно, была уже далеко отъ всего и отъ всѣхъ... Вернувшись изъ церкви домой, она вотъ что говорила озабоченной ея душевнымъ состояніемъ теткѣ: „Тетушка! все прошло!.. Только будьте мнѣ другомъ... помогите мнѣ... поймите меня... Я... я хочу итти въ монастырь“. На восклицаніе удивленной тетки Лиза продолжала: „Я рѣшилась... я молилась, я просила совѣта у Бога... Все кончено... кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю: и свои грѣхи, и чужіе, — и какъ папенька богатство нажилъ: я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо!..“ Черезъ полгода послѣ этого Лиза была въ монастырѣ. И для Лизы, какою мы ее теперь знаемъ, этотъ выходъ былъ вполнѣ естественный и необходимый...

По увѣреніямъ самого автора, — Лиза вовсе не выдавалась какими-нибудь особенными способностями; она мало читала, — по-нашему: была мало образована. Скорѣе, по „хлесткому“, нежели по удачному выраженію нѣкоторыхъ критиковъ, — отъ Лизы слишкомъ отзываетъ „лампаднымъ масломъ“; въ ней нѣтъ никакихъ настоящихъ жизненныхъ стремленій; она вся сосредоточена на

своей душѣ, на своихъ грѣхахъ. Кого она полюбила? Байбака, да еще злостнаго байбака, — какъ выражается Михалевичъ. Наконецъ, — всѣ ея постоянныя опасенія за то, какъ бы не осквернить чѣмъ-нибудь своей души, чтобы потомъ не пришлось отдавать отвѣта за это тамъ, въ томъ мірѣ, — ея рѣшеніе затвориться въ монастырѣ, съ тѣмъ, чтобы отмолить свои личные грѣхи и грѣхи близкихъ себѣ людей, — развѣ все это не отзывается самымъ непріятнымъ эгоизмомъ? Что же послѣ этого находятъ особеннаго въ Лизѣ?

Прежде чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, замѣтимъ, что какъ на отдѣльное историческое лицо правильный взглядъ устанавливается только тогда, когда мы смотримъ на него съ точки зрѣнія его времени, а главное — тѣхъ окружающихъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ ему приходилось жить и дѣйствовать, — такъ точно и на отдѣльное лицо изъ среды обыкновенныхъ людей мы можемъ правильно смотрѣть, только поставивъ себя въ его положеніе, только принявъ во вниманіе ту обстановку, подъ вліяніемъ которой человѣкъ развивался и жилъ. Вотъ почему мы и говоримъ: Лиза неповинна въ томъ, что на нее долго и глубоко вліяла такая женщина, какъ ея няня Агафья Власьевна, — тѣмъ болѣе, что въ ея „лампадномъ маслѣ", несомнѣнно, было много живительнаго огня; неповинна Лиза и въ томъ, что ее окружала заурядная барская обстановка и съ самой колыбели ничего не давала ей, кромѣ того, чѣмъ жили сами Марья Дмитріевны, Гедеоновскіе и Паншины; неповинна, наконецъ, Лиза, и въ томъ, что она не находитъ себѣ другого выхода: мы уже видѣли, что выходъ этотъ является естественнымъ и необходимымъ слѣдствіемъ всего ея развитія. Мы говоримъ: Лиза неповинна во всемъ этомъ; но мы, конечно, не ставимъ ей ничего изъ этого въ достоинство, — и не этимъ Лиза возвышается въ глазахъ самого художника и въ нашихъ глазахъ.

Лиза не только возвышается, но она, несомнѣнно, идеальна для насъ вотъ чѣмъ. Припомните тѣ характерные черты нашихъ Рудиныхъ, которыя особенно возбуждали въ нашемъ сердцѣ тяжелое чувство. „Въ нихъ нѣтъ натуры",—какъ выражается Лежневъ; „они обыкновенно лгутъ",—какъ говоритъ про нихъ Елена Инсарова,—т. е. у нихъ слово расходится съ дѣломъ; у нихъ не только нѣтъ цѣльности въ характерѣ, во всемъ ихъ нравственномъ обликѣ,—они не имѣютъ даже отдѣльныхъ крѣпко и опредѣленно сложившихся убѣжденій; у нихъ обыкновенно очень много словъ, но очень мало своихъ собственныхъ мыслей; въ большинствѣ случаевъ они совсѣмъ не знаютъ, куда имъ итти, а если путь хотя смутно и намѣчается, они не въ состояніи твердо, неуклонно слѣдовать по нему. У Лизы нѣтъ словъ, но зато у нея есть свои мысли, которыя слагаются въ цѣльное, опредѣленное міросозерцаніе. Она не спрашиваетъ ни у кого, куда ей итти, а идетъ сама, по своему опредѣленному пути, и идетъ неуклонно, зная, что ей нужно дѣлать. Въ каждомъ ея отдѣльномъ шагѣ чувствуется цѣльная нравственная личность, съ твердою волей, опирающаяся на твердыя нравственныя убѣжденія. Невольно останавливаешься въ благоговѣйномъ удивленіи передъ этимъ нравственно-высокимъ образомъ дѣвушки, и острой болью сжимается сердце отъ мысли, что ей не дано было приложить свои нравственныя силы въ болѣе широкой сферѣ жизни и дѣятельности...

Теперь объ Еленѣ.

Этотъ художественный образъ привлекаетъ насъ къ себѣ тѣмъ болѣе потому, что въ немъ мы чувствуемъ воплощеннымъ то, чего, какъ мы только что сказали, недоставало Лизѣ.

Представьте себѣ дѣвушку, которой недавно минуло двадцать лѣтъ. Высокаго роста, съ блѣдно-смуглымъ ли-

номъ, большими сѣрыми глазами, которые обрамляются пушистыми бровями. На высокій прямой лобъ спускаются прядями темнорусые волосы; тонкая шея низко прикрывается сзади роскошной косой. Чистыя, строгія, прямыя линіи лица гармонируютъ съ острымъ подбородкомъ. Во всемъ ея существѣ, въ выраженіи лица, внимательномъ и немного пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взорѣ, въ улыбкѣ, какъ будто напряженной, въ голосѣ тихомъ и неровномъ — было что-то нервическое, что-то порывистое и торопливое. Когда она слушала, то ни одна черта не тронется, — только выраженіе взгляда безпрестанно мѣняется, а отъ него мѣняется и вся фигура.

— „Удивительное существо!"—говоритъ про нее Шубинъ.—„Да, она удивительная дѣвушка",—подтверждаетъ Берсеневъ. И оба они правы: Елена, дѣйствительно, удивительная дѣвушка. Если бы мы хотѣли въ нѣсколькихъ словахъ указать наиболѣе выдающіяся свойства ея души, то для этого мы могли бы воспользоваться слѣдующими словами ея дневника: „Быть доброю, — этого мало; дѣлать добро... да, это главное въ жизни".

— „Елена съ дѣтства жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра", — говоритъ авторъ. Мы же прибавимъ отъ себя, что она жаждала дѣятельнаго добра не эгоистическаго, не для собственной, личной пользы, не для самой себя или для своихъ близкихъ,—какъ то мы только-что видѣли въ Лизѣ,—а добра альтруистическаго, т. е. ради другого человѣка. Нашъ авторъ подтверждаетъ это, говоря, что „нищіе, голодные, больные ее не только занимали, но даже тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала о нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ. Мало этого —всѣ притѣсненныя животныя, худыя дворовыя собаки, осужденные на смерть котята, выпавшіе изъ гнѣзда воробьи, даже насѣкомыя и гады находили въ Еленѣ защиту и покровительство".

Елена всѣмъ своимъ существомъ стремилась къ дѣятельному альтруистическому добру, а между тѣмъ ее окружала обыкновенная, эгоистическая среда, которая, конечно, почти совсѣмъ не волновалась судьбою не только „обреченныхъ на смерть котятъ", но и обреченныхъ на голодъ, холодъ, безысходное убожество и темноту хотя бы тѣхъ же крѣпостныхъ, простыхъ русскихъ людей. И Елена одинока въ этой средѣ.—„Я одна, все одна, со всѣмъ моимъ добромъ, со всѣмъ моимъ зломъ". Ея душа разгоралась и погасала одиноко. Она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки собственно не было: никто не стѣснялъ ее никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась,—конечно, потому, что непосредственно окружающая ее жизнь не давала ей возможности удовлетворить пожирающую ее жажду дѣятельнаго добра, широкой альтруистической, на пользу ближняго дѣятельности. Все, что ее окружало, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ.—„Какъ жить безъ любви? а любить некого",—думала она; т. е.: какой же смыслъ имѣетъ такая жизнь, когда приходится жить больше чѣмъ на половину только въ себя и для себя,—когда не къ чему привязаться дѣятельной любовью, когда не кого полюбить за его дѣятельную любовь къ людямъ. Временемъ ей становилось, просто, страшно отъ своихъ думъ и ощущеній.—„Отчего у меня такъ тяжело на сердцѣ, отчего такъ темно? Отчего я съ завистью гляжу на пролетающихъ птицъ? Кажется, полетѣла бы съ ними, полетѣла,—куда не знаю, только далеко отсюда". Конечно, Елена полетѣла бы туда, гдѣ она могла бы вполнѣ отдаться настоящей дѣятельной альтруистической любви, настоящему, высокому дѣлу, просвѣтленному настоящей, дѣятельной любовью къ людямъ.—„И не грѣшно-ли это желаніе улетѣть отсюда?"—продолжала размышлять Елена: „у меня здѣсь мать, отецъ, семья. Развѣ я не люблю ихъ?.. Нѣтъ, я

не люблю ихъ такъ, какъ бы хотѣлось любить. Мнѣ страшно выговорить это, но это правда". Припомнимъ въ особенности отца Елены,—и мы поймемъ ее, что она не могла его любить, какъ человѣка, въ томъ высокомъ смыслѣ, какъ она понимала это слово. И Елена не въ силахъ притворяться: и въ другимъ людяхъ ложь она не прощала во вѣки вѣковъ, а тѣмъ болѣе она сама не могла лгать.—„Не знаю, кто и какъ, но меня какъ будто убиваютъ, и внутренно я кричу и возмущаюсь; я плачу и не могу молчать",—говоритъ Елена.—„Боже мой! Боже мой! укроти во мнѣ эти порывы!"—восклицаетъ она. И Творецъ какъ бы внималъ ея мольбамъ: гроза проходила; опускались усталыя, невзлетѣвшія крылья,—и Елена еще болѣе чувствовала себя какъ бы въ тюрьмѣ, нетерпѣливо ожидая, что кто-нибудь ее освободитъ.—„Кого-то она ждетъ",—говоритъ Шубинъ Берсеневу: „понимаешь-ли ты силу этихъ словъ: она ждетъ". И Елена дѣйствительно ждала. Она ждала человѣка, который бы своимъ собственнымъ примѣромъ показалъ, къ чему ей дана молодость, къ чему она живетъ, зачѣмъ у нея душа,—который ей сказалъ бы: „Вотъ что ты должна дѣлать, вотъ чему и какъ ты можешь отдаться всей душой"; она ждала человѣка, для котораго также, какъ и для нея, жить—значитъ: дѣлать добро,—въ самомъ широкомъ и высокомъ смыслѣ этого слова,—и отдаваться этому добру всѣмъ своимъ существомъ, такъ, чтобы человѣкъ могъ про себя сказать: „Не я хочу,—то хочетъ",—и это „то" есть то самое доброе дѣло, которому онъ посвящаетъ всѣ свои силы, всю свою жизнь. Вотъ какого человѣка ждала Елена,—и она дождалась. Этимъ человѣкомъ былъ Инсаровъ.

Почему? Что̀ Елена нашла въ Инсаровѣ? что̀ полюбила? Первое, что поразило Елену въ Инсаровѣ, когда она еще его не видала, а только слушала разсказъ о

немъ Берсенева, это—цѣль, къ которой онъ стремится.— „У него одна мысль",—говоритъ про него Берсеневъ: „освобожденіе его родины". И это именно поразило Елену: и слушая, и спрашивая Берсенева, она все думала только объ этомъ: „Освободить свою родину!"—промолвила она въ концѣ разговора, задумавшись: „эти слова даже выговорить страшно; такъ они велики..." По однимъ этимъ „страшнымъ, великимъ словамъ" она почувствовала въ Инсаровѣ настоящаго человѣка, который ей-то на многое можетъ отвѣтить изъ того, что ее волнуетъ. Тѣмъ съ большимъ, конечно, любопытствомъ Елена всматривалась въ Инсарова, когда онъ въ первый разъ пришелъ къ нимъ. Авторъ говоритъ намъ, что ей при этомъ понравились его прямота и честное выраженіе глазъ. Она, пораженная высокой, даже,—по ея выраженію,—страшной цѣлью его жизни, съ перваго шага какъ бы старается убѣдиться въ томъ, что онъ не можетъ лгать, т.е. не можетъ играть такими „страшными, великими словами",—и съ первой же минуты она все болѣе и болѣе въ этомъ убѣждается. Елена говоритъ Инсарову по поводу его неожиданнаго исчезновенія со своими земляками: „Я подумала, что вы всегда знаете, что дѣлаете, и что вы ничего дурного не въ состояніи сдѣлать" Въ своемъ дневникѣ она замѣчаетъ: „Насколько Инсаровъ лучше меня! у него есть дорога,—есть цѣль... У него оттого такъ ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу". Эта ясность и опредѣленность жизненной цѣли, это знаніе того, куда и зачѣмъ нужно итти, и вмѣстѣ съ тѣмъ эта способность искренно, беззавѣтно отдаться своей жизненной цѣли не менѣе привлекаетъ Елену въ Инсаровѣ, нежели и то, что онъ не лжетъ, что онъ не только говоритъ, но онъ дѣлалъ и дѣлать будетъ. Если мы прибавимъ ко всему этому, что Инсаровъ по своей внѣшности далеко не принадлежалъ къ „героямъ романа",

то мы поймемъ, что Елена полюбила въ своемъ Дмитріи именно человѣка,—и не по какимъ-нибудь общимъ, приписаннымъ ею самою достоинствамъ, а потому, что она своими собственными наблюденіями убѣдилась, на самыхъ поступкахъ Инсарова видѣла, что въ немъ дѣйствительно воплощается наиболѣе высокое, съ ея точки зрѣнія, наиболѣе идеальное и при томъ наиболѣе родственное тому, что наполняетъ какъ бы особеннымъ огнемъ ея собственную душу, заставляетъ почувствовать позади себя крылья и страстное стремленіе подняться надъ всѣми обыденными желаніями и стремленіями окружающихъ ее людей. Въ Инсаровѣ Елена полюбила ту же искреннюю, глубокую жажду дѣятельнаго добра, которою она сама такъ-же искренно, такъ же глубоко была переполнена.

А вотъ какъ Елена любитъ. — „Такъ ты пойдешь за мною всюду?"—говорилъ ей Инсаровъ, когда они, послѣ тяжелой внутренней борьбы, сказали наконецъ другъ другу роковое слово.—„Всюду, на край земли. Гдѣ ты будешь, тамъ я буду".—„Ты знаешь, что я бѣденъ, почти нищій?"—„Знаю".—„Ты знаешь также, что я посвятилъ себя дѣлу трудному, неблагодарному, что мнѣ... что намъ придется подвергаться не однѣмъ опасностямъ, но и лишеніямъ, униженію, быть можетъ?"—„Знаю, все знаю... Я тебя люблю". — „Что ты должна будешь отстать отъ всѣхъ твоихъ привычекъ, что ты, можетъ быть, принуждена будешь работать...?" Она положила ему руку на губы: „Я люблю тебя, мой милый..." А вотъ какова Елена, еще невѣста, во время болѣзни любимаго человѣка. Инсаровъ въ страшномъ жару и бреду лежитъ въ постели. Около него Берсеневъ. Вдругъ дверь тихо скрипнула, и осторожно вдвинулась въ комнату голова хозяйской дочери: „Здѣсь",—заговорила она вполголоса,— „та барышня..." Черезъ мгновеніе на порогѣ появилась

Елена. Берсеневъ вскочилъ, какъ ужаленный; но Елена не шевельнулась, не вскрикнула.., казалось, она все поняла въ одно мгновеніе. Страшная блѣдность покрыла ея лицо. Она подошла къ ширмамъ, заглянула за нихъ, всплеснула руками и окаменѣла. Еще мгновеніе, и она бы бросилась къ Инсарову, но Берсеневъ остановилъ ее: „Что вы дѣлаете?"—проговорилъ онъ трепещущимъ шепотомъ: „вы его погубить можете". Она зашаталась. Берсеневъ подвелъ ее къ диванчику и посадилъ. — „Онъ умираетъ? онъ безъ памяти?" — спрашивала она съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ, что Берсеневъ даже испугался за нее. Онъ отвѣчалъ ей, но она не слышала его отвѣтовъ и только проговорила: „Если онъ умретъ—и я умру". Инсаровъ въ это мгновеніе простоналъ слегка. Она затрепетала, схватила себя за голову, потомъ стала развязывать ленты шляпы. — „Что вы дѣлаете?"—спросилъ ее Берсеневъ. Она не отвѣчала. — „Что вы дѣлаете?" повторилъ онъ.—„Я остаюсь здѣсь". — „Какъ... надолго?" — „Не знаю... можетъ быть, на весь день, на ночь, навсегда... не знаю". — „Ради Бога, Елена Николаевна, придите въ себя... Вы видите... онъ васъ теперь защитить не можетъ". Она опустила голову, словно задумалась, поднесла платокъ къ губамъ, и судорожныя рыданія съ потрясающей силой внезапно исторглись изъ ея груди... Она вся затрепетала, какъ только-что пойманная птичка. — „Клянитесь мнѣ, что вы тотчасъ же пошлете за мною, когда бы то ни было, днемъ, ночью... слышите-ли вы? обѣщаетесь-ли вы это сдѣлать?"—говорила черезъ нѣсколько времени Елена, уступая уговорамъ Берсенева. — „Обѣщаюсь, передъ Богомъ", — отвѣчалъ онъ: „клянусь вамъ!" Елена вдругъ схватила его за руку и, прежде чѣмъ онъ успѣлъ ее отдернуть, припала къ ней губами. — „Елена Николаевна!... что вы это?"—только могъ пролепетать Берсеневъ... Восемь дней

продолжалась пытка для Елены. Съ виду она казалась покойной, но ничего не могла ѣсть, не спала по ночамъ. Тупая боль стояла во всѣхъ ея членахъ; какой-то сухой, горячій дымъ, казалось, наполнялъ ея голову. — „Наша барышня, какъ свѣчка, таетъ",—говорила о ней ея горничная. Но вотъ является Берсеневъ, и радостная вѣсть: „Онъ спасенъ... онъ черезъ недѣлю будетъ здоровъ..."— разливаетъ алую краску на ея поблѣднѣвшемъ и похудѣвшемъ за эти ужасные девять дней лицѣ. Услышавъ эти слова, Елена протянула руки, какъ будто отклоняя ударъ, и ничего не сказала, только губы ея задрожали... Она ушла къ себѣ, упала на колѣни и стала молиться. Инсаровъ поправился... Елена была счастлива, — „не дни", — какъ она говоритъ, — „не недѣли, а цѣлые мѣсяцы", — счастлива такъ, что ей стало страшно своего счастья... но „Онъ, создавшій эту ночь, это небо", рѣшилъ,—по ея мнѣнію,—наказать ее за то, что она такъ была счастлива, за то, что на нѣкоторыя минуты отдавалась не людямъ, не дѣятельному добру, а самой себѣ, своему чувству,—и Инсарова не стало...—„Я найду себѣ мѣсто: только возьмите насъ, возьмите меня",—уговаривала она капитана корабля черезъ часъ послѣ кончины Дмитрія. Капитанъ не былъ въ состояніи ей отказать. Елена перешла въ сосѣднюю комнату, прислонилась къ стѣнѣ и долго стояла, какъ окаменѣлая. Потомъ она опустилась на колѣни, но молиться не могла. На другой день Елена писала матери: „Я навсегда прощаюсь съ вами... Я не знаю, что со мною будетъ, но я и послѣ смерти Дмитрія останусь вѣрна его памяти, дѣлу всей его жизни..."

Въ этомъ же письмѣ Елены къ роднымъ мы находимъ тотъ главный, — можно сказать, единственный упрекъ, который обыкновенно дѣлается ей. Она пишетъ матери: „Мнѣ нѣтъ другой родины, кромѣ родины Дмитрія.

Тамъ готовится возстаніе, собираются на войну; я пойду въ сестры милосердія; буду ходить за больными, ранеными... А вернуться въ Россію—зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?" - „Какъ?!" — восклицаютъ критики: „незачѣмъ возвращаться въ Россію? въ Россіи нечего дѣлать? — и это говорится въ то время, когда Россіи-то и нужны люди, когда „на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, святая обязанность передъ Богомъ, передъ родиной, передъ самимъ собой?! И послѣ всего этого Елену возводятъ чуть не въ идеалъ?!"—Мы и сами, конечно, не забыли тѣхъ словъ Михалевича изъ „Дворянскаго гнѣзда", которыя только-что привели отъ лица порицателей Елены, и мы не можемъ не согласиться съ критиками, что ставить Еленѣ въ достоинство ея рѣшеніе не возвращаться на родину, конечно, нельзя. Но, вѣдь, дѣло въ томъ, что, во-первыхъ, слова Михалевича,— строго говоря, — не могутъ быть отнесены къ Еленѣ, а во-вторыхъ, несомнѣнная идеальность личности Елены зиждется совсѣмъ на другомъ. Мы прекрасно помнимъ, что Михалевичъ разразился горячимъ упрекомъ противъ „байбачества" въ Лаврецкомъ,—противъ того, что онъ въ то время, когда въ Россіи такъ много непочатаго дѣла, когда она такъ нуждается въ болѣе или менѣе образованныхъ людяхъ, не стыдится отдаваться своимъ личнымъ, эгоистическимъ интересамъ, наполнять свою жизнь единственными заботами о личномъ счастьѣ. Было бы, конечно, по меньшей мѣрѣ несправедливо дѣлать подобный упрекъ Еленѣ: мы знаемъ, что она полюбила въ Инсаровѣ, какъ горячо она откликалась на задачи его жизни, чему, наконецъ, она рѣшилась посвятить себя на родинѣ любимаго человѣка послѣ его смерти. — „Все это такъ",—скажутъ намъ: „но развѣ у себя-то, на родинѣ, для Елены не было дѣла? развѣ въ той же самой Москвѣ или даже на дачѣ въ Кунцовѣ не было, можетъ

быть, сотенъ своихъ больныхъ, своихъ темныхъ, нуждающихся въ свѣтѣ людей? Вѣдь, Елена не только видѣла ихъ, но,—по увѣренію автора,—даже и помогала имъ. Къ чему же бѣжать на чужой пожаръ, когда свой некому тушить?"—Да, это все вѣрно; но вотъ что тотъ же самый авторъ говоритъ про Елену: „Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи... Потомъ она утихала, даже смѣялась надъ собой, безпечно проводила день за днемъ, но внезапно что-то сильное, безыменное, съ чѣмъ она совладѣть не умѣла, такъ и закипало въ ней, такъ и просилось вырваться наружу". Было бы несправедливо утверждать, что Елена проводила время въ однѣхъ безплодныхъ фантазіяхъ: мы знаемъ, какое дѣятельное участіе принимала она во всѣхъ несчастныхъ: ,нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, разспрашивала объ нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ". Стало быть, не праздныя, несбыточныя фантазіи сказывались въ этихъ глубокихъ душевныхъ волненіяхъ Елены, а неудержимая жажда болѣе широкой, болѣе важной по своему значенію сферы дѣятельнаго добра, нежели та, которая была доступна ей въ родной семьѣ. Семейные и общественные предразсудки, несомнѣнно, становились на пути высокихъ душевныхъ стремленій Елены, и они-то именно составляли собою ту клѣтку, изъ которой она такъ рвалась на свободу. Инсаровъ освободилъ ее изъ этой клѣтки; въ томъ дѣлѣ, которому онъ съ такой любовью, увлеченіемъ и самоотверженіемъ служилъ, она нашла осуществленіе своихъ идеальныхъ порывовъ: „Освободить свою родину! Эти слова даже выговорить страшно: такъ они велики!"—говорила она о жизненной цѣли Инсарова; на его родинѣ, продолжая служить его дѣйствительно великому дѣлу, она, конечно, могла на-

дѣяться быть окруженной людьми, которые поймутъ, оцѣнятъ ея самоотверженіе и съ своей стороны еще поддержатъ ее; наконецъ, не нужно забывать, что Елена серьезно, глубоко любила Дмитрія, и для нея дѣйствительно было вопросомъ жизни „остаться вѣрной его памяти, дѣлу всей его жизни...“ Нѣтъ, мы не въ состояніи упрекать Елену въ томъ, что она не вернулась въ Россію: мы сейчасъ видѣли, какъ многое говоритъ въ пользу ея рѣшенія остаться на родинѣ любимаго человѣка.

Но не въ этомъ, конечно, рѣшеніи мы видимъ идеальность самой личности Елены. Она для насъ безспорно идеальна по той жаждѣ дѣятельнаго добра, которой переполнено ея сердце,—по глубинѣ, силѣ и искренности того чувства, съ которымъ она стремится къ этому добру и отдается ему; самая любовь ея зиждется опять-таки на этомъ стремленіи къ дѣятельному добру: вѣдь, въ любимомъ человѣкѣ она нашла воплощеніе этого высокаго стремленія, и потому именно она такъ самоотверженно рѣшилась соединить съ нимъ свою судьбу: ея любовь къ Дмитрію возвышалась и озарялась высокимъ радостнымъ сознаніемъ, что рука-объ-руку съ нимъ она будетъ служить великому дѣлу, вложитъ въ это дѣло всѣ свои горячія стремленія, которыя, какъ мы знаемъ, такъ неудержимо вырывались изъ ея души... Елена не уступаетъ Лизѣ въ цѣльности своего нравственнаго облика, въ высотѣ и твердости своихъ взглядовъ и убѣжденій; но, вмѣстѣ съ этимъ, она несомнѣнно возвышается надъ Лизой страстной жаждой дѣятельнаго добра на пользу ближняго, тѣмъ самоотверженнымъ альтруизмомъ, который мы считаемъ однимъ изъ главнѣйшихъ достоинствъ настоящей человѣческой личности...

Въ Маріаннѣ изъ „Нови“ мы видимъ то же стремленіе къ широкой альтруистической дѣятельности, ту же

жажду дѣятельнаго добра, передъ которой смолкаетъ все личное, эгоистическое. Маріанна смѣшна въ своемъ нарядѣ „опростѣлой“ женщины,—она наивна въ своемъ незнаніи народа и во взглядѣ на тѣ средства, которыми она намѣрена пользоваться, идя на служеніе народу,—но она, несомнѣнно, возвышается надъ всѣми нашими россійскими Гамлетами, начиная съ Нежданова, той вѣрой, съ которой она отдается своему дѣлу, той цѣльностью стремленій, которая не знаетъ колебаній, той стойкостью убѣжденій и намѣреній, которая отражается въ каждомъ ея отдѣльномъ поступкѣ.

Даже Ася, этотъ шаловливый полуребенокъ съ дѣтскими щечками, эта едва расцвѣтшая дѣвушка, уже мучается бездѣятельностью: „Пойти куда-нибудь далеко, на трудный подвигъ“,—говоритъ она: „а то дни уходятъ, жизнь уйдетъ, а что мы сдѣлали... Скажите мнѣ, что я должна читать, что я должна дѣлать? Я все буду дѣлать, что вы мнѣ скажете... Крылья у меня выросли,—да летѣть некуда“. Но, какъ Наташа тщетно обращалась съ подобными же вопросами къ Рудину, — какъ Лизѣ даже самой пришлось руководить Ѳедоромъ Лаврецкимъ,—такъ точно и Ася не нашла въ любимомъ человѣкѣ товарища, который могъ бы подняться вмѣстѣ съ ней на просторъ широкой дѣятельности, въ сферу любвеобильнаго дѣятельнаго добра...

— „Всѣ вы, русскія женщины, дѣльнѣе и выше насъ, мужчинъ“,—говоритъ Соломинъ Маріаннѣ,—и мы не можемъ съ этимъ не согласиться, когда сопоставимъ теперь близко намъ знакомые типы Наташи и Дм. Рудина, Лизы и Ѳед. Лаврецкаго, Елены и Берсенева, Маріанны и Нежданова, Аси и ея безкрылаго героя.

Если же Наташи, Маріанны и даже Елены все-таки ищутъ для себя опоры въ любимомъ человѣкѣ, говоря ему: „Я пришла за совѣтомъ къ вамъ... скажите, что я

должна дѣлать, куда итти: вы мужчина,"—то, вѣдь, это совершенно естественно для нашихъ даже 60-хъ и 70-хъ годовъ: русская женщина тогда, вѣдь, только начинала понемногу выдираться изъ своей многовѣковой тюрьмы-клѣтки на одну и ту же дорогу съ мужчиной и, конечно, невольно должна была искать поддержки въ томъ, который уже давно идетъ самостоятельно по жизненному пути. Но это была только временная необходимость, и самъ художникъ нашъ уже былъ свидѣтелемъ, правда, еще отдѣльныхъ случаевъ, когда русская женщина одна, самостоятельно шла на подвигъ дѣятельнаго добра и совершала его. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ „Стихотвореній въ прозѣ" онъ изображаетъ одну такую русскую Елену. Красавица, аристократка, за которой не только ухаживали, но которую два-три человѣка даже глубоко любили, вся переполненная страстной жаждой дѣятельнаго добра, сама, одна, бросаетъ свѣтъ, идетъ въ сестры милосердія, самоотверженно ухаживаетъ въ сараѣ-лазаретѣ одной разоренной болгарской деревушки въ послѣднюю войну за ранеными и затѣмъ погибаетъ отъ тифа жертвой своего самоотверженнаго подвига. И это не идеализація, а, какъ доказано очевидцами, — портретъ съ натуры.

И такихъ реальныхъ, живыхъ, самостоятельныхъ русскихъ Еленъ, слава Богу, теперь уже не одна, не десять: ихъ вы встрѣтите и въ нашей русской захолустной школѣ, и въ той же деревенской больницѣ, и за иголкой или швейной машиной, и въ заграничномъ университетѣ, наконецъ,—въ семьѣ. Раскройте только шире двери тюрьмы-клѣтки, дайте свободно выйти на торную дорогу полезной, серьезной дѣятельности, на путь дѣятельнаго добра, дайте возможность правильно вырваться наружу тѣмъ богатымъ силамъ, которыя заключены въ душѣ русской женщины, и она пойдетъ не только за

лучшими изъ мужчинъ, но рядомъ съ ними, рука-объ-руку,—вѣроятно, даже превосходя мужчину беззавѣтной преданностью идеѣ, сердечной, горячей самоотверженностью своего отношенія къ тому, что она поставила цѣлью всей своей жизни...

ОГЛАВЛЕНІЕ.

„Лишніе люди“ въ до-Тургеневской литературѣ 7
„Записки Охотника“ И. С. Тургенева 43
„Рудинъ“ И. С. Тургенева 52
„Дворянское гнѣздо“ И. С. Тургенева 87
„Наканунѣ“ И. С. Тургенева 122
„Отцы и дѣти“ И. С. Тургенева 157
„Дымъ“ И. С. Тургенева 173
„Вешніе воды“ И. С. Тургенева 190
„Новь“ И. С. Тургенева 195
Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ И. С. Тургенева:
Наташа изъ „Рудина“ 235
Лиза изъ „Дворянскаго гнѣзда“ 247
Елена изъ „Наканунѣ“ 266
Маріанна изъ „Нови“ 276
Ася 277

Stanford University Libraries
3 6105 127 973 555

PG
3444
S6C47
1896c

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAR 2 [illegible]

JAN 1 [illegible]

NOV 21 1979

Stanford University Libraries
3 6105 127 973 555

PG
3444
S6C47
1896c

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAR 23 1970
JAN 13 1974
NOV 21 1979
MAY 4 1975
JUN 27 1975